

13

ДЖОН ГОЛСУОРСИ

ДЖОН
ГОЛСУОРСИ

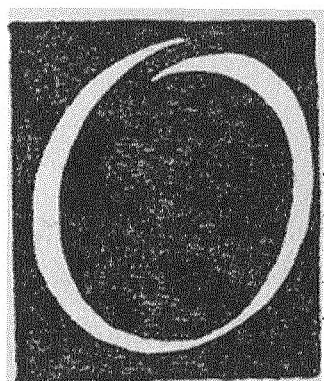
ДЖОН
ДОНСЮРСИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 13

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1962

Переводы с английского
под редакцией
М. А б к и н о й
и
В. Х и н к и с а,



БОРВАНЕЦ

ДВА ВЗГЛЯДА

Старый директор кладбища «Тиссы» медленно вышел из дома, чтобы посмотреть, все ли готово.

Он видел, как в этот квадрат земли, находящийся в его ведении, уходили многие, кому он имел привычку кланяться при встрече, и многие, кого даже он не знал. Для директора смерть была каждодневным событием, и все же предстоявшие похороны, еще одни в нескончаемой повести жизни и смерти, почему-то волновали его, остро напоминая о быстротечности времени.

Двадцать лет прошло с тех пор, как умер его лучший друг, доктор Септимус Годвин, циник и романтик одновременно, человек, чей ум вошел в пословицу, о чьем неотразимом обаянии столько говорили. А теперь вот хоронят его сына!

С тех пор, как умер доктор Годвин, директор не видел вдову умершего, потому что она сразу уехала из их города, но он хорошо помнил эту высокую стройную женщину с темными волосами и блестящими карими глазами. Она вышла замуж за Септимуса Годвина лишь за полтора года до его смерти и была много моложе своего супруга. Директор помнил, как она стояла у могилы на похоронах мужа и как его поразило тогда выражение ее лица. Оно говорило о... да, странное это было выражение!

Директор и сейчас думал об этом, шагая по узкой тропинке к могиле старого друга. Это было самое красивое место на кладбище, и отсюда открывался вид на

беловатый склон холма и реку внизу. Он подошел к небольшому участку вокруг могилы, огороженному свежескрашенной решеткой. Все здесь было в полном цвету. Венки у калитки ожидали нового покойника. Все было в порядке.

Старый директор своим ключом открыл склеп. Сквозь толстый стеклянный пол был виден внизу гроб отца. Ниже будет покоем гроб сына.

— Не можете ли вы сказать мне, сэр, что собираются делать с могилой моего старого доктора? — спросил позади него тихий голос.

Старый директор обернулся и увидел перед собой пожилую даму. Он не знал ее, но лицо ее было приятно: щеки цветом напоминали увядшие розовые лепестки. Под широкой шляпой виднелись серебристые волосы.

— Сегодня здесь будут похороны, мадам.

— Вот как! Неужели его жена?..

— Сын, мадам. Двадцатилетний юноша.

— Его сын? В котором часу похороны?

— В два пополудни.

— Благодарю вас. Вы очень любезны.

Приподняв шляпу, он смотрел вслед женщине. Его беспокоило, что он видит здесь человека, которого не знает.

Похороны прошли очень торжественно, и, обедая в тот вечер у своего приятеля, врача, старый директор спросил:

— Не заметили ли вы седую женщину, которая бродила здесь днем?

Доктор, высокий рыжебородый мужчина, подвинул для гостя стул поближе к огню.

— Да, видел.

— А вы обратили внимание на выражение ее глаз? Очень странное выражение. Как будто... ну, как бы это сказать? В общем, очень странное! Кто она? Я видел ее на кладбище еще утром.

Доктор покачал головой.

— Мне выражение ее глаз не кажется странным.

— Что вы хотите этим сказать? Ну, объясните же!

Доктор, по-видимому, колебался. Затем, взяв графин, наполнил бокал собеседника и ответил:

— Хорошо. Вы, сэр, были лучшим другом Годвина, и я расскажу вам, если хотите, о его смерти. Помните, вы в то время были в отъезде...

— Говорите, это останется между нами.

— Септимус Годвин,— продолжал доктор неторопливо,— умер в четверг около трех часов, а меня позвали к нему в два. Когда я пришел, он был очень плох, но по временам сознание возвращалось к нему. У него была... но вы знаете подробности, так что я не стану о них говорить. В комнате, кроме меня, была его жена, а в ногах умирающего лежал его любимый терьер. Вы, наверно, помните, он был каких-то особенных кровей. Я пробыл там не более десяти минут, как вошла горничная и что-то шепотом сказала хозяйке. Миссис Годвин сердито ответила:

— Видеть его? Идите и скажите, что ей не стоило бы приходить сюда в такое время.

Горничная вышла и скоро вернулась: посетительница хотела хоть на минуту увидеть миссис Годвин. Но миссис Годвин ответила, что не может оставить мужа. Горничная казалась испуганной и вышла, но скоро опять вернулась.

— Дама сказала, что ей непременно нужно видеть доктора Годвина. Это вопрос жизни или смерти!

— Смерти? Какое бесстыдство! — возмущенно воскликнула миссис Годвин.— Передайте, что, если она немедленно не уйдет, я пошлю за полицией.

Бедная девушка посмотрела на меня. Я вызвался сойти вниз и поговорить с посетительницей. Она была в столовой, и я сразу узнал ее. Не буду называть имени, скажу только, что она из знатной семьи, которая живет в ста милях отсюда. Она слыла красавицей. Но в тот день лицо ее было искажено отчаянием.

— Ради бога, доктор! Есть какая-нибудь надежда? Я был вынужден сказать, что надежды нет.

— В таком случае я должна увидеть его! — воскликнула она.

Я умолял ее подумать о том, что она просит. Но она протянула мне перстень с печаткой. Это очень похоже на Годвина, не правда ли? Этаким байронизм.

— Он прислал мне этот перстень час назад,— сказала она.— Мы давно условились, что, если он при-

шлет его, я должна прийти к нему. О, если бы речь шла только обо мне, я бы не настаивала. Женщина может вынести что угодно. Но ведь он умрет с мыслью, что я не захотела прийти, что мне все равно! А ради него я готова жизнь отдать.

Ну, сами понимаете, просьба умирающего священна. Я обещал, что она увидит его. Попросил ее пойти со мной и подождать за дверью, пока Годвин придет в сознание. Никто в жизни меня так не благодарил, как она. Я вошел в спальню. Годвин все еще был без сознания. У его ног тихо скулил терьер. В соседней комнате плакал ребенок—тот самый юноша, которого мы сегодня хоронили. Миссис Годвин по-прежнему стояла у кровати умирающего мужа.

— И вы ее услали из комнаты?

— Мне пришлось сказать ей, что Годвин действительно пожелал видеть эту женщину. Но миссис Годвин крикнула: «Я не хочу, чтобы эта негодяйка была здесь!» Я умолял ее успокоиться и напомнил, что муж умирает.

— Но ведь я его жена! — воскликнула она и выбежала из комнаты.

Доктор замолчал, устремив взгляд на огонь. Затем, пожав плечами, продолжал:

— Я утихомирил бы ее гнев, если бы мог. Но с умирающим не спорят. Стрдание даже для нас, докторов, священно. За дверью были слышны голоса обеих женщин. Одному небу известно, что они наговорили друг другу. А здесь неподвижно лежал Годвин, красивый, как всегда, его черные волосы подчеркивали бледность лица. Потом я увидел, что к нему возвращается сознание. Снова слышались голоса женщин, сначала — его жены, резкий и презрительный, затем — другой голос, тихий, отрывистый. Годвин приподнял руку и указал на дверь. Я вышел и сказал женщине: «Доктор Годвин желает вас видеть. Пожалуйста, возьмите себя в руки».

Мы вошли в комнату. Жена последовала за нами. Но Годвин опять потерял сознание. Обе женщины сели.

Как сейчас вижу: они сидят по обе стороны кровати, закрыв лицо руками, и каждая молча, угнетенная присутствием соперницы, как бы отстаивает свое право на разбитую любовь. Гм! Представляю, сколько они то-

гда выстрадали! А за стеной все время плакал ребенок одной из них, который мог бы быть ребенком другой.

Доктор замолчал. Старый директор повернул к нему свое белобородое румяное лицо с таким выражением, как будто он шел ощупью в темноте.

— Как раз в это время, помню,— вдруг снова заговорил доктор,— зазвонили колокола соседней церкви святого Джуда, возвещая конец венчания. Звон привел Годвина в чувство. Со странной и жалкой улыбкой, от которой сжималось сердце, он смотрел то на одну, то на другую женщину. А они обе смотрели на него. Лицо жены — бедняжка! — было сурово и как будто высечено из камня, она сидела, не двигаясь. Что касается другой, то я просто не мог заставить себя взглянуть на нее.

Годвин поманил меня и зашептал что-то. Но слова его потонули в перезвоне колоколов. Минуту спустя он был мертв.

Странная штука — жизнь! Вы просыпаетесь утром, твердо стоя на ступеньке, потом — толчок, и вы летите вниз. Человек угасает, как свеча. И счастье, когда вместе с вашей жизнью гаснет жизнь только одной женщины...

Женщины не плакали. Жена осталась у постели покойного, другую я проводил к экипажу. Значит, сегодня она тоже была здесь... Я думаю, теперь вам понятно выражение ее глаз, которое привлекло ваше внимание.

Доктор замолчал. Директор молча кивнул. Да, теперь ему был понятен взгляд этой незнакомки — глубокий, неуловимый, странный. Теперь ему понятно выражение глаз жены Годвина на похоронах двадцать лет назад! И, печально глядя на огонь, он сказал:

— Они обе как будто торжествовали.— И медленно стал растирать руками колени, чтобы согреть их, как это часто делают старые люди.

ПОРАЖЕНИЕ

Вот уже четверть часа она стояла на тротуаре после концерта, который стоил ей шиллинг. Обычно не допускают мысли, что у женщин ее профессии бывают какие-нибудь добродетели, особенно, если они, подобно Мэй Белински, как ей угодно было теперь именовать себя,— настоящие немки. Но эта женщина любила музыку. Она частенько позволяла себе принять «музыкальную ванну», когда устраивались концерты-гулянья; вот и сейчас она потратила половину всех своих наличных денег, чтобы послушать несколько пьес Моцарта и бетховенскую симфонию.

Она была радостно возбуждена, душа наполнилась чудесными звуками и лунным светом, который в этот летний вечер заливал город. Как бы то ни было, а женщины «определенного сорта» умеют чувствовать, и какое это утешение, хотя бы для них самих! Останавливаться именно здесь вошло у нее в привычку. Можно было делать вид, будто кого-то ждешь с концерта, который еще не кончился,— да она и в самом деле ждала кого-нибудь. Здесь не нужно было украдкой поглядывать по сторонам и расхаживать той особой походкой, которая вполне удовлетворяла полицию и миссис Грэнди, хотя никого не могла ввести в заблуждение относительно рода ее занятий. Она занималась «этим» достаточно давно, и поэтому все вызывало в ней нервный страх, но еще не настолько давно, чтобы этот страх перешел в безразличие: некоторым женщинам требуется для этого много времени. Но даже для женщины «определенного сорта»

положение Мэй было особенно опасно теперь, когда шла война, ибо жила она под чужим именем. Во всей Англии нелегко было найти сейчас более отверженное существо, чем эта немецкая женщина, выходявшая на свой ночной промысел.

Что-то тихонько напевая себе под нос, она остановилась у витрины книжной лавки и, то снимая, то снова надевая несвежую желтую перчатку, делала вид, будто читает при свете луны названия книг. Несколько раз она подходила к афишам у входа в концертный зал, словно изучая будущую программу, и не спеша уходила. В своем скромном и поношенном темном платье и маленькой шляпке она ничем не вызывала подозрений, разве что налетом дешевой пудры, видным даже при лунном свете.

В этот вечер свет луны казался почти плотным, воздух словно весь превратился в холодные, тихо колыхавшиеся потоки света; и затемнения военного времени в эту ночь были нелепыми, как абажуры на свечах в залитой солнцем комнате. Огни немногочисленных фонарей казались тусклыми мазками краски, нанесенными кистью на светло-голубой призрачный фон.

Женщина как будто видела город во сне, и это ощущение усиливалось, вероятно, тем, что на глаза у нее была спущена вуалетка отнюдь не белоснежная при дневном свете. Музыка в душе стихла, приятное возбуждение спало. Мимо прошли какие-то люди, они разговаривали по-немецки, и ее охватила тоска по родине. В эту лунную ночь на берегах Рейна, откуда она родом, в садах уже полно яблок, всюду шепот и сладкий аромат, а над лесом и молочно-белой рекой высится старый замок. Где-то слышится пение, вдалеке глухо стучит паровой винт и, может быть, в голубом свете скользят еще по течению плоты. И кругом немецкая речь! Слезы наполнили ее глаза и медленно потекли по напудренным щекам. Подняв вуалетку, она утирала лицо грязным платочком, комкая его затянутой в перчатку рукой. Но чем чаще она прикладывала платок к глазам, тем сильнее бежали предательские слезы. И тут она заметила рядом с собой у витрины высокого юношу в хаки; рассматривая книги, он искоса поглядывал на нее.

У него было свежее открытое лицо, в синих глазах светился доброжелательный интерес к ней. Она машинально опустила влажные ресницы, потом подняла их, снова опустила и легонько всхлипнула...

Этот молодой человек, капитан одного из действующих полков, был выписан из госпиталя в шесть часов вечера, а в половине седьмого уже входил в Куинз-Холл. Еще не окрепнув после полученной раны, он осторожно сел в кресло и просидел там, как в полусне, весь концерт. Это было похоже на пиршество после долгого поста — такое ощущение, должно быть, испытывают полярные исследователи, когда по возвращении едят первый настоящий обед. Юноша, судя по всему, попал в армию по дополнительной мобилизации, а до войны обожал музыку, искусство и тому подобные вещи. Впереди был месячный отпуск, и он, естественно, находил, что жизнь чудесна, а его собственные переживания особенно удивительны. Выйдя на улицу после концерта, он с жадностью глотнул — иначе не скажешь — лунного света, потому что он был молод и чувствовал красоту. После того, как человек долго сидел в окопах, сутки пролежал раненый в воронке от снаряда, а потом еще три месяца — в госпитале, красота обретает такую острую новизну, такую томительную прелесть, что почти причиняет боль. А Лондон ночью очень красив. словно вдыхая лунный свет, юноша медленно шел к площади, сдвинув фуражку немного набекрень и чувствуя себя свободно, совсем не по-военному. Он не смог бы объяснить, почему он остановился у витрины книжной лавки: то ли потому, что девушка плакала, то ли потому, что ее фигура как бы составляла часть всей этой красоты, окружавшей его.

Потом что-то — быть может, запах пудры, или желтые перчатки, или то, как она вскидывала ресницы, — подсказало ему, что он ведет себя «дьявольски неосторожно», тем более, что у него и в мыслях не было искать сейчас нового знакомства. Но она всхлипывала, и это растрогало его.

— Что с вами?

Она снова взмахнула ресницами и, запинаясь, ответила:

— Ничего. Это оттого, что вечер такой чудесный.

Его поразило, что женщина легкого поведения (что

это так, он теперь был уверен) чувствовала то же самое, что он. Он сказал:

— Ну-ну, не расстраивайтесь.

Она быстро взглянула на него.

— Вам-то хорошо! Вы не так одиноки, как я.

Ее тон и выражение хорошенького личика со следами слез были до странности искренни для такой женщины.

— Может быть, пройдемся и поговорим? — пробормотал он.

Они завернули за угол и пошли к восточной окраине города по пустынным красивым улицам с тускло-оранжевыми огнями фонарей и мелькавшими здесь и там отблесками синего и лилового света. Все было так необычайно и волновало его — таких приключений у него никогда раньше не было. И он неуверенно спросил:

— Как же вы дошли до этого? Разве не ужасно так жить?

— Да, ужасно...— Она говорила с каким-то своеобразным мягким акцентом.— Вы хромаете, вас ранило, да?

— Я только что из госпиталя.

— Страшная война!.. Все горе из-за этой войны. Когда она кончится?

Он посмотрел на нее.

— Скажите — вы какой национальности?

— Русская.

— Да ну? А я ни разу не встречал русской девушки.

Он заметил, что она взглянула на него и быстро опустила глаза. И вдруг спросил:

— Правду говорят, что таким, как вы, плохо приходится?

Она просунула руку в желтой перчатке к нему под локоть.

— Не так уж плохо, когда встретишь такого хорошего мальчика, как вы. Правда, у меня не было хороших.— Она улыбнулась, и улыбка ее, как и речь, была неторопливая, доверчивая.— Вы подошли, потому что я была грустна, а другие подходят, только если я весела. Я не люблю мужчин. Когда их узнаешь, то любить их невозможно.

— Ну нет, вы узнаете мужчин не с хорошей стороны. Нужно их видеть на фронте! Ей-богу, там они просто великолепны, и офицеры и солдаты, все. Все готовы на самопожертвование. Такого еще никогда не бывало. Это замечательно!

Обратив к нему серо-синие глаза, она сказала:

— Ты, наверное, тоже среди них не последний. И я думаю — ты видишь в мужчинах то, что есть в тебе самом.

— Да нет же, вы ошибаетесь! Уверяю вас, когда мы шли в атаку, в ту, где меня ранили, у нас в полку не было ни одного, кто не показал бы себя настоящим героем. Как они шли вперед! Никто не думал о себе, это было просто великолепно!

Она прикусила нижнюю губу, и голос ее прозвучал как-то странно:

— Ну, а неприятель?.. Быть может, там тоже храбрые солдаты...

— Да, я это знаю.

— А вы не злой. Как я ненавижу злых людей!

— Нет, люди совсем не злые. Они просто не все понимают.

— Ах, вы просто ребенок, хороший, добрый ребенок!

Ему не очень-то понравилось, что его называли ребенком, и он нахмурился. Но, увидев растерянность на ее напудренном личике, сразу смягчился. Как она испугалась!

Она проговорила заискивающим тоном:

— Но за это вы мне и нравитесь. Как приятно встретить такого хорошего мужчину!

Это ему еще больше не понравилось, и он отрывисто спросил:

— Вы сказали, что одиноки? Разве у вас нет знакомых среди русских?

— Русских? Нет! Город такой большой. Вы были на концерте?

— Да.

— Я тоже. Я люблю музыку.

— Все русские, кажется, любят музыку.

Она снова посмотрела ему в лицо, как будто боролась с желанием что-то сказать, потом сказала тихо:

— Я всегда хожу на концерты, когда у меня есть деньги.

— Неужели так туго приходится?

— Сейчас у меня остался один шиллинг.— Она засмеялась.

Ее смех взволновал его — всякий раз, когда он слышал ее голос, ему почему-то становилось жаль ее.

Они подошли к узкому скверу, прилегающему к Гауэр-стрит.

— Здесь я живу, — сказала она. — Пойдемте.

Долгую минуту он был в нерешимости, но она легонько потянула его за руку, и он, уступив, последовал за ней. Они прошли через слабо освещенную переднюю и поднялись в комнату, где шторы на окне были опущены и газ едва горел. Напротив окна висела занавеска, отделявшая часть комнаты. Как только дверь за ними захлопнулась, она подняла голову и поцеловала его — так, очевидно, было принято у женщин ее профессии. Ну и комната! Зеленые с красным обои, дешевая плюшевая мебель произвели на него отталкивающее впечатление. От каждой вещи веяло холодом, и комната как бы говорила своим обитателям: «Сегодня здесь, завтра там». Только небольшой кустик папоротника «Венерин волос» в простом горшке был свеж и зелен, словно его обрызгали водой полчаса назад, и в нем было что-то неожиданно трогательное, как и в самой девушке, несмотря на ее трезвый цинизм.

Сняв шляпу, она подошла к газовому рожку, но он быстро сказал:

— Нет-нет, не надо больше света. Лучше откроем окно и впустим лунный свет.

Ему почему-то стало страшно увидеть все здесь слишком отчетливо; кроме того, в комнате было душно, и, подняв шторы, он растворил окно. Девушка послушно отошла и села у окна напротив него, облокотившись на подоконник и опустив подбородок на руку. Лунный свет падал на ее щеку, только что напудренную, и на выющиеся светлые волосы, на плюшевую мебель, на его хаки, и все стало каким-то призрачным, нереальным.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Мэй. Это я так придумала. Ваше имя я не спрашиваю. Все равно не скажете.

— Как ты недоверчива, крошка!

— У меня есть на то причины, сам понимаешь.

— Ну, конечно, вы всех нас, мужчин, считаете скотами.

— У меня сто причин всего бояться. Я стала ужасно нервная и никому не доверяю... Ты, наверно, убил много немцев?

Он усмехнулся.

— Это трудно сказать, пока не доходит до рукопашной. Мне пока не приходилось участвовать в таком бою.

— А ты, наверно, рад бы убить немца?

— Рад? Не знаю. Мы все в одинаковом положении, если уж на то пошло. Нам совсем не нравится убивать друг друга. Но мы выполняем свои обязанности, вот и все.

— Как это ужасно! Может быть, и мои братья убиты.

— Ты не получаешь никаких вестей?

— Нет, где там! Я ничего не знаю ни о ком. Как будто у меня нет родины. Все мои близкие — папа, мама, сестры, братья... Нет, я их, наверно, уже никогда не увижу. Война... она крушит и крушит все... разбивает сердца.

Она снова прикусила мелкими зубами нижнюю губу, будто огрызаясь.

— Знаешь, о чем я думала, когда ты подошел? О своем родном городе и о нашей реке ночью, при луне. Если бы можно было увидеть все это, я была бы счастлива. Ты когда-нибудь тосковал по дому?

— Да... там, в окопах. Но об этом не говорят, стыдно перед товарищами.

— Ну еще бы,— прошипела она.— Вы там все товарищи. А мне-то каково одной здесь, где все меня презирают и ненавидят, где меня могут схватить и посадить в тюрьму.

Он слышал ее учащенное дыхание, и ему стало жаль ее. Наклонившись, он дотронулся до ее колена и пробормотал: «Ну, ну, не надо!»

— Ты первый пожалел меня! Я так отвыкла от этого,— проговорила она глухо.— Тебе я скажу правду... Я не русская. Я немка.

Это признание, этот задыхающийся голос! Он подум-

мал: «Что же, она воображает, будто мы воюем с женщинами?»

— Какое это имеет значение, дорогая?

Она посмотрела на него пристально, словно хотела заглянуть в душу, и сказала медленно:

— Мне это уже говорили. Но тот человек думал о другом. Ты очень хороший. Я рада, что встретила тебя. Ты в людях видишь хорошее, а это главное в жизни... потому что на самом деле в людях мало хорошего.

Он улыбнулся:

— Ах ты, маленький циник! — и подумал: «Да это и понятно».

— Циник? Как могла бы я жить, если бы не была циничной? Я утопилась бы на другой же день. Может быть, хорошие люди и есть, но я их не встречала.

— Я знаю очень много хороших людей.

Она порывисто наклонилась к нему.

— Послушай, хороший... ты когда-нибудь попадал в беду?

— В настоящую беду, пожалуй, нет.

— Я так и думала, у тебя не такое лицо. Допустим, что я порядочная девушка, какой была когда-то. Ты знакомишь меня с хорошими, почтенными людьми и говоришь: «Это немецкая девушка, у нее нет ни работы, ни денег, ни друзей». Ну и что? Эти хорошие люди скажут: «Ах, какая жалость! Немка!» — отвернутся, и ничего больше.

Он молчал. Представил себе свою мать, сестру, знакомых — хорошие люди, он мог поклясться в этом! И все же... Он ясно слышал их голоса: они говорили о немцах... «Как жаль, что она немка!»

— Ну, вот видишь, — сказала она, а он лишь пробормотал:

— Настоящие люди есть, я в это верю.

— Нет. Они никогда не помогут немке, даже если она хороший человек. Да я вовсе не хочу больше быть хорошей, так и знай, не хочу тебе врать. Я научилась быть плохой. Почему ты не поцелуешь меня, мальчик?

Она подставила ему губы. Ее взгляд растревожил его, но он отодвинулся. Он подумал, что она обидится или будет приставать, но она только как-то странно и

вопросительно смотрела на него. Он прислонился к окну, охваченный глубоким волнением. Из него словно вышибли все, во что он искренне и простодушно верил, и сразу затуманились радость и упоение жизнью, которые он чувствовал последнее время. На фронте и здесь, в госпитале, жизнь казалась полной героизма, а тут он увидел в ней какие-то темные, мрачные глубины. В ушах у него звучали грубые, хриплые голоса его солдат, к которым он привязался, как к родным братьям,— такие бодрые в минуты опасности, как будто смерть им нипочем; тихие, успокаивающие голоса врачей и сестер милосердия, и среди них даже свой собственный голос. Все представлялось простым и прекрасным, вокруг не было ничего дурного и грязного! И вот все это как-то по-новому осветило появление испуганной девушки, с которой так низко поступали люди; беря от нее бездушно то, что им было надо. И он подумал: «Да и мои ребята не упустили бы, пожалуй, случая. Не уверен, что даже я не сделал бы этого, если бы она настаивала». Он отвернулся и стал смотреть на залитую лунным светом улицу. Он услышал голос Мэй:

— Светло, правда? И самолеты сегодня не летают. Помнишь, как горели цеппелины?.. Какая ужасная смерть! А все ликовали. Это понятно. Скажи, ты очень ненавидишь нас?

Он повернулся к ней и резко сказал:

— Ненавижу? Не знаю.

— Я даже не ненавижу англичан. Я просто презираю их. И немцев тоже... Может быть, больше, чем англичан,— ведь это они начали войну. Я это знаю. Я презираю все народы. Почему они сделали мир таким несчастным?.. Почему они загубили напрасно столько человеческих жизней... сотни, тысячи, миллионы жизней? Люди сделали мир плохим... все ненавидят друг друга, причиняют зло... Я знаю, это они сделали меня плохой. Я больше ни во что не верю. Во что еще можно верить? Говорят, есть бог. Нет! Когда-то я учила английских детей молитвам... Смешно, правда? Я читала им о Христе и о любви. И я верила во все это. А теперь ни во что не верю... Кто говорит, что верит, тот дурак или лицемер. Мне бы хотелось работать в госпитале, помогать хорошим людям вроде тебя. Но меня выгнали бы только за

то, что я немка, даже если б я была порядочной. То же самое делается в Германии, во Франции, в России — всюду. И после этого мне верить в любовь, и Христа, и во все прочее — как бы не так! Мы звери — вот и все... Ты, верно, думаешь, что меня испортила моя жизнь? Ничего подобного... Это не самое худшее. Конечно, другие мужчины не такие славные, как ты... но так уж они созданы, и, кроме того, — тут она рассмеялась, — они дают мне возможность прокормиться, а это уже кое-что. Нет, виноваты те, что считают себя великими людьми, лучше всех. Это они выдумывают войну, своими речами и ненавистью убивают нас... убивают таких, как ты, сажают бедняков в тюрьму и учат нас ненавидеть. Виноваты и те равнодушные до ужаса люди, которые пишут в газетах... То же самое творится на моей родине, точь-в-точь. И потому я говорю, что люди не лучше зверей.

Он встал, остро чувствуя себя несчастным. Он видел, что она следит за ним взглядом, и знал: она боится, что он уйдет. Женщина сказала заискивающим тоном:

— Извини, что я так разболталась, хороший мой: мне не с кем поговорить. Если тебе это не нравится, я буду тиха, как мышка.

Он пробормотал:

— Нет, почему же... Говори. Я вовсе не обязан соглашаться с тобой, да я и не соглашаюсь.

Она тоже встала, прислонилась к стене; косой свет луны тронул ее бледное лицо и темное платье; она заговорила снова — медленно, негромко, с горечью:

— Скажи сам, милый, что это за мир, если в нем мучают миллионы ни в чем не повинных людей? Мир прекрасен, да? Чепуха! Дурацкая чепуха, как вы, молодые ребята, говорите. Ты вот толкуешь о товарищах и о храбрости на фронте, где люди не думают о себе. Что ж, и я не так уж часто думаю о себе. Мне все равно, я пропащий человек... Но я думаю о своих, на родине, о том, как они там страдают и горюют. Я думаю о всех несчастных людях и здесь и там, которые потеряли своих любимых, и о беднягах пленных. Как же не думать о них? Думаю, вот и не верю, что мир хорош.

Он стоял молча, кусая губы.

— Послушай, у каждого только одна жизнь, и та скоро проходит. И, по-моему, хорошо, что это так.

Он возмутился.

— Нет, нет! В жизни есть нечто большее.

— Ага,— продолжала она тихо.— Ты думаешь, что люди воюют ради будущего. Вы гибнете за то, чтобы жизнь стала лучше, да?

— Мы должны драться до победы,— процедил он сквозь зубы.

— До победы... Немцы тоже так думают. Каждый народ думает, что, если он победит, жизнь станет лучше. Но этого не будет, будет еще гораздо хуже.

Он отвернулся и взялся за фуражку, но ее голос преследовал его:

— А мне безразлично, кто победит. Я всех презираю... Звери! Ну, куда же ты, не уходи, мой хороший... Я больше не буду.

Он вытащил из кармана гимнастерки несколько ассигнаций и, положив их на стол, подошел к ней.

— Прощай.

Она жалобно спросила:

— Ты в самом деле уходишь? Я тебе не нравлюсь?

— Нет, ты мне нравишься.

— Значит, ты уходишь, потому что я немка?

— Нет.

— Так почему же не хочешь остаться?

Он хотел сказать: «Потому что ты меня расстроила»,— но только пожал плечами.

— И ты даже не поцелуешь меня?

Он наклонился и поцеловал ее в лоб, но она не дала ему выпрямиться, запрокинула голову и, прильнув к нему, прижалась губами к его губам.

Он вдруг сел и сказал:

— Не надо! Я не хочу чувствовать себя скотиной.

Она рассмеялась.

— Ты странный мальчишка, но очень хороший. Ну, поговори со мной немножко. Со мной никто не разговаривает, а мне больше всего хочется поговорить. Скажи, ты видел много пленных немцев?

Он вздохнул, то ли облегченно, то ли с сожалением.

— Да, порядочно.

— Среди них были и люди с Рейна?

— Наверное, были.

— Они очень горюют?

— Некоторые горевали, другие были рады, что попали в плен.

— Ты когда-нибудь видел Рейн? Правда, он красив? Он особенно хорош ночью. Лунный свет там такой же, как здесь, и во Франции, и в России, везде. И деревья везде одинаковы, и люди так же встречаются под ними и любят, как здесь. Ох, как это глупо — воевать!.. Как будто люди не любят жизнь.

Ему хотелось сказать: «Никогда не узнаешь, как хорошо жить, пока не встретишься со смертью, потому что до тех пор ты не живешь. И когда все так думают, когда каждый готов отдать жизнь за другого, то это дороже всего остального на свете». Но он не мог сказать это женщине, которая ни во что не верила.

— Как ты был ранен, милый?

— Мы шли в атаку через открытую местность... Во время перебежки в меня угодили сразу четыре пули.

— А ты не испугался, когда приказали идти в атаку?

Нет, в тот раз он ничего не боялся. Он покачал головой и рассмеялся:

— Это было здорово. Мы много смеялись в то утро. И надо же, чтобы меня так быстро подстрелили! Экое свинство!

Она испуганно уставилась на него.

— Вы смеялись?

— Ну да. И знаешь, кого я первым увидел, когда на следующее утро пришел в себя? Моего старикана — полковника... Он наклонился надо мной и вливал мне в рот лимонный сок. Если б ты знала моего полковника, ты бы тоже верила, что в жизни есть хорошее, хоть и зла много. В конце концов умирают только раз, так уж лучше умереть за родину.

Лунный свет придавал ее лицу с внимательными, чуть потемневшими глазами какое-то очень странное, неземное выражение. Она прошептала:

— Нет, я ни во что не верю. Сердце во мне умерло.

— Тебе это только кажется. Если бы это было так, ты не плакала бы, когда я встретил тебя.

— Если бы сердце мое не умерло, думаешь, я могла бы жить так, как я живу?.. Каждую ночь бродить по улицам, делать вид, что тебе нравятся незнакомые мужчины... Никогда не слышать доброго слова... Даже не разговаривать, чтобы не узнали, что я немка. Скоро я начну пить, и тогда мне «капут». Видишь, я трезво смотрю на вещи. Сегодня я немного расчувствовалась — это все луна. Но я теперь живу только для себя. Мне на все и на всех наплевать.

— Как же так? Ты только что жалела свой народ, пленных и вообще...

— Да, потому что они страдают. Те, что страдают, похожи на меня, значит, выходит, что я жалею себя, вот и все. Я не такая, как ваши английские женщины. Я знаю, что делаю. Пусть я непорядочная, но голова у меня работает, она не отупела.

— И сердце тоже.

— Дорогой, ты очень упрям. Но вся эта болтовня о любви — чепуха. Мы любим только себя.

Угнетенный тем, что снова услышал затаенную горечь в ее тихом голосе, он встал и высунулся из окна. В воздухе уже не чувствовалось ни духоты, ни запаха пыли. Он ощутил пальцы Мэй в своей руке, но не пошевелился. Она такая черствая и циничная — так почему он должен жалеть ее? И все же он жалел ее. Ее прикосновение вызывало у него желание защитить ее, оградить от горя. Ему, совсем незнакомому человеку, она излила свою душу. Он слегка пожал ей руку и почувствовал ответное движение ее пальцев. Бедняжка! Видно, многие годы никто не относился к ней с такой дружеской симпатией. А ведь в конце концов чувство товарищества важнее и сильнее всего. Оно было всюду, как это лунное сияние («Такое же и в Германии», — сказала она), как этот белый чарующий свет, обволакивающий деревья в пустынном, молчаливом сквере и превращающий оранжевые фонари в причудливые, бесполезные игрушки. Он повернулся к девушке — несмотря на пудру и помаду на губах, лицо ее поразило его своей недоброй, но волнующей красотой. И тут у него появилось очень странное ощущение: вот они стоят тут оба, как доказательство, что доброта и человечность сильнее вожделевства и ненависти, сильнее низости и жестокости. Внезап-

но ворвавшиеся откуда-то с соседних улиц голоса мальчишек-газетчиков заставили его поднять голову; крики усиливались, сталкивались друг с другом, мешая разобрать слова. Что они кричат? Он прислушался, чувствуя, как замерла рука девушки на его плече — Мэй тоже слушала. Крики приближались, становились громче, пронзительней; и лунная ночь внезапно наполнилась фигурами, голосами, топанием и бурным ликованием. «Победа!.. Блестящая победа! Официальное сообщение!.. Тяжелое поражение гуннов! Тысячи пленных!» Все мешалось, неслось куда-то мимо, опьяняя юношу, наполняя его дикой радостью, и, высунувшись наружу, он размахивал фуражкой и кричал «ура!», как безумный. И все вокруг как будто трепетало и отзывалось на его волнение. Потом он отвернулся от окна, чтобы выбежать на улицу, но, наткнувшись на что-то мягкое, отпрянул. Эта девушка! Она стояла с искаженным лицом, тяжело дыша и сжав руки. И даже сейчас, охваченный этой безумной радостью, он пожалел ее. Каково ей, одной среди врагов, слышать все это! Хотелось что-то сделать для нее. Он наклонился и взял ее за руку — в нос ему ударил запах пыльной скатерти. Девушка отдернула руку, сгребла со стола деньги, которые он положил туда, и протянула ему.

— Возьми... Мне не нужно твоих английских денег... Возьми их! — И вдруг она разорвала бумажки на двое, потом еще раз, еще, бросила клочки на пол и, повернувшись к нему спиной, оперлась на стол, покрытый пыльным плюшем, опустила голову. А он стоял и смотрел на эту темную фигуру в темной комнате, четко очерченную лунным светом. Стоял только одно мгновение, затем бросился к двери...

Он ушел, а она не шевельнулась, не подняла головы — она, которая ни во что не верила, которой все было безразлично. В ушах у нее звенели ликующие крики, топтливые шаги, разговоры; стоя посреди обрывков денег, она всматривалась в лунный свет и видела не эту ненавистную комнату и сквер напротив, а немецкий сад и себя маленькой девочкой, собирающей яблоки, и большую собаку рядом, и сотни других картин, таких, которые проносятся в воображении человека, когда он тонет. Сердце ее переполнилось, она упала на пол

и приникла лицом, а потом и всем телом к пыльному ковру.

Она, которой все было безразлично, которая презирала все народы, даже свой собственный, начала машинально собирать клочки ассигнаций, сгребая их вместе с пылью в одну кучку, похожую на кучку опавших листьев; она ворошила ее пальцами, и слезы бежали у нее по щекам. Ради своей родины порвала она деньги, ради побежденной родины. И это сделала она, одинокая в большом неприятельском городе, с единственным шиллингом в кармане, она, добывающая средства к жизни в объятиях своих врагов! И, внезапно сев на ковре, освещенная луной, она громко, во весь голос запела: «Die Wacht am Rhein»¹.

¹ «Стража на Рейне» (нем.).

ВО ВСЕМ НУЖНО ВИДЕТЬ ХОРОШУЮ СТОРОНУ

Эта маленькая англичанка когда-то, восемнадцать лет тому назад, вышла замуж за немца и прожила с ним все эти годы скромного счастья в Путни, на окраине Лондона, где он занимался выделкой тонких сортов кожи. Он был безобидный деловитый человек и умел делать все, чем искони занимаются крестьяне Шварцвальда, которые сами делают там у себя в горах все необходимое — и грубые холсты из собственного льна, и упряжь из кожи домашнего скота, и одежду из его шерсти, и сосновую мебель, и хлеб в простых печах из собственной муки, смолотой самым примитивным способом, и сыр из молока своих коз. Почему он приехал в Англию, он, вероятно, и сам уже не помнил — так давно это было; но он, вероятно, еще помнил, почему он женился на своей Доре, дочери плотника из Путни, так как она до сих пор казалась ему верхом совершенства: это была одна из тех простых лондонских женщин, в которых под почти непроницаемой маской насмешливости и философского спокойствия скрывается натура глубоко чувствительная и которые постоянно, с удивительной простотой, словно не замечая этого, делают добро людям. Супруги прожили в своем маленьком домике в Путни все эти восемнадцать лет, так и не собравшись переехать в другой, хотя неоднократно намеревались сделать это ради детей, которых у них было трое — мальчик и две девочки. Миссис Гергарт — я буду называть ее так, потому что муж ее носил весьма типичную немецкую фамилию, а имена и фамилии имеют куда большее значе-

ние, чем мог предполагать даже Шекспир,— так вот, миссис Гергарт была маленькая женщина с огромными карими глазами и темными вьющимися волосами, в которых к тому времени, как разразилась война, уже проглядывали седые нити. Ее сыну Дэвиду, старшему из детей, было в то время четырнадцать, а девочкам Минни и Виолетте — восемь и пять, и обе они были прелестные, особенно меньшая. Гергарт, возможно, потому, что он был хороший мастер, так и не пошел в гору. Фирма считала его человеком незаменимым и платила ему довольно неплохо, но он не обладал «пробивной силой», потому что по характеру своему был работой-ремесленником и в свободное время обычно выполнял всякие мелкие работы у себя дома или у соседей, за что, разумеется, не получал никакого вознаграждения. И потому они жили скромно, ничего не откладывая на будущее, ибо для этого нужно думать только о своем кошельке. Но зато они жили счастливо и не имели врагов; и каждый год в их тщательно прибранном домике и крошечном садике за домом можно было заметить что-нибудь новое, какое-нибудь маленькое усовершенствование. Миссис Гергарт, которая была не только женой и матерью, но и кухаркой, и швеей, и прачкой у себя дома, пользовалась на их улице, где домики стояли почти обособленно, славой человека, всегда готового прийти на помощь всякому, на кого обрушилось несчастье или болезнь. Здоровья она была не особенно крепкого, с тех пор как первые роды прошли у нее не совсем хорошо, но она обладала той особой силой духа, которая позволяет видеть вещи такими, каковы они есть, и все же не отчаиваться, что немало обескураживает Судьбу. Она хорошо сознавала недостатки своего мужа и не менее ясно видела его достоинства — и супруги никогда не ссорились. С изумительной объективностью судила она и о характерах своих детей; одного только она не могла знать наверняка: какими они станут, когда вырастут.

Перед началом войны они как раз собрались отправиться всей семьей в Маргейт на праздники, и так как это стало бы в их жизни событием почти небывалым, то, когда поездку пришлось отменить, они представили себе катастрофу, постигшую мир, с такой ясностью, с какой

иначе никогда не могли бы осознать ее эти домоседы, столь далекие от всей обстановки, в которой созрели зерна мировой войны. Если не считать случайных замечаний о том, что война эта ужасна, они только однажды, и притом очень недолго, беседовали о ее возникновении, лежа на своей железной кровати под неизменным коричневым с красными полосами стеганым одеялом. Они согласились, что жестоко и несправедливо было вторгаться в «эту маленькую Бельгию», и на этом прекратили обсуждать событие, которое казалось им нелепым и безумным преступлением против всего, что они привыкли считать нормальной жизнью. Они получали газеты — одну ежедневную и одну еженедельную, — которым верили так же слепо, как и миллион других читателей, и пришли в ужас, прочитав в свое время про злодеяния «гуннов», после чего не замедлили осудить кайзера и его милитаризм с такой решительностью, словно были английскими подданными. Именно потому их неприятно удивило, когда в тех же самых газетах стали попадаться упоминания о «гуннах, которых немало еще живет среди нас», а также о «шпионах» и о том, какую опасность представляют для нации эти «змеи, вскормленные у нее на груди». Оба они были глубоко убеждены, что ни в коей степени не являются такими «змеями», и мало-помалу стали понимать, как это несправедливо. И, конечно, особенно остро ощущала это маленькая миссис Гергарт, потому что удары были направлены не против нее, а против ее мужа. Она очень хорошо знала своего мужа, знала, что он способен только тихо работать, никому не причиняя вреда, и то, что теперь его хотят записать в «гунны» и в «шпионы» и заклеить всеобщей ненавистью, изумляло и возмущало ее или, во всяком случае, должно было бы возмутить, но ее спокойный и здравый характер не позволил ей принять все это всерьез. Что касается Гергарта, то он стал таким молчаливым, что с каждым днем все труднее и труднее было судить о его чувствах. Потребовалось немало времени, прежде чем газетный патриотизм начал оказывать свое воздействие на доброжелательных жителей Путни. Пока никто из соседей не показывал, что он считает маленького Гергарта чудовищем и шпионом, миссис Гергарт могла спать спокой-

но, в полной уверенности, что нападки газет не касаются ни Гергарта, ни ее самой. Однако она заметила, что муж ее перестал читать газеты и отодвигал их подальше от себя, если они попадались ему под руку в их малюсенькой гостиной с разрисованными цветами стенами. Вероятно, он более чутко, чем она, слышал угрожающую поступь Судьбы. Их сын Дэвид в тот год поступил на работу, девочки учились в школе, и все шло, как обычно, в эту первую, такую длинную военную зиму и весну. Миссис Гергарт, покончив с дневными хлопотами, вязала носки для «наших бедных ребят, которые мерзнут в окопах», но Гергарт больше не искал, чем бы ему помочь соседям. Миссис Гергарт решила, что он «вбил себе в голову», будто им это неприятно.

И в самом начале весны она взяла к себе в дом глухую тетушку, жену своего дяди с материнской стороны; тетушка эта не состояла с ней в кровном родстве, но бедной женщине некуда было деваться; Дэвида теперь клали спать в гостиной на жесткой кушетке, набитой конским волосом, потому что «не могла ж она отказать бедняжке». И вот как-то в апреле под вечер, когда миссис Гергарт была занята стиркой, к ней, запыхавшись, прибежала ее соседка миссис Клайрхью, маленькая сухощавая женщина, на лице у которой, казалось, не было ничего, кроме глаз, скул, волос и неукротимой решимости, и, едва войдя в дом, выпалила:

— Ах, миссис Гергарт, вы слышали? Они потопили эту, как ее, «Лузютанию»! А я Уилу своему говорю: «Ну что за ужас!»

И миссис Гергарт, с чьих округлых рук стекала мыльная пена, ответила:

— Конечно, ужас! Сколько их, бедных, там потонуло! Боже мой! Боже мой!

— Ах, эти гунны! Так бы и перестреляла их всех, право, перестреляла!

— Они действительно страшные люди,— подхватила миссис Гергарт.— Как ужасно они поступили!

И только в пять часов, когда Гергарт вернулся с работы, бледный, как полотно, она поняла, что эта катастрофа коснулась и их тоже.

— Они говорят, что я немец.— Это было первое, что он сказал, войдя в дом.— Долли, они говорят, что я немец.

— Ну и что же, так оно и есть, милый,— сказала миссис Гергарт.

— Ты не понимаешь,— проговорил он так горячо и взволнованно, что она удивилась.— Я тебе говорю, что теперь все пропало из-за этой «Лузитании». Они арестуют меня. Заберут от всех вас. Смотри, уже сегодня в газетах напечатано: «Интернировать всех гуннов».

Он сел за стол здесь же в кухне и закрыл лицо руками, еще грязными после работы. Миссис Гергарт стояла рядом, широко раскрыв глаза.

— Но скажи, Макс,— спросила она,— какое это все имеет отношение к тебе? Ты ведь тут ни при чем, правда, Макс?

Гергарт поднял голову; на бледном лице его с широким лбом и тонким подбородком было написано полное отчаяние.

— А им-то какое дело? Меня ведь зовут Макс Гергарт, правильно? И какое им дело до того, что я ненавижу войну? Я немец. Этого достаточно. Вот увидишь.

— О нет, они не допустят такой несправедливости!— прошептала миссис Гергарт.

Гергарт взял ее за подбородок, и мгновение они напряженно глядели друг другу в глаза.

Потом он сказал:

— Я не хочу, чтоб меня забрали, Долли. Что я буду делать без вас, без тебя и детей? Я не хочу, чтоб меня забрали, Долли.

И миссис Гергарт, жизнерадостно улыбаясь, а в душе холодея от ужаса, стала его успокаивать:

— Не нужно думать о таких глупостях, Макс. Вот я тебе сейчас приготовлю чашечку хорошего чаю. Не унывай, милый! Будем надеяться на лучшее, ведь все имеет свою хорошую сторону!

Но Гергарт снова погрузился в молчание, которого она в последнее время стала побаиваться.

В эту ночь в нескольких магазинах были разбиты вит-

рины, а немецкие имена соскоблены с вывесок. У Гергартов не было своего магазина, имя их не значилось нигде на вывеске, и потому их не тронули. Яростные нападки на «гуннов, которые живут среди нас», возобновились в печати и парламенте с новой силой; но Судьба еще не открыла Гергартам свой зловещий лик. Он по-прежнему ходил на работу, и пока их тихую, трудную жизнь не нарушало ничто; и миссис Гергарт не могла понять, чем объясняется упорное молчание ее мужа: тем, что он «вбил себе в голову» что-то, или поведением соседей и знакомых. Можно было подумать, что он, подобно их одинокой тетушке, был глухим, так трудно с ним стало теперь разговаривать. Его выручало пока то, что он долгие годы прожил в Англии, и то, что он был ценным работником, потому что в своем деле он был настоящим мастером; но где-то там, за занавесом, Судьба уже скалилась в зловещей усмешке.

И только после воздушных налетов в 1916 году, когда поднялся всеобщий вой, Гергарта забрали вместе с множеством других уже немолодых людей, все преступление которых заключалось в том, что они родились в Германии. Это произошло неожиданно, но, вероятно, им теперь было почти все равно, потому что, видя, столько времени его молчаливое горе, вся семья была так удручена, что уже перестала видеть хорошую сторону, о которой так часто говорила миссис Гергарт. Когда он ушел в сопровождении толстого, добродушного констебля, захватив с собой все, что они успели наспех для него собрать, она бросилась в полицию. Там к ней отнеслись вполне дружелюбно — не нужно унывать, все будет в порядке, пусть она не беспокоится. О, конечно, пускай попробует сходить в министерство внутренних дел, ежели хочет, может, там чего и выйдет. А только они так думают, что ничего из этого не выйдет! Миссис Гергарт еле дождалась утра, лежа в своей постели с маленькой Виолеттой и тихо всхлипывая в подушку; потом, надев свое лучшее воскресное платье, она отправилась в Уайтхолл, в самый большой дом, порог которого ей доводилось когда-нибудь переступить. Она прождала там два часа, скромно сидя в уголке и испуганно глядя прямо перед собой широко раскрытыми глазами и нахмутив брови. Каждые полчаса она вставала и не-

принужденно спрашивала курьера: «Небось, там про меня и забыли, сэр? Может, вы справитесь?» И так как она спрашивала об этом весело и беззлобно, курьер относился к ней покровительственно и говорил: «Все в порядке, мамаша. Они там сейчас очень заняты, но уж я для вас как-нибудь повлияю».

Когда наконец он действительно «повлиял» и она очутилась в присутствии сурового джентльмена в очках, она так остро почувствовала всю необычайную важность этого момента, что лишилась дара речи. «О, боже,— думала она, и сердце ее трепыхалось при этом, словно у пойманной птицы,— нет, он ни за что не поймет этого; и я ни за что не смогу убедить его!» И ей ясно представилось, как мертвое отчаяние, словно ворох мертвых, опавших листьев, засыпает ее мужа, как недоедают ее дети, как глухая тетушка, которая теперь совсем прикована к постели, лежит брошенная на произвол судьбы, потому что сама она, единственная кормилица семьи, теперь завалена работой. И, с трудом переводя дух, она сказала:

— Право же, мне очень жаль отнимать у вас время, сэр, но мужа моего забрали и отвезли во «Дворец»; мы уже двадцать лет с ним женаты, а в Англии он прожил двадцать пять лет; и он очень хороший человек и работник хороший; я так думаю, они просто не знали этого; а у нас трое детей, да еще родственница, которая не может встать с постели. Конечно же, мы понимаем, что немцы поступают очень дурно; Гергарт и сам это всегда говорит. И он совсем не какой-нибудь шпион; так что я думала, может, вы нам поможете, сэр, ведь я-то сама англичанка.

Глядя куда-то поверх нее, он ответил устало:

— Гергарт... Ну ладно, я посмотрю. Нам придется сейчас делать очень неприятные вещи, миссис Гергарт.

И тут маленькая миссис Гергарт, у которой глаза были раскрыты теперь так широко, что, казалось, вот-вот выскочат из орбит, потому что она ведь была неглупа и понимала, что это конец, поспешно заговорила:

— Ну, конечно же, я понимаю, что страшный шум поднялся и газеты требуют этого; а только у нас вот на

улице против него никто ничего не скажет, сэр. И он всегда всем помогал по хозяйству; так что я думала, для него можно бы исключение сделать.

Она заметила, что при слове «шум» губы у джентльмена сжались плотнее и что теперь он смотрел на нее в упор.

— Его дело, без сомнения, рассматривала комиссия; но я еще раз наведу справки. До свидания.

Миссис Гергарт, которая не привыкла быть навязчивой, сразу встала; слеза покатилась по ее щеке, но на смену ей тут же пришла улыбка.

— Спасибо вам, сэр; вот уж спасибо. До свидания, сэр.

И она вышла. В коридоре ей встретился курьер, и на его вопрос: «Ну как, мамаша?» — она ответила:

— Не знаю. Осталось надеяться на лучшее, во всем нужно видеть хорошую сторону. До свидания и простите за беспокойство.— И она пошла прочь с таким чувством, будто ее избили.

И «хорошая сторона», которую нужно было сейчас видеть, как оказалось, вовсе не означала возвращение домой бедного Гергарта, арестованного вовсе не случайно, а во имя безопасности страны. Из соображений экономии, а также смутно чувствуя, что ее любимые газеты каким-то образом повинны в том, что произошло, она перестала их выписывать, и вместо чтения занялась шитьем. Это было необходимо еще и потому, что пособие, которое она получала от правительства, составляло лишь около четверти жалованья Гергарта. Конечно, несмотря на такую разницу, это было лучше, чем ничего, и она понимала, что должна быть благодарна. Но как ни удивительно, она не могла при этом забыть, что сама-то она англичанка, и ей казалось странным, что вдобавок к тому горю, что ей пришлось пережить, расставшись с мужем, с которым она никогда не разлучалась даже на одну ночь, ей еще приходилось теперь работать вдвое больше, а есть вдвое меньше только из-за того, что муж оказал честь ее стране, предпочтя ее своей собственной. Но в конце концов у многих сейчас было еще больше всяких несчастий, так что она старалась видеть во всем хорошую сторону и надеяться на лучшее, особенно в те дни, когда она одна или вместе

с маленькой Виолеттой раз в неделю отправлялась в тот «Дворец», где, как она, к великому своему утешению, прочла в своих любимых газетах, мужа ее содержали, как принца. Поскольку денег у него не было, его включили в так называемую «команду», и встречи их происходили на рынке, где были выставлены на продажу всякие вещи, изготовленные «принцами». Здесь мистер и миссис Гергарт могли постоять перед какой-нибудь куклой, бюваром, календарем или тросточкой, сделанной одним из «принцев». Так они и стояли, взявшись за руки и стараясь забыть, что их окружают другие мужья и жены, а маленькая Виолетта то отходила, то вдруг возвращалась и судорожно обхватывала отцовскую ногу. И, стоя тут, миссис Гергарт старалась видеть хорошую сторону жизни и говорила мужу, что все очень хорошо и он не должен ни о чем беспокоиться, а в полиции к ней очень добры и тетушка спрашивает о нем, а Минни получит награду в школе; так что пускай он не унывает и ест как следует и надеется на лучшее. А Гергарт улыбался так, что эта улыбка была ей словно ножом по сердцу, и говорил:

— Ну и отлично, Долли. У меня все в порядке.

А когда раздавался свисток, он целовал маленькую Виолетту, и оба они умолкали, глядя друг на друга. Потом она говорила обычным, будничным тоном, который, однако, никого не мог обмануть:

— Ну, мне пора. До свидания, милый!

А он говорил:

— До свидания, Долли! Поцелуй меня.

После этого они целовались, а потом, крепко сжав ручку маленькой Виолетты, она спешила прочь через толпу, стараясь не оборачиваться, словно боялась, что при этом вдруг потеряет из виду хорошую сторону происходящего. Но месяцы шли за месяцами, прошел год, полтора, потом и два года, а она все ходила раз в неделю навещать своего «принца» в его «Дворце», и посещения эти стали для нее самым тяжким из того, что сулила ей каждая тяжкая неделя, потому что она была не только героическая женщина, но и женщина вполне разумная, и видела, что морщины избороздили не только сердце ее мужа, но и его лицо. Он уже давно

не говорил ей: «У меня все в порядке, Долли». Лицо у него теперь было измученное, он исхудал и жаловался на головные боли.

— Здесь так шумно,— повторял он все время.— Ох, как здесь шумно, ну, просто нет ни минуты покоя — ни на минуту один не останешься... ни на минуту... ни на минуту... И кормят плохо; нам теперь сократили паек, Долли.

Она научилась незаметно передавать ему еду, но только еды этой было совсем немного, потому что им и самим не хватало: ведь цены росли, а ее жалкие доходы не увеличивались. Муж рассказал ей, что газеты поднимали шумиху, уверяя, будто их тут откармливают, как индюков, в то время как «гунны» топят корабли. И вот теперь Гергарт, который и раньше-то был сухощавым, потерял восемнадцать фунтов весу. Да и сама она, от природы довольно плотная, тоже худела, но даже не замечала этого, потому что была слишком занята своими делами и мыслями о муже. Для нее мучительной пыткой было видеть все эти месяцы, как с каждой неделей он теряет надежду, и еще мучительнее было скрывать свои чувства. Она давно уже видела, что у всего этого нет никакой хорошей стороны, но понимала, что если она признает это, у нее совсем опустятся руки. Она тщательно скрывала от него и то, что Дэвид растет быстро, но не успевает набрать силу, потому что она не может кормить его как следует; и то, что тетушка теперь уж и шевельнуться не может; и что соседи относятся к ней все враждебнее. Вероятно, они не хотели быть к ней несправедливыми; просто и они тоже подпали под влияние общественного мнения, измученные постоянными тревогами, необходимостью стоять в очередях, страхом перед воздушными налетами, возмущенные рассказами о немецких зверствах, как правдивыми, так и лживыми. И, несмотря на то, что она сделала им много добра, ее в конце концов тоже стали мазать одним миром с другими, потому что нервы у нее сдали раз или два и она сказала, что это позор — держать под стражей ее мужа, который чувствует себя все хуже и хуже и который никогда ничего дурного не сделал. И, несмотря на свою разумность — а она была очень разумна,— она, не выдержав этой еженедельной пытки, когда ви-

дела его в таком состоянии, в конце концов утратила снисходительность, с которой, как уверяла ее миссис Клайрхью, она должна была относиться к правительству. И вот однажды она упомянула о «честной политике», и тогда сразу стали говорить, что у нее «немецкие симпатии». С этой минуты она была обречена. Те, кто раньше пользовался ее услугами, первыми поспешили выказать ей свою неприязнь, ибо самолюбие их было уязвлено. Как бы ни были непритязательны обитатели Пулни, гордость, которая есть у каждого, не могла допустить, чтобы человек, известный своими «немецкими симпатиями», оказывал им благодеяния, например, ухаживал за ними во время болезни. Миссис Гергарт, наделенная твердостью истинной дочери лондонских предместий, сама могла бы стерпеть все, пока это касалось ее одной, но вскоре это коснулось и ее детей. Дэвид пришел как-то домой с синяком под глазом и ни за что не хотел сказать, что случилось. Минни не дали награды в школе, хотя она явно заслужила ее. Это произошло как раз после того, как началось последнее немецкое наступление, но миссис Гергарт не признавала никаких причин. Маленькая Виолетта уже два раза с горечью задавала ей вопрос, от которого у нее разрывалось сердце:

— А я англичанка, мам?

— Ну, конечно, моя дорогая,— отвечала она ей.

Но было ясно, что ответ этот не рассеивал сомнений девочки.

Потом Дэвида забрали в английскую армию. Это настолько выбило из колеи миссис Гергарт, что она не удержалась и выпалила в присутствии миссис Клайрхью, единственной, которая не отвернулась от нее:

— И все-таки, по-моему, это жестоко, Элиза. Они схватили отца и держат его в заключении уже который год, считая его опасным гунном, а теперь они забирают в армию сына, чтобы он воевал против этих же гуннов. Как я без них обоих управлюсь, просто не знаю.

И маленькая миссис Клайрхью, которая сама была шотландка и говорила с глостеширским акцентом, сказала ей:

— Да, но ведь мы должны разбить их. Это такие ужасные люди. Я понимаю, тебе это нелегко, но мы должны их разбить.

— Но ведь мы-то, мы ведь никому плохого не делали! — крикнула миссис Гергарт. — Ведь не мы же эти ужасные люди! И мы никогда не хотели войны; а для него это настоящая гибель. И они должны отдать мне мужа или сына, того или другого.

— Но ведь и ты должна посочувствовать правительству, Долли, ему приходится быть жестоким.

И тогда миссис Гергарт повернула к подруге дрожащее лицо.

— Постараюсь, — сказала она тоном, который заронил в сердце миссис Клайрхью подозрение, что Дора «озлобилась».

И она не могла забыть этого; теперь при упоминании об ее прежней подруге она только сердито вскидывала голову. И это было ударом для миссис Гергарт, потому что у нее не осталось теперь друзей, — разве только глухая, прикованная к постели тетушка, которой было уже все равно, идет война или нет, немцы они или нет, лишь бы ее кормили.

К этому времени произошел перелом в войне, и немцы потерпели поражение. И даже миссис Гергарт, которая теперь не читала газет, узнала об этом и почувствовала облегчение; хорошая сторона снова появилась где-то на горизонте. У нее создалось впечатление, что теперь, избавившись от прежнего страха, они не будут больше так жестоки к ее мужу и, может, война кончится раньше, чем с ее сыном случится что-нибудь недоброе. Но Гергарт удивил ее. Он совсем не обрадовался новостям. Жало обиды, казалось, слишком глубоко проникло к нему в душу. И однажды, проходя через рынок, мимо открытой двери их казармы, миссис Гергарт поняла, отчего это было так. Ее удивленному взгляду открылись длинные ряды подвешенных кое-как на веревках коричневых одеял, отгораживавших друг от друга бесчисленное множество убогих коек, стоявших почти впритык; и она почувствовала тяжелый запах согнанного в кучу людского стада и услышала немолчный гул. Так вот где провел ее муж эти тридцать месяцев — в грязной, многолюдной и шумной казарме, среди не-

приятных людей, вроде тех, что лежат вон там на койках или сидят, склонившись над работой. Он еще как-то ухитрялся быть опрятным, во всяком случае, в те дни, когда она навещала его; но жить-то ему приходилось здесь! Возвращаясь одна (потому что она больше не брала Виолетту навещать ее немца-папу), она до самого дома не могла успокоиться. Что бы ни случилось с ним теперь, даже если ей вернут его, он уже никогда не будет прежним — она знала это.

И вот наступило утро, когда она вместе с другими жителями Путни выбежала из дому, услышав, как с треском взлетают ракеты, и решив, что это воздушный налет; но ее старый сосед улыбался во весь беззубый рот, а в школе за углом кричали мальчишки, и она поняла, что это Мир. Волнение переполнило ее сердце, и, бегом вернувшись домой, она села в кресло — одна в своей пустой гостиной. Лицо ее вдруг сморщилось, и слезы полились из глаз, и она долго плакала в одиночестве в маленькой холодной комнате. Это были слезы облегчения и глубокой благодарности. Все кончилось. Наконец-то все кончилось! Бесконечное ожидание... бесконечное горе... тоска по мужу... и горькая жалость ко всем бедным мальчикам, там, где шли бои, в грязи, в этих ужасных окопах, и смертельный страх за ее собственного мальчика — все кончилось, все! Теперь они выпустят Макса, теперь Дэвид вернется из армии; и люди больше не будут относиться к ней и ее детям так зло и недоброжелательно.

Ведь она была из лондонского предместья, и в простой душе ее понятие мира было связано с доброй волей. Утерев слезы, она встала и погляделась в маленькое дешевое зеркальце над пустым камином. Лицо было все в морщинах, и она сильно поседела, муж вот уже два года не видел ее без шляпки. Что-то он скажет? Она долго терла щеки, пытаясь разгладить морщины. Потом вдруг, охваченная угрызениями совести, она бросилась вверх, в спальню в задней части дома, где лежала глухая тетушка. Схватив самодельную слуховую трубку, которую сделал Гергарт еще перед арестом, она закричала:

— Мир, тетушка! Мир! Только подумать — мир!

— Что такое? — спросила глухая.

— Мир, тетушка, мир наступил!

Глухая приподнялась на постели, и тусклые глаза ее на иссохшем длинном лице, казалось, осветились какой-то мыслью.

— Да неужто? — сказала она равнодушно. — А я так есть хочу, Долли; не пора ли мне обедать?

— Я как раз собиралась нести вам обед, тетушка, — ответила миссис Гергарт и, взволнованная, бросилась вниз, чтобы принести старушке тарелку с хлебом, перцем, солью и луком.

И в тот день и еще целых два дня она с поразительной отчетливостью видела хорошую сторону всего происходящего и с нетерпением ждала свидания со своим «принцем» в его «Дворце». Встретившись с ним, она увидела, что он находится в каком-то странном и весьма плачевном состоянии. Весть об окончании войны произвела очень сильное впечатление на эти тысячи людей, согнанных сюда и так надолго оторванных от нормальной жизни, вызвав у них самые противоречивые чувства. И все полтора часа свидания она отчаянно пыталась заставить его увидеть хорошую сторону происшедшего и поверить в будущее, но его терзало множество сомнений и страхов, и в конце концов она простилась с ним, как всегда, улыбающаяся, но совершенно обессиленная. Недели шли за неделями, и мало-помалу она убедилась, что все осталось по-прежнему. Теща себя надеждой, что Гергарт может вернуться со дня на день, она починила его домашние туфли, приготовила ему кое-что из одежды Дэвида и даже держала наготове большой таз, чтобы он мог помыться как следует горячей водой, когда придет. Отказывая себе во всем, она купила для него бутылку пива и его любимые маринованные огурчики и начала снова читать свою газету, пропустив ей прошлое. Но он все не возвращался. А вскоре газета известила ее, что начали возвращаться английские военнопленные — многие из них, бедняги, были в ужасном состоянии, — и сердце у нее обливалось кровью, когда она читала о них; и она проникалась негодованием против тех жестоких людей, которые обращались с ними дурно; но еще в газете говорилось, что, по мнению редакции, проклятых «гуннов» нельзя больше терпеть в этой стране. «Выслать их всех!» — писала газета. Сна-

чала она даже не поняла, что это относится к Гергарту, но когда поняла наконец, выронила из рук газету, словно это был раскаленный уголь. Не позволить ему вернуться домой, к семье, не позволить ему остаться здесь после всего, что они сделали с ним, в то время как он-то им ничего плохого не сделал! Не позволить ему остаться, а выслать в ужасную страну, которую он почти позабыл за эти тридцать лет; и это в то время, как у него жена-англичанка и дети! Эта дикая нелепость и несправедливость настолько заслонила собой хорошую сторону, что ей пришлось выйти из комнаты в темный садик за домом, где дул юго-западный ветер и лил дождь. И там, подняв взгляд к вечернему небу, она издала тихий стон. Нет, этого не может быть; и все-таки то, что писали в газете, всегда оказывалось правдой — и Гергарта забрали и потом сократили ему паек. И тогда из тумана прошлого перед ее взглядом возникло лицо того джентльмена из Уайтхолла, его плотно сжатые губы и его слова: «Нам приходится делать очень неприятные вещи, миссис Гергарт». Почему же им приходится делать это? Ее муж никогда и никому не причинял зла! Волна горечи захлестнула ее, и она едва не задохнулась. Отчего они делают так — эти джентльмены из газет! Разве у них нет сердца, нет глаз и они не видят, сколько горя приносят они простым людям? «Нет, я не желаю им большего горя, чем они принесли мне и мужу», — подумала она с озлоблением.

Дождь хлестал ей в лицо, намочил ее седые волосы, охладил воспаленные глаза. «Я не должна быть такой злой», — подумала она и, нагнувшись в темноте, приоткрыла дверь к стеклу маленького парника, устроенного около кухни и обогревавшегося горячей водой посредством хитроумной системы труб, которую смастерил ее муж еще в былые дни. Под стеклом была всего одна роза, которая еще цвела, и несколько маленьких лохматых хризантем. Она берегла их для семейного торжества в честь его возвращения. А если он не вернется, что делать тогда? Она выпрямилась. Над крышей неслись черные, грозовые облака; но в просветах между ними виднелись одна или две звездочки, казавшиеся еще более светлыми в непроглядной тьме ночи. «Нужно

видеть во всем хорошую сторону,— подумала она.— Иначе я не вынесу этого». И она пошла в дом варить кашу к ужину.

Зиму она провела в страшном беспокойстве. «Репатриировать гуннов!» Этот призыв то и дело появлялся на страницах ее газеты, словно чей-то страшный лик в неотвязном ночном кошмаре; и всякий раз, как она шла навестить Гергарта, страхи ее получали реальное подтверждение. Он так тяжело воспринимал все это, что временами она начинала бояться — а вдруг с ним «что-то неладное». Иначе она не решилась назвать его заболевание, которое доктора определили как начинающееся размягчение мозга. Видимо, перспектива быть высланным на родину держала его в постоянном страхе.

— Я этого не вынесу, Долли,— говорил он.— Что я буду там делать?.. Да и что я могу сделать? У меня там нет ни одного друга. Мне некуда деться. Я пропаду. Я боюсь, Долли. И как ты сможешь поехать туда, ты и дети? Я не смогу заработать вам на жизнь. Я теперь и на себя не смогу заработать.

А она говорила ему:

— Не унывай, мой милый, будем надеяться на лучшее! Подумай, а как же другие?

Потому что, хотя судьба этих других совсем не представлялась хорошей стороной в создавшемся положении, ей как-то легче было справляться с собственным горем, когда она представляла себе страдания всех этих бедных «принцев» и их семейств. Но он только головой качал.

— Нет, уж нам больше не быть вместе.

— Я поеду следом за тобой,— говорила она.— Ты не бойся, Макс, мы сможем рабстать в поле — и я и дети. Как-нибудь перебьемся. Держись, милый. Скоро все это кончится. И я буду с тобой, Макс, не бойся. Да они и не вышлют тебя никуда, вот увидишь, Макс.

А потом словно вдруг кто-то клал ледышку ей на грудь, у нее мелькала мысль: «А если пошлют? А тетушка? А сын? А дочери? Что мне тогда делать?»

Потом стали появляться длинные списки, и людей сгоняли в огромные партии и высылали в страну, язык

которой многие из них уже почти забыли. Имя Гергарта пока еще не попало в списки. Списки эти вывешивали обычно на следующий день после еженедельных свиданий миссис Гергарт с мужем, и она уговаривала его заявить протест, если его имя появится в списке. С большим трудом ей удалось убедить его, и он пообещал сделать это.

— Нужно надеяться на лучшее, Макс, и видеть во всем хорошую сторону,— умоляла она его.— У тебя сын в английской армии; они не посмеют тебя выслать. Они не смогут быть такими жестокими. Никогда не нужно отчаиваться.

Имя его появилось в списках, но потом его вычеркнули, и теперь время тянулось в тягостном ожидании, в ужасной неизвестности, и злобное лицо, словно из ночного кошмара, глядело на миссис Гергарт со страниц ее любимой газеты. Она снова читала эту газету и ненавидела ее, насколько ей позволяло ее добросердечие. Ведь это она медленно и верно убивала ее мужа, убивала всякую надежду на счастье; она ненавидела эту газету и читала ее каждое утро. Вслед за розой и красновато-коричневыми хризантемами в ее маленьком садике появились новые цветы — сначала несколько январских подснежников, потом одна за другой несколько голубых сцилий и наконец бледные нарциссы, которые называют «ангельскими слезками».

Мир запоздал, но цветы по-прежнему распускались до срока в их маленьком парнике, около кухонной трубы. И вот наконец наступил чудесный день, когда миссис Гергарт получила удивительное письмо, извещавшее ее, что Гергарт возвращается домой. Его не вышлют в Германию — он возвращается домой! Сегодня, сегодня же, в любую минуту он может оказаться здесь. Когда она получила это письмо — она так давно не получала ничего, кроме еженедельных писем от сына, который еще служил в армии,— когда его принесли, она намазывала маргарином хлеб для тетушки, и, разволновавшись сверх всякой меры, намазала маргарин слишком толсто, непростительно и расточительно толсто, уронила нож и стала всхлипывать и смеяться, прижав руки к груди, а потом вдруг запела: «Чу! Вот ангелы поют!» — и не бы-

ло в ее пении ни складу, ни ладу. Девочки уже ушли в школу, тетушка наверху не могла ее услышать, никто не слышал ее и никто не видел, как она вдруг упала в деревянное кресло и, все еще держа в вытянутых руках тарелку с хлебом, дала волю слезам и поплакала от души, сидя одна за безупречно чистым белым столом. Он возвращается домой, домой, домой! Вот она, хорошая сторона! Светлые звезды!

Прошло почти четверть часа, прежде чем она овладела собой и откликнулась на стук — это тетушка наверху стучала в пол, напоминая, что ей давно уже пора завтракать. Она второпях вскипятила чай и пошла наверх. Длинное невыразительное лицо старушки загорелось жадностью, когда она увидела, как толсто намазан маргарином хлеб; но маленькая миссис Тергарт ни слова не сказала ей, что означает это пиршество. Она только смотрела, как ест ее единственная подруга, и слезы все еще стекали по ее покрасневшим щекам, и слова песни все еще звучали у нее в голове:

Всюду мир и доброта,
Скоро рождество Христа.

Потом, так и не сказав ни слова, она побежала постелить свежие простыни на их кровать. Она не находила себе места, никак не могла успокоиться и целое утро все чистила и мыла. В полдень она вышла в сад и сорвала все цветы, какие были в их парнике, — и подснежники, и сцилли, и «ангельские слезки» — целую охапку цветов. Она принесла их в гостиную и широко распахнула окно. И солнце осветило цветы, которые она разложила на скатерти, чтобы сложить из них букет счастья. Так она стояла у стола, перебирая цветы и осторожно обламывая кончики их стебельков, чтобы они дольше простояли в воде, и вдруг почувствовала, что кто-то стоит на улице, за окном. Подняв голову, она увидела миссис Клайрхью. Она забыла, как эта женщина отвернулась от нее в трудную минуту, и приветливо крикнула:

— Заходи, Элиза; взгляни, какие у меня цветы!

Миссис Клайрхью вошла; она была одета в черное, скулы у нее выступали сильнее обычного, волосы, казалось, поредели, а глаза стали еще больше. Увидев, что

слезы катятся по щекам соседки и что ее резко выступающие скулы совсем мокры от слез, миссис Гергарт вскрикнула:

— Что случилось, милочка?

И та ответила с трудом:

— Мой сыночек!..

Миссис Гергарт бросила «ангельские слезки» и подошла к ней.

— Что с ним? — спросила она.

— Он умер! — сказала миссис Клайрхью. — Умер от гриппа. Нынче его хоронят. А я не могу... не могу...

Слезы душили ее, и она не в силах была больше ничего сказать. Миссис Гергарт обняла соседку и положила ее голову к себе на плечо.

— Я не могу, — всхлипывала миссис Клайрхью. — Не могу найти цветов. И вот, когда я увидела твои, то расплакалась.

— Так вот они, бери! — воскликнула миссис Гергарт. — Возьми их. Ну, пожалуйста, милочка. Возьми — мне так жаль тебя!

— Но как же так, — задыхаясь, проговорила сквозь слезы миссис Клайрхью, — ведь я не заслужила этого.

А миссис Гергарт уже собирала цветы со стола.

— Вот возьми, — сказала она. — Я ведь ничего не знала. Бедное дитя. Бери же! Бедняжка. Но зато он избавился от стольких страданий! Не падай духом, нужно во всем видеть хорошую сторону.

Миссис Клайрхью покачала головой.

— Ты ангел, вот кто ты!

И, схватив цветы, она выбежала из комнаты, а через секунду ее фигура в черной одежде уже мелькнула за окном на залитом солнцем тротуаре.

Миссис Гергарт стояла над опустевшим столом и думала: «Вот бедняжка — я рада, что она взяла цветы. Слава богу, я не сказала, что Макс возвращается!» Она подняла с полу оброненный нарцисс и поставила его в стакан с водой, на солнце. Она все еще стояла, глядя на бледный, тонкий и нежный цветок в грубом стакане, как вдруг раздался стук, и она пошла открыть дверь. На пороге стоял ее муж с большим коричневым бумажным пакетом в руке. Он стоял неподвижно, понури-

лову, и лицо у него было совсем серое. «Макс!»—вскрикнула она, а в голове у нее шевельнулась мысль: «Он постучал прежде, чем войти! Ведь это его дом, а он постучал!»

— Долли? — сказал он как-то неуверенно, словно спрашивая.

Она, всхлипывая, привлекла его к себе, затащила в комнату и, закрыв дверь, пристально поглядела ему в лицо. Да, это было его лицо, только в глазах у него что-то блуждало, то исчезало, то появлялось, то снова исчезало.

— Долли,— повторил он и сжал ее руку.

Она, всхлипнув, прижала его к себе.

— Я нездоров, Долли,— пробормотал он.

— Ну, конечно, мой милый, но скоро ты поправишься... ведь ты теперь дома, снова со мной. Не нужно грустить, милый, не нужно!

— Я нездоров,— снова сказал он.

Она отняла у него пакет и, вынув из стакана нарцисс, прикрепила к его пиджаку.

— А вот и весенний цветок для тебя, Макс, из твоего собственного маленького парника. Ты снова дома, мой милый. Тетушка наверху, а девочки скоро придут. И мы будем обедать.

— Я нездоров, Долли,— сказал он.

Напуганная этим навязчивым повторением одного и того же, она усадила его на кушетку и села к нему на колени.

— Ты дома, Макс, ну, поцелуй же меня. Муженек мой, наконец-то!

И она стала раскачивать его из стороны в сторону, прижимая к себе, боясь заглянуть ему в глаза и увидеть, как блуждает в них «что-то»,— то появляется, то исчезает, то появляется снова.

— Взгляни-ка, милый,— сказала она.— У меня для тебя пиво есть. Хочешь стаканчик пива?

Он пошевелил губами, будто причмокнув, но это был даже не звук, а лишь безжизненный призрак звука. И она испугалась еще больше,— так мало было жизни в этом движении и в этом звуке.

Он прижал ее к себе и вяло пробормотал:

— Да, все будет в порядке через день-два. Они отпустили меня... Я нездоров, Долли.

Он потрогал голову.

И прижимая его к себе, покачивая его из стороны в сторону, она настойчиво и нежно повторяла снова и снова, словно кошка, которая мурлычет над своим котенком:

— Все хорошо, мой милый... Все будет в порядке... будет в порядке! Во всем нужно видеть хорошую сторону... Муж мой!

БЕРЕСКЛЕТ

Он стоял, как вкопанный, знаменитый художник Скудамор, чьи пейзажи и натюрморты имели шумный успех уже столько лет, что он успел забыть те дни, когда, написанные не совсем еще в «скудаморовской манере», они висели на выставках где-то под потолком, на самых невыгодных местах. Он стоял на том самом месте, где так внезапно оставила его двоюродная сестра. Губы его между очаровательными усиками и очаровательной остроконечной бородкой кривились в обиженной усмешке; пристально и с изумлением смотрел он на ягоды бересклета, упавшие на мощеный дворик с ветки, которую она принесла ему показать. Почему она вскинула голову, как будто он ударил ее? Почему отвернулась так стремительно, что тускло-красные ягоды затрепетали, роняя дождевые капли, и четыре ягодки упали с ветки? А ведь он только и сказал:

— Прелесть! Надо бы пустить их в дело!

Она воскликнула: «Господи!» — и убежала. Нет, Алисия, право же, не в своем уме, просто не верится, что когда-то она была так обворожительна. Он нагнулся и подобрал с земли четыре ягоды — как красив этот тускло-красный оттенок!

Из-под надежной брони успеха и «скудаморовской манеры» вырвалось наружу непосредственное чувство, порыв эмоционального видения. Писать! Какой смысл? Как это выразишь? Он подошел к невысокой каменной

ограде, защищавшей дворик его старинного, великолепно реставрированного дома от ранних паводков реки Эрон, серебрившейся под бледными лучами зимнего солнца. Да, именно! Как писать Природу, ее прозрачные полутени, загадочные сочетания ее тонов, как уловить ее ежечасно меняющийся облик? Как писать коричневые хохолки камыша — вот там, в золотисто-сером свете, и этих белых неутомонных чаек, парящих в воздухе? Внезапное отвращение нахлынуло на него при мысли о собственной знаменитой «манере» — точно такое же отвращение прозвучало в голосе Алисии, когда она воскликнула: «Господи!» Красота? Что толку! Как ее выразишь? Не это ли подумала и она?

Он смотрел на четыре ягодки, рдевшие на сером камне ограды, и в памяти его медленно оживали воспоминания. Что это была за восхитительная девушка! Серо-зеленые глаза, сияющие из-под длинных ресниц; щеки, как лепестки розы; непослушные волосы, тонкие и темные — как сильно они с тех пор поседели! — всегда немножко растрепанные. Пленительное существо, такое горячее, увлекающееся! Он так хорошо помнит тот мартовский день, как будто это было лишь на прошлой неделе, они шли тогда со станции Эрондель по дороге в Берфем — день коротких ливней и солнечного света, когда природа готовилась к приходу настоящей весны! Ему было двадцать девять лет, ей — двадцать пять, оба были художники и оба безвестные. Как беззаботно они болтали! А когда руки их соприкасались, что за волнение пронизывало его и как заливались румянцем ее мокрые от дождя щеки! Потом понемногу они притихли. Это была чудесная прогулка, которая, казалось, должна кончиться еще чудеснее. Они прошли деревеньку, миновали меловой карьер, крутую лесенку и полевой тропинкой спустились к реке. Нежно, бесконечно нежно обвила его рука вокруг ее талии; он все еще молчал, он ждал того мгновения, когда сердце вырвется из его груди, воплотившись в слова, и ее сердце — он в этом не сомневался — рванется навстречу. Тропинка побежала через заросли терновника, где у полноводной, мягко журчавшей речушки распустились одинокие первоцветы. Упали последние капли дождя, а потом, прорвав обла-

ка, выглянуло солнце, и небо над рощицей засияло прозрачной лазурью, будто глазок вероники. Вдруг Алисия остановилась:

— Смотри, Дик! Смотри же! Это божественно!

На фоне синего неба и пламенеющей тучки сверкал белыми звездами цветов высокий куст терновника. Казалось, он поет — так он был красив; он словно вобрал в себя всю прелесть весны. И при виде ее восхищенного личика вся его сдержанность исчезла, рука плотнее обхватила ее, и он поцеловал ее в губы. До сих пор помнит он, какое у нее стало лицо — как у внезапно разбуженного ребенка. Она задохнулась, замерла, потом отшатнулась от него, задрожала, судорожно глотнула, вдруг разразилась слезами и, выскользнув из его объятий, убежала. Он остался на месте недоумевающий, больно задетый и совершенно сбитый с толку. Потом он немного пришел в себя и целых полчаса искал и звал ее, пока наконец не нашел. С каменным лицом она сидела в сырой траве. Он не произнес ни слова, а она сказала только: «Пойдем, мы опоздаем на поезд!» И весь тот день, да и на завтра тоже — до тех пор, пока они не расстались, его мучило чувство, что он сразу упал в ее глазах — упал с огромной высоты. Ему это не нравилось, он был не на шутку зол. Бессмысленное жеманство, и больше ничего — так думал он о ее поступке и по сей день. Неужели... неужели это было что-то другое?

Он посмотрел на четыре красные ягоды и, будто они заморозили его память, снова увидел Алисию — пять лет спустя. Он к тому времени успел жениться и завоевать признание. Однажды вместе с женой он поехал за город в гости к Алисии. Стояла летняя ночь, светлая и очень теплая. Пришлось долго упрашивать ее, пока она согласилась вынести в маленькую гостиную свою последнюю только что законченную работу. Как живо он ее видит, — вот она устанавливает картину так, чтобы на нее падал свет, высокая, худощавая, уже несколько угловатая, утратившая округлость линий, как это бывает иногда с женщиной, если она не вышла замуж до тридцати лет; на милом лице напряженное, нервное выражение, как будто ей трудно выдержать этот экзамен. Словно защищаясь от неизбежного и сурового при-

говора, она едва заметно втянула голову в плечи. Напрасный страх! Картина была прекрасна, просто удивительна. Ночной пейзаж. Он помнит, как ревниво ныло у него сердце, когда он рассматривал эту вещь — гораздо более сильную, чем все, что написал он сам.

Он сказал ей об этом чистосердечно. Ее глаза засияли радостью.

— Правда, нравится? Я так старалась!

— Ну, дорогая, в тот день, когда ты ее выставишь, тебя ждет слава, — сказал он.

Она стиснула руки и вздохнула.

— Ах, Дик!

И он почувствовал, что по-настоящему счастлив за нее. Вскоре они все трое, раздвинув шторы, вынесли свои стулья на темную веранду. Сначала они разговаривали, потом умолкли. Их окружала волшебная ночь, теплая и душистая, полная очарования, манящая. Высокие яркие звезды; цветы, едва видневшиеся на клумбах, и повисшие в глубокой, темной синеве, как будто неземные, розы удивительной красоты. Он вспомнил, как сладко пахла жимолость, как в узкой длинной полосе света, пробивавшейся меж штор, порхали бесчисленные мотыльки. Алисия сидела, подавшись всем телом вперед, упершись локтями в колени, обхватив руками голову. Быть может, они оттого и замолчали, что она сидела в такой позе. Один раз до него долетел ее шепот:

— Красота! О боже, какая красота!

Выпала роса, становилось сыро, и жена его ушла в комнаты. Пошел и он вслед за нею. Алисия будто ничего и не заметила. Но когда она тоже вернулась в дом, глаза ее блестели от слез. Сдавленным голосом она сказала что-то — кажется, что пора ложиться; они взяли свечи и поднялись к себе наверх.

Наутро он вошел в ее крохотную мастерскую, чтобы кое-что посоветовать ей насчет той картины. Какой ужас! Всю картину перечеркивали белые полосы; а перед полотном стояла Алисия и мазала, мазала кистью, широкими мазками, вдоль и поперек. Услышав, что кто-то вошел, она обернулась. Два багровых пятна горели у нее на щеках.

— Это было святотатство, — дрожащим голосом говорила она. — Вот и все!

И, повернувшись к нему спиной, она снова принялась замазывать картину белилами. Не сказав ни слова, он ушел — ему стало просто противно. Ни с того ни с сего уничтожить лучшую свою вещь — ведь такого ей уж никогда больше не написать! Он был так глубоко возмущен, что много лет избегал встречи с нею. Людей со странностями он всегда боялся пуще всего на свете. Уверенно шагнуть на лестницу, ведущую к успеху, и потом сознательно выбить ее у себя же из-под ног! Бездумно отшвырнуть такую прекрасную возможность заработать — ведь у нее только и есть за душой какие-то жалкие гроши! С ума сойти можно! Действительно, остается только постучать пальцем по лбу — иначе этого не объяснишь. По временам до него доходили кое-какие слухи о ней. Она жила все там же, в своем маленьком коттеджике, и целые дни — а иногда, как говорили, и ночи — пропадала в лесу или в полях, и все худела, и все меньше у нее было денег и больше странностей. Короче говоря, она становилась просто невыносимой — какими умеют быть одни англичанки. «Такая милая, — говорили о ней, — и такая обаятельная, но...» — и неизменно пожимали плечами, а это не слишком приятно, когда речь идет о твоей родственнице. Что она делает со своими работами, он, наученный горьким опытом, никогда не спрашивал. Бедная Алисия!

Ягоды сверкнули на сером камне, и перед ним возникло еще одно воспоминание. Он вспомнил событие, которое касалось всей семьи: дядюшка Мартин Скудамор приказал долго жить, и все поехали на похороны и на вскрытие завещания. В семье старика считали чем-то вроде паршивой овцы — он сколотил себе капитал в ничем не примечательном йоркширском городишке, который так и остался бы захолустным, если бы не дядюшкина фабрика. Все надеялись, что после смерти старика родственники его будут вознаграждены: он ведь умер холостяком — видно, времени не хватило жениться, слишком уж он был поглощен «делом». По молчаливому уговору племянники и племянницы остановились в Болтонском аббатстве, прелестном местечке в шести

милях от города. На похороны отправились в трех колясках. Алисия села вместе с ним и его братом, стряпчим. В черном, просто сшитом костюме она была очаровательна, и даже седые пряди в тонких темных, спутанных ветром волосах не портили ее. Все с тем же увлечением говорила она с ним о живописи и не спешила отвести взгляд от его лица, как будто все еще питала к нему маленькую слабость — словом, поездка была очень приятной. Они и не заметили, как оказались в пыльном городишке, лепившемся по берегу реки. Над городом, над фабричными строениями царственно высился на холме желтый каменный дом старого Мартина. Вдруг Скудамор почувствовал, как Алисия судорожно вцепилась в его руку под дорожным пледом — совсем как утопающий хватается за соломинку. Он мог бы поручиться, что она даже не отдает себе отчета в том, чья это рука. Мощенные булыжником улицы, грязная река, закоптелые, уродливые фабричные здания, уродливый дом, с желтыми стенами, рабочие, низкорослые, удручающе бесцветные, одетые в темное, — последняя почесть тому, кто создал все это. Новая церковь, серая, безобразная; унылая панихида, новенькие надгробные плиты и великолепный осенний день! Все здесь бесконечно убого и невыразимо уродливо!

Потом, в желтом особняке, чинно усевшись на полированных красного дерева стульях, они слушали завешание. Совсем недурно! Довольно крупное состояние безупречно пропорциональными частями распределялось между родственниками — и не одного пенни посторонним! Скудамор сидел, мечтательно устремив глаза на картину, маслянисто поблескивавшую на стене. «Боже! Ну и вещьца!» — думал он, изнывая от желания снова оказаться в коляске, закурить сигару, отделаться от запаха траурных костюмов и хереса. Хереса! Брр! Случайно взгляд его упал на Алисию. Глаза ее были закрыты, губы, по-прежнему такие же милые, смешно вздрагивали. И в этот самый миг нотариус прочел ее имя. Скудамор увидел, как широко открылись ее глаза и прелестным румянцем затеплились худые щеки — совсем как в былые дни! «Отлично! — подумал он. — Просто замечательно. Как я рад за нее! Теперь ей не придется во

всем себе отказывать. Отлично!» В полной мере разделил он чувство облегчения, написанное на ее удивленном и все еще прекрасном лице.

По дороге домой его не покидало радостное ощущение, и неизвестно, чему он больше радовался — своей ли доле наследства (а она оказалась весьма солидной), или тому, что ей тоже повезло. Он нашел ее руку под пледом и сжал ее, и она ответила долгим ласковым пожатием, ничуть не похожим на тот отчаянный жест по дороге на похороны. А вечером он пошел прогуляться туда, где над извилистой речкой стоял монастырь. Солнце садилось, и последние косые лучи его озаряли легкую дымку над багряным осенним лесом. Беломордые коровы паслись в сочной траве, журчала река, как бы сплошь покрытая сверкающей золотой чешуей. Повсюду разлито было волшебное очарование, которое так часто берет за сердце художников, золотистое задумчивое мерцание, как в заколдованном сне. Минуту-другую он стоял и смотрел на все это с восторгом, близким к отчаянию. Под легким ветром зашелестели кусты: «Какая красота, как ты прекрасен, мир!» И, шагнув вперед, он увидел, что она стоит на берегу реки, прислонившись к стволу березки, закинув голову назад и широко раскинув руки, как будто стремясь обнять этот прекрасный мир, с которым она только что говорила. Подойти сейчас к ней было бы все равно что нарушить уединение влюбленных. Он повернулся и пошел назад.

А через неделю брат сообщил ему, что Алисия отказалась от своей доли наследства. «Мне не нужны эти деньги, — написала она просто. — Я не могу их взять. Раздайте их бедным людям, которые живут в том страшном городе». Вот до чего дошла она со своими странностями! Дальше уж некуда! Братья решили поговорить с ней. Нельзя сидеть сложа руки, нужно постараться не допустить этого безумного пренебрежения к собственным интересам. Сильно похудевшая и по-прежнему очаровательная, Алисия встретила их очень смиренно, но упрямо стояла на своем: «Нет, я, право же, не могу! Я стала бы просто несчастной. Эти бедные, измученные люди — все это создали для него они! Этот ужасный город! Я не могу. Деньги постоянно напоминали бы мне о них. Пожалуйста, не будем об этом говорить.

Мне очень хорошо и так». Чтобы образумить ее, они рисовали ей зловещие картины: старость, нищета, рабочий дом... Все было напрасно: она не соглашалась взять деньги. Сорок лет ей было, когда она отвергла эту самым провидением посланную ей помощь, — сорок лет и никакой надежды на замужество. Скудамор так никогда и не узнал наверное, собиралась ли, надеялась ли она вообще выйти замуж; но у него была собственная теория: он считал, что причина всех ее странностей — неудовлетворенное половое чувство. Это последнее ее безрассудство показалось ему настолько чудовищным, что он стал просто жалеть ее и больше не избегал. Наоборот, он частенько заходил в ее одинокое жилье выпить чашку чая. На дядюшкино наследство Скудамор купил и реставрировал красивый старинный дом на реке Эрон и жил теперь в каких-нибудь пяти милях от Алисии. Заходила и она к нему нежданно-негаданно, после обычных своих скитаний — как бы случайно появлялась в доме с полевыми цветами или папоротником в руках и первым делом ставила их в воду. Ходила она всегда с непокрытой головой, и почти все в округе были убеждены, что она не в своем уме. В те дни художники только и говорили об Уоттсе, и редко когда свидание с Алисией обходилось без споров о знаменитом символизме. Сам Скудамор не признавал Уоттса, возмущался погрешностями в его рисунке, его грубыми аллегориями. Алисия же со свойственной ей необычайной горячностью неизменно утверждала, что он великий художник, потому что старается изобразить самую душу явлений. Особенно любила она картину, названную женским именем «Айрис», что значит «Радуга». В картине этой, странной и причудливой, действительно было некоторое сходство с нею самой.

— Да, конечно, он потерпел неудачу! — говорила она. — Он стремился к невозможному, стремился всю жизнь. Ах, терпеть не могу эти твои ярлыки, Дик! Какой в них смысл? Красота слишком огромна, слишком бездонна!

Бедняжка Алисия! По временам она, право, бывала утомительна.

Он и сам толком не знал, как это получилось, что осенью 1904 года она поехала вместе с ними за грани-

цу, в Дофине. Это было просто ужасно. Никогда в жизни он больше не возьмет с собой человека, который в лютый мороз отказывается идти домой. Местечко это было как будто создано для художников. Скудамор снял маленький «шато»¹ у подножия горы Гланда и поселился там с женой, старшей дочерью и Алисией. Он был весь поглощен работой, стараясь применить свою прославленную манеру к новым местам с их коричневыми, туманно-голубыми и серыми тонами, и любоваться этими холмами и долинами ему удавалось только урывками. С маленькой, усыпанной гравием площадки перед флигелем, приспособленной под мастерскую, открывался захватывающий вид на старинный город Ди с его черепичными крышами. В лучах утреннего солнца и на закате эти розовато-желтые плоские крыши искрились внизу, а рядом смутно голубела извилистая Дрома, и на покрытых виноградниками склонах чернели подстриженные кипарисы. Он писал, не переставая. Чем занималась Алисия, никто хорошенько не знал, но, возвращаясь домой, она восторженно рассказывала о том, что видела,— о людях, о животных, обо всем. В одном ее излюбленном местечке они побывали — это был полуразрушенный монастырь, высоко на горе Гланда. Они позавтракали в этом прелестном, уединенном уголке, где можно было еще различить и старые русла ручейков и пруды, где сохранились остатки древней часовни — правда, теперешний владелец все приспособил для хозяйства. И вдруг Алисия ушла, не дослушав их восхищенных похвал, и они нигде не могли найти ее, пока не вернулись домой. Можно было подумать, что их громкие восторги ей неприятны! Домой она принесла ветку с золотистыми ягодами — как они называются, никто не знал. Ягоды были почти так же восхитительны, как бересклет на каменной ограде.

И к нему пришло четвертое воспоминание.

Рождество. Трескучий мороз. Каждое деревцо вокруг маленького «шато» покрылось инеем и сверкало в свете звезд, как будто осыпанное вишневым цветом. Черное небо над побелевшей землей было усыпано бес-

¹ От франц. *château* — загородный дом.

численными звездами. Горный ветер резал, как бритва, а далеко внизу, в маленьком городе, слабо мерцали одинокие желтые огоньки. Сказочно прекрасная это была ночь — совершенно в «японской манере», но что за лютей холод! Больше пяти минут на террасе никто не высидел — никто, кроме Алисии. Это сумасбродное, загадочное создание ни за что не хотело идти в дом. Дважды выходил он к ней то с шалью, то с пледом, упрашивал, настаивал. В третий раз он ее не нашел. Избегая новых пререканий, она нарочно ушла куда-то, чтобы продолжать свое безумное бдение под застывшими звездами. А придя наконец домой, она шаталась, как пьяная. Они попытались заставить ее и в самом деле выпить коньяку, чтобы согреться. Куда там! Через два дня она слегла с двухсторонним воспалением легких. Два месяца прошло, прежде чем она встала с постели, — бледная тень прежней Алисии. С тех пор здоровье ее так и не окрепло. Она скользила по жизни, точно призрак, безумный призрак, исчезая бог весть куда и возвращаясь с румянцем, полыхавшим на увядших щеках, с развевавшимися седыми волосами, с очередным трофеем в руках — цветком, листиком, пичужкой или крохотным мягким крольчонком. Она никогда теперь не писала, никогда даже не заговаривала о живописи. Скудаморы заставили ее переехать из коттеджа к ним: они попросту боялись, что она уморит себя голодом, она ведь так часто забывала обо всем на свете! А эти ягоды? Чтобы достать их, она, чего доброго, ходила утром к меловому карьеру, спрятанному от ветра среди холмов и открытому горячим лучам солнца. Семь миль туда и обратно, когда трудно поверить, что она может пройти семьсот ярдов. И очень может быть, она еще и лежала там на росистой траве, глядя в небо, — он не раз заставлял ее так. Бедная Алисия! Подумать только, что когда-то он готов был жениться на ней! Загубленная жизнь! И погубила ее любовь к красоте. Но кто бы мог подумать, что непостижимое может так погубить женщину, лишит ее любви, семьи, материнства, славы, богатства, здоровья! А между тем, видит бог, именно так и случилось!

Скудамор щелчком сбил четыре румяных ягодки с ограды. Солнечное сияние; струящиеся молочно-голубые

воды; лебедь на фоне коричневых хохлатых камышей; далекие меловые холмы в туманной дымке — вот она, красота! Красота! Да, но, черт возьми, нужно же знать меру! Меру! И, повернувшись спиной к этому пейзажу, столько раз написанному им в знаменитой его «манере», он вошел в дом и по великолепно реставрированной лестнице поднялся к себе в мастерскую — трехсветную, с огромными окнами и всякими усовершенствованиями, позволявшими регулировать освещение. Неоконченные этюды растворялись на фоне стен, окрашенных в такие мягкие тона, что они казались сотканными из воздуха. Готовых картин не было — их слишком быстро раскупали. Он подошел к мольберту, и тут в глаза ему бросилось цветное пятно — ветка бересклета в кувшине с водой. Готово — можно писать. Она и поставлена так, что прямо на нее падают лучи неяркого солнца, и светятся нежные краски, и сверкают на ягодах одинокие капельки невысохшей влаги. На мгновение он отчетливо представил себе, как выглядела сама Алисия, когда принесла сюда эту ветку: легкие, прозрачные руки, сияющие глаза, спутанные седые волосы. Видение исчезло. Но почему она все-таки принесла ветку сюда после этого «Господи!», вырвавшегося с таким ужасом, когда он сказал, что ягоды неплохо бы пустить в дело? Быть может, она хочет этим сказать: «Прости, что я была так груба»? Право же, она просто трогательна, эта бедная фанатичка! Ягоды бересклета рдели в серебряном блестящем кувшине, четко вырисовываясь в солнечных лучах. Казалось, они торжествуют — что ж, кому же еще ликовать, как не им, олицетворению того, что погубило — или спасло, быть может? — человеческую жизнь. Алисия! До чего она довела себя! И все-таки ему не дано знать, какие тайные восторги пришлось ей изведать с ее бесплотным возлюбленным — Красотой — при свете звезд, в блеске солнечных лучей, в лунном сиянии, в полях и лесах, на вершинах холмов, на речных берегах. Цветы, птицы в полете, лепет ветра, изменчивая игра света и красок — все, что приводит в отчаяние человека, решившего извлечь из них пользу, она брала и обнимала бездумно, бесцельно и была счастлива. Кто осмелится сказать, что лучшее в жизни досталось не ей? Кто?.. Бересклет! Какая-то веточка с несколькими ягодами — и сколько сом-

нений она разбудила в нем! Да что же такое красота, если не сочетание определенных форм и цветов, придающее вещам дополнительную ценность — повышенную ценность на людском рынке! Ничего больше, решительно ничего!

А ягоды бересклета все рдели в солнечном свете, нежные, недостижимые!

Взяв палитру, он смешал на ней темно-красный крапак, белила, ультрамарин. Но что это? Кто вздохнул у него за спиной? Нет, никого не видно!

«А, черт побери! — подумал он. — Это же несерьезно. Я не лучше Алисии, в самом деле». И он принялся писать в своей знаменитой манере веточку бересклета.

«СОБАКА ОКОЛЕЛА»

До окончания «Великой войны» я не предполагал, что некоторые из оставшихся в тылу также принесли огромную жертву.

Мой друг Харбэрн, ныне покойный, был родом из Нортамберланда или еще откуда-то с севера; это был коренастый седеющий человек лет пятидесяти, с коротко стриженной головой, небольшими усами и багровым лицом. Мы с ним жили по соседству за городом, и оба держали собак одной породы — эрделей, не меньше чем по три сразу, так что мы могли случать их и этим были полезны друг другу. Мы часто ездили в город одним поездом. Его пост давал ему возможность выдвинуться, но до войны он мало этим пользовался, погруженный в откровенное безразличие, почти переходившее в цинизм. Я считал его типичным грубовато-добродушным англичанином, который гордится своим цинизмом и привержен к спорту — он увлекался гольфом и ходил на охоту, как только представится возможность; он казался мне хорошим товарищем, всегда готовым помочь в беде. Был он холост и жил в домике с верандой недалеко от меня, а рядом с ним стоял дом немецкой семьи по фамилии Гольштейг, прожившей в Англии около двадцати лет. Я довольно хорошо знал эту дружную троицу — отца, мать и сына. Отец, уроженец Ганновера, чем-то занимался в городе, мать была шотландка, а сын — его я знал и любил больше остальных — только что окончил школу. У него было открытое лицо, голубые глаза и густая светлая шевелюра, зачесанная назад без пробора, — симпа-

тичный юноша, несколько похожий на норвежца. Его мать обожала его; это была настоящая горянка из Западной Шотландии, скуластая брюнетка, уже начавшая сесть, улыбалась она мило, но насмешливо, а ее серые глаза были, как у ясновидящей. Я несколько раз встречал Харбэрна в их доме, потому что он навещался туда по вечерам поиграть с Гольштейгом в бильярд, и все семейство относилось к нему по-дружески. На третье утро после того, как мы объявили Германии войну, Харбэрн, Гольштейг и я ехали в город в одном вагоне. Мы с Харбэрном непринужденно беседовали. Но Гольштейг, плотный блондин лет пятидесяти, с острой бородкой и голубыми, как у сына, глазами, сидел, уткнувшись в газету, пока Харбэрн вдруг не спросил его:

— Послушайте, Гольштейг, а правда, будто ваш мальчик хотел уехать и вступить в немецкую армию?

Гольштейг оторвался от газеты.

— Да,— ответил он.— Он родился в Германии и поэтому подлежит призыву. Слава богу, что ему невозможно уехать!

— А как же мать? — спросил Харбэрн.— Неужели она отпустила бы его?

— Она очень убивалась бы, конечно, но она считает, что долг прежде всего.

— Долг! Да господь с вами, что вы такое говорите! Он ведь наполовину британец и прожил здесь всю жизнь! Отродясь ничего подобного не слыхал!

Гольштейг пожал плечами.

— В такие критические времена остается одно: строго следовать закону. Он германский подданный призывного возраста. Мы думали о его чести; но, конечно, мы очень рады, что теперь ему никак не попасть в Германию.

— Черт меня дери! — воскликнул Харбэрн.— Вы, немцы, исполнительны до тупости!

Гольштейг не ответил.

В тот же вечер мы возвращались из города вместе с Харбэрном, и он сказал мне:

— Немец всегда немец. Ну, не удивил ли вас утром этот Гольштейг? Столько лет здесь прожил, женился здесь, а остался немцем до мозга костей.

— Что ж,— отозвался я,— поставьте себя на его место.

— Не могу; я бы ни за что не стал жить в Германии. Послушайте, Камбермир,— добавил он, помолчав,— а этот самый Гольштейг не опасен?

— Конечно, нет!

Этого мне не следовало говорить Харбэрну, если я хотел восстановить его доверие к Гольштейгам, потому что не сомневался в их порядочности. Скажи я: «Конечно, он шпион» — и Харбэрн сразу встал бы на защиту Гольштейга, потому что в нем от природы заложен был дух противоречия.

Я привожу этот краткий разговор единственно из желания показать, как давно Харбэрн думал о том, что впоследствии так занимало и вдохновляло его, пока он.— как бы это лучше выразиться — не умер за отечество.

Я не уверен, какая именно газета первая подняла вопрос о необходимости интернировать всех «гуннов», но, по-моему, он был поднят скорее потому, что многие из наших печатных органов каким-то нюхом чувствуют, что больше понравится публике, а никак не из глубоких идейных соображений. Во всяком случае, я помню, как один редактор рассказывал мне, что он целое утро читал одобрительные письма читателей. «В первый раз,— сказал он,— читатели так быстро откликнулись на нашу кампанию. Почему паршивый немец должен перехватывать мою клиентуру?» И прочее в том же духе. «Британия для британцев!»

— Не очень-то повезло людям, которые так нам польстили, когда сочли, что в нашей стране можно лучше жить, чем в других,— заметил я.

— Да, не очень,— согласился он.— Но на войне, как на войне. Вы ведь знаете Харбэрна? Видели его статью? Крепко загнул!

При следующей встрече Харбэрн сразу сел на своего конька.

— Помяните мое слово,— заявил он,— я ни одному немцу не дам здесь остаться!

Его серые глаза, казалось, были из стали и кремня, и я почувствовал, что говорю с человеком, который так много размышлял о немецких зверствах в Бельгии,

что теперь стал одержим какой-то отвлеченной ненавистью.

— Конечно,— сказал я,— среди них оказалось много шпионов, но...

— Все они шпионы и негодяи! — закричал он.

— А многих ли немцев вы знаете лично? — спросил я.

— Слава богу, и десятка не наберется.

— И они все шпионы и негодяи?

Он посмотрел на меня и рассмеялся, но смех его походил на рычание.

— Вы стоите за справедливость и прочее слюнтяйство,— сказал он,— а их надо брать за глотку, иначе нельзя.

У меня на языке вертелся вопрос, собирается ли он брать за глотку Гольштейгов, но я промолчал из боязни навредить им. Я сам разделял тогдашнюю общую ненависть к немцам и должен был ее обуздывать из боязни лишиться элементарного чувства справедливости. Но Харбэрн, как я видел, дал ей полную волю. Он и держался иначе и вообще стал словно другим человеком. Он утратил приветливость и добродушный цинизм, которые делали его общество приятным; он точно был чем-то снедаем — одним словом, его одолела навязчивая идея.

Я как карикатурист не могу не интересоваться психологией, и я задумался о Харбэрне: по-моему, невозможно было не удивляться тому, что человек, которого я всегда считал воплощением добродушия и невозмутимости, вдруг оказался таким одержимым. Я придумал о нем такую теорию. «Это,— сказал я себе,— один из «железнобоких»¹ Кромвеля, опоздавший родиться. В ленивое мирное время он не находил отдушину для той грозной силы, что в нем таилась,— любовь не могла бы зажечь его, поэтому он и казался таким безразличным ко всему. И вдруг в эту бурную пору он ощутил себя новым человеком, он был препоясан и вооружен ненавистью — ранее неведомым ему чувством, жгучим и возвышенным, ибо теперь ему есть на что обрушиться ото всей души.

¹ Солдаты-пуритане, ядро республиканской армии во время английской буржуазной революции.

Право же, это крайне интересно. Кто бы мог подумать о таком превращении? Ведь внешне тот Харбэрн, которого я знал до сих пор, ничем не был похож на «железнобокого». Его лицо послужило мне для карикатуры, где был изображен человек-флюгер, неизменно указывающий на восток, откуда бы ни дул ветер. Он узнал себя и при встрече со мной засмеялся — без сомнения, он был несколько польщен, но его смех звучал свирепо, как будто он ощущал во рту солоноватый привкус крови.

— Шутите на здоровье, Камбермир, — заявил он, — но теперь-то я вцепился в этих свиней мертвой хваткой!

И, несомненно, он сказал правду — этот человек стал серьезной силой: несчастных немцев — некоторые из них, конечно, были шпионами, но большинство, несомненно, были ни в чем не повинны — каждый день отрывали от работы и семей и бросали в концлагеря — и чем больше их бросали туда, тем больше повышались его акции слуги отечества. Я уверен, что он это делал не ради славы — это было для него крестовым походом, «священным долгом»; но, по-моему, он к тому же впервые в жизни почувствовал, что живет по-настоящему и получает от жизни ее лучшие дары. Разве он не разил врага направо и налево? По-моему, он мечтал сражаться по-настоящему, на фронте, но не позволяли годы, а он не принадлежал к тем чувствительным натурам, которые не могут губить беззащитных, если рядом нет никого посильнее. Помню, я как-то спросил его:

— Харбэрн, а вы когда-нибудь думаете о женах и детях ваших жертв?

Он оскалился, и я увидел, какие у него прекрасные зубы.

— Женщины еще хуже мужчин, уверяю вас, — ответил он. — Будь моя власть, я бы их тоже упек. А что до детей, то без таких отцов им только лучше.

Он, право же, слегка помешался на этой почве, не больше, конечно, чем любой другой человек с навязчивой идеей, но и никак не меньше.

В те дни я все время ездил с места на место и покинул свой загородный коттедж, так что не видел

Гольштейгов и, признаться, почти забыл о том, что они существуют. Но, вернувшись в конце 1917 года домой после отлучки по делам Красного Креста, я нашел среди своей корреспонденции письмо от миссис Гольштейг.

«Дорогой мистер Камбермир!

Вы всегда по-дружески относились к нам, поэтому я и осмелилась Вам написать. Вероятно, Вы знаете, что больше года назад моего мужа интернировали, а в прошлом сентябре он был выслан. Он, конечно, все потерял, но пока что здоров и может жить в Германии без особой нужды. Мы с Гарольдом остались здесь и еле перебиваемся на мои маленькие доходы. Мы теперь считаемся «гуннами в нашем тылу» и фактически ни с кем не видимся. Какая жалость, что нельзя заглянуть друг другу в сердце, не правда ли? Я раньше думала, что мы народ, высоко ставящий справедливость, но теперь поняла горькую правду: в трудное время справедливость невозможна. Гарольду гораздо хуже, чем мне; он очень сильно переживает свое вынужденное бездействие и, наверное, предпочел бы «выполнять свой долг» в концлагере, чем оставаться на свободе, испытывая всеобщее недоверие и презрение. Но я все время в ужасе: а вдруг и его интернируют? Когда-то вы были в дружеских отношениях с мистером Харбэрном. Мы его не видели с первой военной весны, но знаем, что он принимал активное участие в антигерманской агитации и стал очень влиятельным человеком. Я не раз думала, в состоянии ли он понять, что значит это интернирование без разбора для семей интернированных. Не могли бы вы при случае поговорить с ним и объяснить ему это? Если бы он и немногие другие перестали давить на правительство, преследования прекратились бы, так как власти не могут не знать, что все действительно опасные элементы давно изолированы. Вы и представить себе не можете, до чего мне теперь одиноко у себя в родной стране; если я потеряю и Гарольда, то могу совсем пасть духом, хотя это мне и несвойственно.

Остаюсь, дорогой мистер Камбермир,

искренне Вас уважающая

Элен Гольштейг».

Прочитав письмо, я был охвачен состраданием: не требовалось большого воображения, чтобы представить себе, каково приходится этой одинокой матери-англичанке и ее сыну; я тщательно обдумал, уместно ли говорить об этом с Харбэрном, и стал припоминать пословицы: «Слово — серебро, молчание — золото», «Бери быка за рога», «Семь раз отмерь, один отрежь», «Куй железо, пока горячо», «Поспешешь — людей насмешишь», «Промедление смерти подобно». Они были настолько противоречивы, что я обратился за помощью к здравому смыслу, который подсказал мне выждать. Но через несколько дней я встретил Харбэрна в клубе и, найдя его в хорошем расположении духа, поддался внутреннему порыву.

— Кстати,— сказал я,— вы помните Гольштейгов? Я на днях получил письмо от бедной миссис Гольштейг: она просто в ужасе, что ее сына, такого милого юношу, могут интернировать. Как, по-вашему, не пора ли оставить в покое этих несчастных?

Как только я упомянул фамилию «Гольштейг», я сразу же увидел, что допустил ошибку, и продолжал говорить только потому, что остановиться было бы еще хуже. Харбэрн сразу весь ошетинился и сказал:

— Гольштейг! Этот щенок, который собирался при первой возможности вступить в германскую армию? Черт подери, неужели он еще не сидит? Путное же у нас правительство, нечего сказать! Ну да ладно, я его попомню.

— Харбэрн,— проговорил я, запинаясь,— ведь это частный разговор. Юноша по крови наполовину англичанин, и он мой друг. Я думал, что он и ваш друг тоже.

— Мой? — переспросил он.— Нет уж, спасибо. Я с полукровками не знаюсь. А что касается частных разговоров, Камбермир, то во время войны не может быть никаких частных разговоров о том, от чего зависит безопасность государства.

— Господи! — воскликнул я.— Да вы и вправду помещались на этом. Чтобы этот мальчик, с его воспитанием...

Он ухмыльнулся.



«ВО ВСЕМ НУЖНО ВИДЕТЬ ХОРОШУЮ СТОРОНУ»



«БЕРЕСКЛЕТ»

— Рисковать мы не хотим,— отрезал он,— и исключений не делаем. У него не будет другого выбора. Британская армия или концентрационный лагерь. Я уж об этом позабочусь.

— В таком случае,— сказал я, вставая,— нашей дружбе конец. Я не потерплю такого злоупотребления моим доверием!

— Ах, шут вас побери,— пробурчал он.— Сядьте! Все мы должны исполнять свой долг.

— Вы когда-то в разговоре с Гольштейгом называли это немецким чудачеством.

Он засмеялся.

— Ах, да,— сказал он.— Помню, помню, тогда в поезде. Ну, да я с тех пор переменялся. А щенка следовало бы посадить вместе с прочими псами. Но, впрочем, забудем об этом.

Тем дело и кончилось, потому что он сказал: «Забудем об этом»,— а слово свое он держал. Мне же была наука: не соваться впредь к людям, столь непохожим на меня характером. Я написал Гольштейгу-младшему и пригласил его к себе пообедать. Он поблагодарил и отказался, так как не имел права уезжать от своего дома дальше пяти миль. Искренне беспокоясь о нем, я приехал к ним на мотоцикле. Юноша очень переменялся: он стал задумчив, ушел в себя, мало-помалу озлобился. Он готовился идти по стопам отца, но теперь из-за своей национальности не мог уехать из дому, и ему оставалось только выращивать овощи на огороде да читать поэтов и философов, а это не могло развеять его горьких дум. Миссис Гольштейг, чьи нервы явно напряглись до предела, была преисполнена горечи и совсем потеряла способность смотреть на войну беспристрастно. Все неприглядные человеческие качества, все жестокие люди, которых поток великой борьбы неизбежно выносит на поверхность, казались ей теперь типичными для национального характера ее соотечественников, и она не делала скидки ни на то, что не ее соотечественники начали эту борьбу, ни на то, что такие же неприглядные качества и жестокие люди явно оказались на поверхности и в других странах, участвовавших в войне. Уверенная в честности мужа, она воспринимала его интернирование и высылку не только как вопиющую несправед-

ливость, но и как личное оскорбление. Высокая, худая, со скуластым лицом, она словно пылала каким-то внутренним огнем. Эта женщина вряд ли хорошо влияла на юношу, который остался с ней в пустом доме, покинутом даже слугами. Я провел там тяжелый день, пытаюсь убедить себя, что все не так уж плохо, и вернулся в город с горьким чувством, очень жалея их.

Вскоре я опять уехал по делам Красного Креста и вернулся в Англию только в августе 1918 года. Я был нездоров и поехал к себе в загородный коттедж, где теперь снова мог жить.

В то время свирепствовала испанка, и я заболел ею в легкой форме. Когда я начал выздоравливать, первым навестил меня Харбэрн, проводивший за городом летний отпуск. Он не пробыл у меня и пяти минут, как сел на своего конька. Должно быть, нервы мои были не в порядке после болезни, потому что я не могу выразить, с каким отвращением я тогда его слушал. Он казался мне псом, который, урча, грызет заплесневелую кость и испытывает при этом какую-то ярость. Он держался победителем, что было неприятно, хотя и не удивительно, потому что он стал влиятельнее, чем когда-либо прежде.

«Боже, храни меня от навязчивых идей!» — подумал я, когда он ушел. В тот же вечер я спросил мою экономку, не видала ли она в последнее время мистера Гольштейга-младшего.

— Что вы! — ответила она. — Его вот уж пять месяцев, как посадили. Миссис Гольштейг ездит к нему на свидание раз в неделю. Пекарь говорит, что она совсем повредилась в рассудке, все бранит правительство за то, что так поступили с ее сыном.

Признаться, у меня не хватило духу пойти повидать ее.

Примерно через месяц после подписания перемирия я опять поехал за город. Харбэрн ехал в одном поезде со мной и подвез меня до дому со станции. К нему отчасти вернулось его бывшее добродушие, и он пригласил меня к себе ужинать на другой день. Это была наша первая встреча после победы. Мы великолепно поели и выпили отличного старого портвейна из его погреба за Грядущее. Только когда мы уселись с бокалами в приятном

полумраке у камина, где пылали дрова, и два эрделя улеглись у наших ног, он заговорил на свою любимую тему.

— Что бы вы думали? — спросил он, резким движением наклоняясь к огню. — Кое-кто из этих паршивых слюнтяев хочет выпустить наших гуннов. Но тут уж я постарался! Никто из них не выйдет на свободу, если не уберется отсюда в свою драгоценную Германию.

И я увидел в его глазах знакомый блеск.

— Харбэрн, — сказал я, движимый neodолимым порывом, — вам бы полечиться.

Он уставился на меня, ничего не понимая.

— «Это путь к безумию»¹, — продолжал я. — Ненависть — чертовски коварная болезнь, душа ее долго не выдерживает. Вам бы надо ее очистить.

Он расхохотался.

— Ненависть! Да она и дает мне силу. Чем больше я ненавижу этих гадин, тем лучше я себя чувствую. Выпьем за гибель всех проклятых гуннов.

Я пристально посмотрел на него.

— Я часто думаю, — сказал я, — что не было бы на свете людей, несчастнее «железнобоких» Кромвеля, или революционеров во Франции, если б они достигли цели.

— А я тут при чем? — в изумлении спросил он

— Они тоже губили людей из ненависти и уничтожали врагов. А когда «кончен труд»² человека...

— Вы бредите, — оборвал он меня.

— Отнюдь нет! — возразил я; меня задело его замечание. — Вы странный случай, Харбэрн. Почти все наши германофобы-профессионалы или извлекают из этого выгоду, или это просто слабые люди, которые поддались чужому влиянию; они быстро забудут свою ненависть, когда она перестанет быть источником дохода или боевым кличем для попугаев. А вы этого не можете. Для вас это мания, религия. Когда прибой схлынет и оставит вас на мели...

Он стукнул кулаком по ручке кресла, опрокинул свой бокал и разбудил собаку, спавшую у его ног.

¹ Цитата из «Короля Лира».

² Цитата из «Отелло».

— Я не дам ему схлынуть! — воскликнул он. — Я буду продолжать — помяните мое слово!

— Вспомните Канута! ¹ — пробормотал я. — Кстати, можно мне еще портвейна?

Я встал, чтобы налить себе вина, и вдруг к изумлению своему увидел, что в стеклянной двери, выходящей на веранду, стоит женщина. Она, без сомнения, только что вошла, так как еще держалась за портьеру. Это была миссис Гольштейг; седины, развевавшиеся вокруг ее головы, и серое платье придавали ей странное и почти призрачное обличье. Харбэрн не видел ее, и я быстро подошел к ней, надеясь так же бесшумно вывести ее в сад и там с ней поговорить; но она подняла руку, как бы отталкивая меня, и сказала:

— Простите, что помешала вам; я пришла кое-что сказать этому человеку.

Харбэрн вскочил и быстро обернулся на ее голос.

— Да, — совсем тихо повторила она, — я пришла кое-что сказать тебе; я пришла проклясть тебя. Многие проклинали тебя втихомолку, а я сделаю это в глаза. Сейчас мой сын находится между жизнью и смертью в тюрьме — в твоей тюрьме. Выживет ли он, умрет ли, все равно я проклинаяю тебя за все, что ты причинил бедным женам и матерям — английским женам и матерям. Будь проклят навеки! Прощай!

Она отпустила портьеру и исчезла прежде, чем Харбэрн успел добежать до двери. Она исчезла так быстро и бесшумно, а говорила так тихо, что мы с Харбэрном стояли и протирали глаза.

— Это было довольно-таки театрально! — проговорил он наконец.

— Но вполне реально, — медленно ответил я. — Вас прокляла настоящая шотландка. Посмотрите-ка на собак! Эрдели застыли на месте, ошетилившись.

Внезапно Харбэрн расхохотался, и его резкий смех наполнил всю комнату.

— Черт побери! — сказал он. — А дело-то, пожалуй, подсудное.

Но я не мог с ним согласиться и отрезал:

¹ По преданию, король Англии и Дании Канут, ослепленный властью, приказал морю отхлынуть в час прилива.

— Если так, то все мы кандидаты на скамью подсудимых.

Он опять засмеялся, на этот раз натянуто, захлопнул и запер дверь на веранду и снова уселся в кресло.

— У нее, наверно, испанка,— сказал он.— За какого же идиота она меня считает, если явилась сюда и устроила такой балаган!

Но вечер был испорчен, и я простился почти сразу же. Я вышел в холодную, ветреную декабрьскую ночь, глубоко задумавшись. Харбэрн легко отнесся к посещению миссис Гольштейг, и хотя никому не доставило бы удовольствия слушать, как его проклинали в присутствии знакомого, я чувствовал, что он был достаточно толстокожим, чтобы спокойно перенести это. Кроме того, трюк был грубый и дешевый. Кто угодно может войти в дом к соседу и проклясть его — хуже от этого не будет. И все-таки она сказала правду: сотни женщин, ее соотечественниц, должно быть втихомолку, проклинали его, главного виновника их горя. Что ж, он сам проклинал «гуннов» и пожелал их разорения, и я чувствовал, что у него хватит смелости вынести ответный удар. «Нет,— подумал я,— она только раздула пламя его ненависти. Но боже мой! В том-то и дело! Ее проклятие только подкрепило мое предсказание. Он неизбежно погибнет от безумия, которое она усилила и углубила». И, как ни странно, я пожалел его, как жалеют собаку, которая взбесится, натворит, сколько может, бед и сдохнет. В ту ночь я долго не мог уснуть, размышляя о нем и о несчастной, почти обезумевшей женщине, чей сын был между жизнью и смертью.

На другой день я зашел к ней, но она уехала в Лондон, очевидно, навестить сына в его заточении. Через несколько дней, однако, она мне написала, благодаря меня за визит и сообщая, что сын ее вне опасности. Но она не обмолвилась ни словом о том вечернем посещении. Может быть, ей было стыдно. А может, в тот вечер она была вне себя и теперь ничего не помнила.

Вскоре после этого я поехал в Бельгию иллюстрировать книгу о восстановлении страны и напал на такие сюжеты, что вернулся только к концу лета 1919 года.

Как-то, зайдя в свой клуб, я увидел в курительной комнате Харбэрна. Проклятие, по-видимому, мало ему повредило, потому что он казался воплощением здоровья.

— Ну, как поживаете? — спросил я. — Выглядите вы превосходно.

— Я здоров, как никогда, — ответил он.

— А помните нашу последнюю встречу?

Он что-то буркнул и замолчал.

— Этот молодой человек выздоровел, — сказал я. — Вы не знаете, что потом стало с ним и его матерью?

— Этот нахал решил поиздеваться надо мной! Я только что получил от него вот это, — и он протянул мне письмо с ганноверским штемпелем.

«Дорогой мистер Харбэрн!

Только вчера, повидав мать, я узнал от нее о том, как она приходила к Вам однажды вечером в прошлом декабре. Я хочу извиниться за ее приход, потому что ее состояние было вызвано моей болезнью. Я глубоко признателен Вам: Вы явились, хотя бы косвенно, причиной того, что я приобрел самый ценный опыт в моей жизни. В лагере, где было столько горестей, где души испытывали такие мучения, о каких, я уверен, Вы и понятия не имеете, где несчастные, скученные, замкнутые в себе люди год за годом испытывали такие бесконечные и безнадежные душевные терзания, — там я научился забывать о себе и оказывать им ту небольшую помощь, какая была в моих силах. Я узнал — и надеюсь никогда этого не забыть, — что любовь к ближнему есть то единственное, что стоит между человеком и смертью; а до того, как попасть в лагерь, я думал совсем иначе. Благодарю Вас от всего сердца и остаюсь

искренне преданный Вам
Гарольд Гольштейн».

Я положил письмо и сказал:

— Никакого издевательства нет. Письмо написано всерьез.

— Вздор! — воскликнул Харбэрн, и в его глазах мелькнул прежний огонек. — Конечно, он измывается, свиненок, гунново отродье.

— Да нет же, Харбэрн, уверяю вас.

Харбэрн вскочил:

— Да, да, вам говорят, да! Ух, мерзавцы! Ну, ничего, я с ними еще разделаюсь.

Он щелкнул зубами, и глаза его уставились куда-то в пустоту. Я поспешно перевел разговор на другую тему и вскоре откланялся. Но, спускаясь с крыльца, я вспомнил старинный стишок и с тех пор никогда не забываю его:

Укушенный остался жив —
Собака околела¹.

¹ Строки из сатирической «Элегии на смерть бешеной собаки» Оливера Голдсмита.

МИТИНГ СТОРОННИКОВ МИРА

Направляясь на митинг в защиту мира, Колин Уилдертон, шедший с запада, повстречался в дороге с Джоном Радстоком, который держал путь туда же с севера, и дальше они пошли вместе. После того, как они обменялись мнениями по поводу сообщений из России и денежной инфляции, Радсток вдруг сказал отрывисто:

— Пожалуй, сегодня будет не совсем обычное собрание.

— Бог его знает, — отозвался Уилдертон.

И оба улыбнулись, чувствуя, что им немного не по себе, но полные решимости не показывать этого ни при каких обстоятельствах. Улыбки у них получились разные, потому что Радсток был мужчина сильный, плотного сложения, чернобровый и чернобородый, а Уилдертон — болезненный, тщедушный, седой, с добрыми глазами. Уилдертон долгое время стоял за войну и только недавно переменял мнение. Как и все люди с горячим сердцем, он был потрясен насильственным захватом Бельгии. Ужасы германского нашествия на эту маленькую страну и на Францию, столь близкую ему по духу, вызвали в его душе величайшее негодование, которое он откровенно проявлял всеми возможными способами. Простое физическое уничтожение — слишком слабое наказание для зверей, способных совершить столь тяжкие преступления против человечности и справедливости! Так считал он первые месяцы войны, то же чувствовал и сейчас, на ее третьем году, ожидая окончательной победы над пагубной силой зла, попирающей завоеван-

ные с таким трудом нормы человечности. Уилдертон и сам не мог бы сказать, когда его чувства начали не то чтобы меняться — нет, но просто избрали другой путь. Постепенно его, человека благородных порывов, поклонника искусства и обладателя не очень крепких нервов, слишком ненадежно защищенных дарованной небесами броней уверенности в собственной правоте, которая одна только и помогает человеку понять, что нужно людям, начала преследовать мысль, что, ратуя за войну, он отдает не свою жизнь, а жизнь своих и чужих сыновей. И вера в то, что он отдает их жизни ради их же будущего, поколебалась. Временами он бывал еще способен понять, что война, за которую он так долго стоял, до сих пор не принесла достаточно мощного поражения прусской военной машине, чтобы обеспечить это самое будущее. И в душе его росли боль и жалость к молодым подрубленным под корень жизням, которым никогда уж не расцвести, так что в конце концов он стал рассуждать, как азартный игрок. «Какой смысл, — думал он, — защищать будущее молодежи, когда в Европе скоро вообще не останется молодежи? Все страны терпят теперь ужасающие бедствия, и на долю виновника выпали, благодарение богу, далеко не самые легкие испытания! Предположим, война продлится еще год, два, три, а потом прекратится по причине полного истощения обеих сторон, а до тех пор молодых будут убивать и калечить во имя того, что, вероятно, с таким же успехом может быть достигнуто и сегодня. Так что же? Правда, правительство обещает победу, но обещает ее не раньше чем через год. Правительства-то не умирают. Что, если они так и будут давать обещания добиться победы через год, пока всех не перебьют? Есть ли в истории хоть один пример, когда победа в настоящем гарантировала бы людям будущее? И притом, если даже проклятому прусскому режиму и не было нанесено то явное поражение, о котором все мечтают, все-таки он получил достаточно сильный удар, после которого ему уж не удастся повторить то, что он натворил в прошлом».

Однако это были уже побочные соображения, которыми Уилдертон пытался завуалировать то обстоятельство, что нервы его не в силах больше переносить зрелища бойни, где погибает ни в чем не повинная мо-

лодежь. Так постепенно Уилдертон превратился в «предателя родины, близорукого сторонника мирных переговоров». Уилдертон всякий раз криво усмехался, встречая это выражение в газетах, потому что зрение у него было и в самом деле неважное.

А Джон Радсток, человек, обладающий незаурядной физической силой, с самого начала выступал против войны из принципа. И вовсе не потому, что прусский режим нравился ему сколько-нибудь больше, чем Уилдертону,— нет, просто в силу своего воинственного характера он ратовал против всего того, за что высказывалось большинство. И чем значительнее было большинство, тем с большим жаром он выступал против него. Сам он был бы по меньшей мере удивлен, услышав, что именно в этом и заключается его принцип. Радсток предпочитал выражать свои взгляды формулой, что, действуя силой против силы, ничего не добьешься. В мирное время он считался «стойким», а в военное — «ренегатом».

На улице, ведущей к церкви, где должен был состояться митинг, царило как будто полное спокойствие. Стремясь склонить в свою пользу общественное мнение, организаторы, однако, приняли все меры, чтобы избежать внимания публики. Заручившись покровительством небесных сил, они тем не менее поставили у входа двух полисменов, и еще с полдюжины держались поблизости, подозрительно наблюдая за происходящим. В дверь тоненькой струйкой просачивались люди, главным образом женщины. Пробираясь по проходу к трибуне, Колин Уилдертон сморщил нос и подумал: «Ну и духота здесь». Беда его заключалась в том, что он любил ближних, каждого в отдельности, но не питал к ним ни малейшей симпатии, когда они собирались толпой. На трибуне уже было человек пятнадцать мужчин и женщин. Он скромно уселся в заднем ряду, в то время как менее застенчивый Джон Радсток занял место по правую руку от председателя. Ораторы начали свои выступления со стремительностью, довольно необычной для большого митинга. Уилдертон слушал их и думал: «Какие избитые фразы! Почему никто не скажет прямо: «Довольно убивать молодежь!» До его слуха донесся глухой шум, подобный нарастающему рокоту прибоя в бурю; потом из слитного шума вдруг выделились крики людей,

собравшихся на улице. Он слышал, как град ударов сыпался на дверь, на его глазах были разбиты палками окна. Все собравшиеся повскакали со своих мест. Одни бросились оборонять вход, другие стояли в нерешительности. Джон Радсток держал над головой стул, на котором до этого сидел. Не успел Уилдертон подумать: «Так я и знал», — как в церковь ворвалась толпа во главе с группой юнцов в хаки. Он знал, что в драке от него мало толку, но на всякий случай занял оборонительную позицию, загородив собой ближайшую женщину. В эту самую минуту несколько солдат, прорвавшись через боковую дверь, захватили трибуну с тыла и сбросили его со ступенек. Уилдертон с грохотом свалился на пол, и не мог подняться, потому что вокруг бушевала толпа. Кто-то упал на него, изрыгая проклятия, — это оказался Радсток. В руке он все еще сжимал ножку стула и при падении только ушиб Уилдертона. Тот видел, как, поднявшись, друг его принялся размахивать своим оружием, и с каждым взмахом на пол падал кто-нибудь из друзей или врагов, так что скоро вокруг него оказалось свободное пространство. Все еще чувствуя слабость и звон в ушах после падения, Уилдертон, сидя, наблюдал за этой битвой, достойной героев Гомера. В Радстока летели стулья, книги, скамейки, трости, но он увертывался от них или изменял направление их полета так, что они попадали прямо в Уилдертона или разбивались о трибуну. Он слышал, что Радсток рычит, как лев, видел, как тот наступает, размахивая стулом. Вот упали двое юношей в хаки, вот падает третий в штатском. Вперед вырывается очень высокий молодой солдат, тоже вооруженный стулом, и вступает в единоборство с Радстоком. К этому времени Уилдертону наконец удалось подняться. Поправив очки, без которых он мало что видел, он поймал на лету молитвенник, изо всех сил запустил им в толпу и, сжав кулаки, с криком ринулся вперед. Один из его кулаков наткнулся на какой-то предмет, который был, по всей вероятности, челюстью австралийца, если судить по его твердости. Получив жестокий удар под ложечку, Уилдертон опять очутился на полу. До него доносились воинственные крики его друга и грохот сталкивающихся в воздухе стульев. Потом что-то тяжело упало на него — это был бесчувственный Радсток.

На миг наступило затишье; Уилдертону кое-как удалось разглядеть из-под лежавшего на нем тела, что трибуна очищена от тех, кто прежде сидел там, и теперь ее занимают молодые люди в военной форме, синей и серой. Чей-то голос воззвал:

— Тише! Прекратите беспорядок!

Напрягая слух, Уилдертон тер виски Радстока, смачивая их коньяком (фляжку с коньяком он предусмотрительно сунул в карман, собираясь на митинг), а люди тем временем наступали прямо на него.

— Наша взяла, ребята,—говорил голос с трибуны,—и так будет всегда, какие бы предательские штучки ни пытались выкинуть эти бездельники. Никакого мира! Никакого мира, чего бы нам это ни стоило! Мы должны показать им, что не пойдём на это. О женщинах я не говорю, хотя им должно быть стыдно за свое поведение, но мужчины—их, негодяев, расстрелять мало! Пусть они лучше держатся в сторонке, иначе мы им покажем. Мы сорвали этот митинг и точно так же сорвём любое собрание, где будет сказано хоть одно слово о мире. Да здравствует наше знамя!

Когда загремели оvationy, Уилдертон заметил, что к его другу возвращается сознание, ибо тот начал тяжело дышать. Влив ему в рот немного коньяку, Уилдертон постарался как можно удобнее устроить его возле какого-то деревянного сооружения, которое оказалось церковной кафедрой. В его затуманенном сознании мелькнула мысль: если бы удалось забраться на кафедру, так, будто он спустился туда прямо с неба, может быть, его и стали бы слушать. Он вытащил ноги из-под Радстока и на четвереньках пополз по ступеням. Добравшись до кафедры, он сел на пол, так что его не было видно, стараясь отдышаться и прислушиваясь к оvationy. Потом пригладил волосы, встал во весь рост и стал ждать, когда смолкнут крики. Расчет Уилдертона оказался правильным. Его неожиданное появление, его седые волосы, очки и улыбка на миг ввели толпу в заблуждение. Наступила тишина.

— Ребята! — сказал он. — Послушайте меня одну минуту. Я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, зачем мы пришли сюда? Да единственно по той простой причине, что мы не можем больше видеть, как нас уби-

вают день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вот и все, и это святая правда! Аминь.

Его коротенькая речь была встречена непонятым ропотом. Чей-то голос выкрикнул:

— Немецкий прихвостень!

Уилдертон вскинул руку вверх.

— К черту немцев! — сказал он просто.

Тот же голос повторил:

— Немецкий шпион!

А оратор на трибуне потребовал:

— Сойдите с кафедры! Говорить будете, когда мы захотим вас слушать.

Уилдертон мгновенно обернулся к нему.

— Удивительные вы люди, — начал было он, но в этот миг брошенный кем-то молитвенник поразил его прямо в лоб, и Уилдертон свалился на пол. Этот последний удар окончательно лишил его способности что-либо соображать. Он смутно помнил, что произносились речи, гремели аплодисменты, что на него наступали чьи-то ноги. Потом — долгая тишина, и в конце концов он увидел, что выходит из церкви, поддерживаемый с одной стороны Радстоком, с другой — полисменом. Дверь совсем не та, в которую они вошли, и ведет она в какой-то пустой двор.

— Идти можете? — спросил полисмен.

Уилдертон кивнул.

— Тогда идите! — сказал полисмен и вернулся в дом божий.

Они с Радстоком пошли, взявшись за руки, сначала ступая не очень уверенно; у Радстока был подбит глаз, из рассеченного уха текла кровь, пачкая воротничок, борода была всклокочена; у Уилдертона разорван пиджак, разбит лоб, щека распухла, боль в спине мешала ему держаться прямо. Не говоря ни слова, они зашли в подворотню и при помощи булавок и носовых платков попытались хоть отчасти вернуть себе приличный вид. Для той же цели Радсток поднял воротник пальто. Когда они снова тронулись в путь, он сказал холодно:

— Я слышал ваше выступление. Нужно было говорить только за себя. Как вам известно, я пришел на митинг потому, что не верю в борьбу силой против силы. На следующем митинге я это докажу всем яснее.

Уилдертон пробормотал:

— Да, да. Я вас видел. Не сомневаюсь, что так вы и сделаете. Извините меня, я слишком увлекся.

Радсток продолжал басом:

— А что касается этих молодчиков, по мне пусть их хоть всех перебьют, если им так этого хочется! Послушайтесь моего совета: не связывайтесь с ними.

Уилдертон улыбнулся тем углом рта, где щека не опухла.

— Да,— сказал он печально,— их и в самом деле не легко убедить, что жить лучше, чем быть убитым. Ну что ж, ничего не поделаешь!

— Ничего не поделаешь,— повторил он через пять минут.— Замечательные они все-таки, эти бедные ребята. Я очень расстроен, Радсток!

— А я нет,— сказал Радсток.— Мне даже это доставило некоторое удовольствие. Спокойной ночи!

Они пожали друг другу руки, кривясь при этом от боли, потому что кулаки у них были жестоко разбиты, и расстались, после чего Радсток направил свои стопы на север, а Уилдертон на запад.

СТРАННОСТИ ЖИЗНИ

Не так давно мне довелось провести некоторое время в той части Западной Англии, где я никогда не бывал. И вот в одно погожее, хоть и холодное мартовское утро я отправился бродить. В то время я переживал приступ тяжкого разочарования, знакомого писателям, которые утратили веру в себя и свои идеи, считают себя банкротами и часто доходят до отчаяния. Борьба с этим, как выразился однажды мой приятель, требует от людей нашей профессии большого мужества.

Солнце светило так ярко, воздух был такой бодрящий и свежий, а я, бродя по полям, думал: «Да, мне больше ничего не приходит в голову, не бывает тех внезапных озарений, наплыва образов, которые оживляют и воспаляют душу, заставляют работать мозг и перо. Плохо, плохо мое дело!»

И под влиянием этих мыслей я, блуждая глазами вокруг, по холмам, долинам, лесам, лугам, покрытым вереском, и скалам этой живописной местности, воспринимал ее красоту с глубокой горечью человека, который чувствует, что не способен эту красоту передать. Высокие живые изгороди вдоль проселков были недавно подстрижены и не мешали окинуть взглядом раскинувшиеся внизу поля, заросли дрока, не одетые еще зеленью леса, то розовато-коричневые, там, где много берез и буков, то тронутые матовой желтизной лиственниц.

И вдруг взгляд мой привлекло какое-то движение в воздухе. Там мелькало что-то живое, бело-черное.

«Ага,— подумал я,— сорока! И не одна — две! Быть может, это добрая примета!»

Птицы взлетели с дальнего конца поля. Я следил за их стремительным красивым полетом, пока они не скрылись вдали, за лесом. Но что-то оставили они у меня в сердце. Вдруг родилась в нем бодрость, надежда, не хотелось больше думать о том, что мучило меня до сих пор, и теперь меня уже интересовали новые места, по которым я бродил. За ближайшим холмом, в конце извилистой тропинки, я услышал веселый перезвон колоколов и, пройдя еще ярдов триста, вошел в деревню. На лужке перед старой серой церковью с четырехугольной башней толпились люди: переговариваясь, стояли группами мужчины в парадных темных костюмах, светлых галстуках и котелках, старательно принаряженные женщины.

«Что тут такое? — подумал я.— Сегодня не воскресенье и не день рождения какого-либо члена королевской фамилии. Да и вряд ли в деревне эти дни так шумно празднуются. Нет, здесь, наверное, свадьба. Вот так удача! Войду в церковь и посмотрю».

Пройдя мимо ожидавших, я вошел в церковь и по левому приделу стал пробираться вперед. Здесь тоже стояли люди, и все они то и дело оглядывались на дверь. Церковь наполнял тихий гомон, как это бывает только на свадьбах, когда считается дозволенным перешептываться в церкви. Как и в других отдаленных приходах, церковь здесь была старинная, построенная много веков назад с таким расчетом, чтобы вместить все население, которому полагалось выполнять завет «плодитесь и размножьтесь». Но теперь все прихожане могли бы свободно уместиться в четвертой части этого храма. Его холодное величие не нарушали даже царившее здесь веселое оживление и запах помады. Ни разу я не видел такого оживления в деревенской церкви.

Колокола, звонившие до тех пор с ленивым благодушием, заторопились, загремели, возвещая приход невесты, и весь народ, стоявший на лужайке, повалил в церковь. Внимание мое привлек парень, очень молодой, чуть не мальчик, который держался особняком, явно не зная, куда девать свои руки в перчатках, и все время застенчиво улыбался. Это, несомненно, был жених. Он

мне понравился: он выгодно отличался от неотесанных деревенских парней, и его открытое, красивое лицо выражало доброту и смелость. На жениха никто не смотрел: все ждали появления невесты, и я невольно заразился общим нетерпением. Какова она, эта юная невеста? Обыкновенная крестьянская девушка с жарким румянцем на тугих щеках и глазами испуганного кролика, девушка, в тесно облегающем платье и дешевой подвенечной вуали? Или... или она похожа на ту юную уэльскую девушку, которую я встретил однажды на холмах? Ни у кого я не видел таких глаз, как у нее. Наклонясь вперед, я обратился к сидевшей на соседней скамье женщине с лицом круглым и румяным, как яблоко.

— Скажите, вы не знаете, кто невеста?

Уставив на меня серые глаза с тем пытливым выражением, с каким смотрят на незнакомых, она ответила:

— Как же мне не знать? Это Гвенни Мара, самая красивая и веселая девушка в нашей деревне.— И, указав пальцем на стоявшего в сторонке жениха, добавила:— Счастливчик этот парень! Такая жена радует, как солнышко. И Гвенни к тому же — хорошая девушка.

Но почему-то эта характеристика не убедила меня, и я ожидал разочарования.

Скоро в церкви поднялись суета, волнение, легкий шум.

Как и все, я повернулся к двери. Невеста шла по проходу, ее вел под руку мужчина с суровым лицом, похожий на цыгана в праздничной одежде фермера.

Скажу одно: смотреть, как она шла к алтарю этой серой церкви сквозь толпу прихожан в темной одежде, было все равно, что любоваться игрой солнечного луча. Никогда еще не видывал я такого счастливого, прелестного, сияющего лица! Улыбающаяся, стремительная, шла она, не видя, кажется, ничего вокруг. Ее волосы победно сияли золотом сквозь дешевую вуаль, живые, ясные глаза были черны и прозрачны, как вода в лесном озере. На нее любо было смотреть, как на молодую яблоньку в цвету, облитую весенним солнцем. Ключом бил в ней заразительная веселость, признак простодушной доброты. С чувством радостного облегчения вспом-

нил я о так понравившемся мне женихе этой девушки и подумал, что она попадет в хорошие руки.

У гостей я видел только букеты желтых нарциссов: для других цветов было еще слишком рано. Но эти первые питомцы солнца удивительно подходили для свадьбы такой девушки. Когда она вошла, ее забросали этими цветами и неизменным на всех таких торжествах конфетти — без этого жалкого конфетти, кажется, ни один из простых смертных не может обрести блаженство.

В нашей жизни есть немало такого, от чего на душе становится радостно: солнечный свет, хорошая музыка, все цветы, многие дети, некоторые животные, облака, горы, пение птиц, синее небо, танцы и порой юные девичьи лица. И в то утро мне казалось, что всем в церкви было весело и отрадно только оттого, что они смотрели на невесту.

После венчания, когда она уехала, я заговорил с оказавшимся рядом хромым стариком, который все еще улыбался и восторженно смотрел ей вслед, даже когда увозившая ее повозка уже скрылась из виду. Заметив, должно быть, что и я улыбаюсь, он сказал:

— Удивительное дело: когда венчается такая девушка, человека даже всего трясет, так это берет за душу.

И когда я в ответ утвердительно кивнул, он продолжал:

— Славная она девочка, настоящее солнышко, мы все здесь будем по ней скучать. Да, наверное будем, другой такой нет во всей деревне.

— А кто это вел ее к венцу? Отец? — спросил я просто для того, чтобы поддержать разговор.

Старик как-то подозрительно глянул мне в лицо и покачал головой.

— У Гвенни нет ни отца, ни матери, а мистер Мара ей дядей приходится. Да, она сирота, — проговорил он как-то неохотно, но вместе с тем многозначительно, как человек, знающий что-то, о чем говорить нельзя.

Делать здесь было больше нечего, и я пошел в харчевню, где велел подать себе хлеба и сыра. У стойки шумели мужчины, зашедшие сюда из церкви, чтобы промочить горло. Чувствуя себя среди них чужаком, я ушел

на пустую веранду, доел свой скромный завтрак, греясь на мартовском солнце, потом расплатился и вышел.

Выбрав наугад одну из трех тропинок, отходивших от лужка, я зашагал по ней между высокими холмами, не зная, куда она приведет меня,— это ведь самое заманчивое, когда бродишь по лесам и полям. По пути я не встретил никого и ничего, если не считать одного домика внизу в долине и одной фермы на холме. Весна в здешних местах запаздывала, на деревьях еще только-только появлялись почки, и кое-где на ярком солнце даже мелькали в воздухе гонимые ветром хлопья снега. Около сосновой рощицы тропинка круто сбегала к длинному дому на чью-то ферму. Дом стоял в глубине двора, и на дворе я увидел три телеги и пустую линейку оглоблями вверх. Заметив на сиденьях несколько сломанных нарциссов, а на земле — конфетти, я сообразил, что случайно набрел на дом, где жила новобрачная и где сейчас, наверное, идет свадебный пир.

Поглазев на покрытые лишаями стены и соломенную крышу старого дома, на голубей, свиней и кур, бродивших на воле между домом и амбарами, и далеко не удовлетворив этим своего любопытства, я двинулся дальше по тропинке, которая круто поднималась вверх мимо бежавшего здесь ручейка. Слева от меня тянулся большой лиственный лес, справа — необработанные поля, во многих местах поросшие деревьями. Наконец тропинка уперлась в ворота под холмом, поросшим вереском и увенчанном скалистой вершиной. Прислонясь к верхней перекладине ворот, я остановился здесь, раздумывая, идти ли мне наверх или продолжать путь. Заросли орляка вокруг были большей частью скошены еще осенью, а ярдах в ста от холма сейчас жгли дрок. Красные языки пламени, голубой дым и желтые цветы дрока в сочетании с солнечным светом и хлопьями снега создавали причудливую мешанину красок.

Я наконец решил подняться наверх, но, уже проходя в ворота, вдруг увидел, что на камне под стеной, выходящей к лесу, сидит какая-то женщина. Обхватив голову руками, она качалась из стороны в сторону, и, должно быть, глаза ее были закрыты, так как она не замечала меня. На ней было синее шерстяное платье, шляпка лежала рядом на земле, и растрепавшиеся тем-

ные волосы прядями падали на лоб и щеки. На лице женщины, опухшем и покрасневшемся, застыла растерянность, сквозь которую пробивалось сильное возбуждение. Печально видеть лицо, когда-то прекрасное, но огрубевшее, обезображенное жизнью и сильными страстями. Платье, шляпа, прическа этой женщины имели городской вид, и было в них то неуловимое, что отличает женщину, чье ремесло — охота на мужчин. Но вместе с тем чувствовалось, что она не всегда была городской жительницей и выросла где-нибудь на деревенском приходе.

Увидеть в лесной глуши, среди дикой природы картину столь исступленного женского горя случается так редко, что невозможно остаться к нему равнодушным. И я стоял, не зная, что же делать. А женщина все качалась, да так порывисто, что трещал ее корсаж, и тихо стонала. Вдруг она склонилась головой к коленям, руки ее повисли, это было похоже на обморок. Как я мог оставить ее в таком состоянии и пройти мимо? Но, угадывая, что тут не одни только физические страдания, я боялся оказаться назойливым.

В такой-то нерешимости я стоял на месте и наблюдал за незнакомкой. Этот уголок был надежно защищен от ветра, солнце грело почти по-летнему, и в минуты затишья сюда доносился запах горящего дрока.

Целых три минуты женщина не шевелилась. Я уже начал думать, что она действительно в обмороке, и подошел к ней. От поникшего тела веяло жаром. Я уловил приторный запах дешевой пудры, увидел следы румян на щеках, хотя восточный ветер уже отчасти стер их. От этих накрашенных щек словно исходил дерзкий вызов, но как он не вязался с ее унылым видом! Она дышала неровно и тяжело.

Собравшись с духом, я тронул ее за плечо. Она подняла голову и взглянула на меня. Глаза ее были, вероятно, очень хороши когда-то, они и теперь были единственным, что еще осталось у нее от былой красоты. Сейчас они покраснели от ветра, и их одичалое, в первый миг растерянное выражение быстро сменилось тем особым, наглым и вместе вороватым, по которому сразу узнаешь женщин известного сорта. Она смотрела на меня и молчала. А я в замешательстве вытащил из кармана флаж-

ку с портвейном, которую всегда беру с собой, когда отправляюсь бродить, и, запинаясь, пробормотал:

— Простите... вам дурно? Так, может, вы не откажетесь...

И, отвинтив пробку, я протянул ей флягу. Женщина одно мгновение смотрела на нее как-то бессмысленно, затем взяла ее у меня из рук и сказала:

— Вы очень любезны. Я думаю, от этого мне полегчает...

Приложив фляжку ко рту, она пила, откинув назад голову. Выдавала ли ее предательская мягкость произношения или крепкое и стройное тело крестьянки, линии которого подчеркивала ее поза, но с нее вдруг сразу словно слетело оперение городской птицы.

Она вернула мне фляжку пустой и с натянутой улыбкой промолвила:

— Вам, наверное, удивительно, что я сижу здесь так...

— Я подумал, что вы больны.

Она засмеялась совсем не весело.

— Да, ослабела я, это верно.— И вдруг голос ее зазвучал почти свирепо:— И не диво! Увидеть снова старый дом и родные места после стольких лет!..

Своими темными глазами, которым вино как будто придало блеска и дерзкой смелости, она смерила меня с головы до ног. Всматривалась она в меня испытующе, словно проверяя, видела ли меня уже когда-нибудь прежде и что я за человек.

— Я родилась тут. А вы здесь живете?

Я покачал головой.

— Нет, я приезжий, с другого конца графства.

Она засмеялась. Помолчала с минуту и сказала отрывисто:

— А я на свадьбу приехала... Я только девушкой на свадьбах бывала, а с тех пор ни разу.

Я слушал молча: какой-то инстинкт подсказывал мне, что так будет лучше.

— Да, вот и побывала на свадьбе родной дочери. И никто меня не узнал... так мне думается...

Я между тем успел сесть против нее на камень под самой стеной и при этих ее словах с любопытством взглянул на нее. Как, неужели она, эта вульгарная,

истасканная, подозрительно пахнувшая женщина из города — мать той прелестной, юной девушки, которая только что венчалась на моих глазах? Повинуясь тому же инстинкту, я промолчал о том, что был в церкви, и сказал только:

— То-то я, проходя мимо, видел на дворе этой фермы рассыпанное конфетти!

Она снова засмеялась.

— Конфетти? Это такие разноцветные штучки, красные, белые, синие?.. — Потом продолжала уже сердито: — Родной брат меня не узнал, так чего же ждать от дочери? Как она могла меня узнать: ведь я уехала, когда она была еще крошкой... Веселая была девчушка, всегда улыбалась...

Женщина смотрела куда-то мимо меня, с таким выражением, как люди смотрят назад, в прошлое.

— Должно быть, мы с ним смеялись тогда, когда зачали ее. Это было вот здесь, где я сейчас сижу... Летом... В ту ночь луна вошла мне в кровь, да, да!..

Она мельком посмотрела на меня и продолжала:

— Это бывает иногда со всякой девушкой, и, наверное, это ее и губит. Вот мне только тридцать пять, а меня уж ненадолго хватит. Что поделаешь? Я была веселая девушка, это меня и погубило... И отец ее уже на том свете...

— Вы хотите сказать, что это из-за вашей дочери?

Она утвердительно кивнула.

— Да, пожалуй, что и так. Меня заставили тогда подать на него в суд. А он не захотел платить, пошел в солдаты, и через два года его убили на войне с бурами. Так что, выходит, и его сгубила дочка. А она вон какая выросла, пригожая да счастливая. Ну, не удивительно ли?

Женщина вдруг умолкла, глядя куда-то в пространство. Молчал и я, не зная, что сказать. Я думал о ее последних словах и начинал понимать, что она права: странные, удивительные вещи бывают в жизни! Эта девушка, светлая, как солнечный луч, радовавшая всех и всеми любимая, своим появлением на свет погубила двух людей, давших ей жизнь!

— Что она выходит замуж, я узнала случайно, — го-

ворила между тем женщина, хмурясь.— Мне сказал один фермер, он заходит ко мне постоянно, когда приезжает на базар. Я и раньше знала, что он живет поблизости от моей родной деревни. И вот стал он мне рассказывать... «Во вторник у нас будет свадьба,— говорит,— и жаль, что не я жених! Другой такой красивой и веселой девушки днем с огнем не сыскать». Он объяснил, из какой она семьи, и тут я сразу поняла... Наверно, я в тот день показалась моему гостю какой-то странной, на себя не похожей. Он ведь не знает, кто я такая, хотя когда-то мы вместе ходили в школу. И я ни за что на свете не сказала бы ему правду.— Она энергично покачала головой.— Не знаю, с чего это я вам-то все вздумала рассказывать, оттого, наверно, что я сегодня сама не своя.

Отвечая на ее недоверчивый и вместе молящий взгляд, я поспешил ее успокоить:

— Вам нечего опасаться. Я в этих местах никого не знаю.

Она вздохнула.

— Вы очень добры... Иной раз так хочется выговориться... Ну вот, когда фермер ушел от меня, я подумала: «Устрою-ка я себе праздник, поеду и погляжу на свадьбу дочки».— Она усмехнулась.— Меня-то никогда не осыпали этими штучками, красными, белыми и синими. Все кончилось той ночью, когда луна вошла мне в кровь!.. Да... Отец у меня был суровый. И немало я натерпелась от него еще до того, как родилась дочка, а уж потом, когда не удалось заставить парня жениться и он порвал со мной, сбежал, тут и отец и мачеха принялись вовсю меня изводить. Девчонка я была тихая, мягкосердечная и только плакала, глаз не осушала днем и ночью. Ох, какой же это грех — заставлять плакать молодых!

— И вы убежали из дому? — спросил я тихо.

Она утвердительно кивнула.

— Да. Это было единственное, на что у меня хватило в жизни смелости. Сердце мое разрывалось на части от того, что пришлось расстаться с малышкой. Но другого выхода не было: или бежать, или утопиться. Сердце у меня тогда было еще податливое, и я уехала с одним парнем, букмекером,— он приезжал к нам на спортив-

ные состязания и влюбился в меня по уши... Но и он не захотел жениться...— Женщина снова засмеялась тем же резким смехом.— Что ему со мной было стесняться!..

Указав на горевший дрок, она сказала после недолгого молчания:

— Девочкой я всегда приходила сюда и помогала его жечь.

И неожиданно заплакала. Но видеть эти слезы было не так мучительно и страшно, как ее прежнее немое отчаяние: теперь они казались мне понятными и естественными.

На обочине дороги, близ ворот, валялся старый башмак, и я, чтобы не смотреть на плачущую женщину, внимательно стал его разглядывать. Изношенный черный башмак меж камней и диких растений, он был так же неуместен здесь, среди своеобразной прелести этого весеннего дня, как и сидевшая против меня несчастная женщина, вздумавшая посетить свою молодость. Я живо вообразил себе этот уголок леса в ту летнюю ночь, когда, по ее выражению, «луна вошла ей в кровь», и в жарком мраке, среди высоких папоротников, двух юных влюбленных, послушных велению своей крови.

С ясного голубого неба внезапно полетели снежные хлопья на нас, на горящие дымным красным пламенем кусты дрока. Снег осыпал волосы и плечи женщины, а она, плача и смеясь, подняла руку и пробовала ловить его, как разыгравшийся ребенок.

— И надо же быть такой капризной погоде как раз в день свадьбы моей дочки! — сказала она. Потом с некоторым раздражением добавила: — К счастью для нее, она не знает и никогда не узнает своей матери!

И, подобрав с земли шляпу с перьями, она решительно встала.

— Мне пора идти на станцию, иначе опоздаю к поезду. А я сегодня жду гостя...

Она надела шляпу, утерла мокрое лицо, отряхнула и разгладила юбку, но все еще не уходила: стояла и смотрела на горящий дрок. Теперь, обретя снова свой городской вид и привычную напускную бойкость, она еще больше напоминала мне этот старый, выброшенный за

ненадобностью башмак, такой неуместный на фоне весеннего утра.

— Глупо было приезжать сюда,— сказала женщина.— Только душу разбередила. Как будто у меня и без того мало огорчений! Ну, прощайте и спасибо за вино! Оно мне здорово развязало язык, верно? — Она смотрела на меня не так, как смотрят женщины ее профессии, нет, это был взгляд, полный неуверенности и человеческой грусти.— Я вам уже говорила, что моя девочка была всегда весела, как птичка. И я рада, что она осталась такой. Рада, что повидала ее...

Губы ее дрожали, но она кивнула мне с небрежной развязностью и пошла по тропинке вниз.

А я сидел под снегом и солнцем еще несколько минут после ее ухода. Потом постоял у горящих кустов дрока. Раздуваемое ветром пламя и синий дым казались живыми и были очень красивы. Но они оставляли на земле черные скелеты вместо веток.

«Ничего,— подумал я,— через неделю-другую из-под них начнут пробиваться к солнцу зеленые побеги. Такова жизнь! Она вновь и вновь рождается из смерти и уничтожения. Да, удивительная она, наша жизнь!»

МАННА

1

Зал мирового суда в Линстоу был переполнен. Чудеса случаются не каждый день, и не каждый день приходских пасторов обвиняют в воровстве. Все те, кто сомневается в жизнеспособности нашей древней религии, могли бы порадоваться, видя такую заинтересованность. Люди, которые никогда не покидали своих ферм, прошли пешком целых три мили, чтобы присутствовать на суде. Миссис Глойн, рыжеватая хозяйка лавки, в которой можно было приобрести мыло, селедку, сыр, спички, шнурки для ботинок, драже и другие предметы провинциальной роскоши, сказала жене фермера Редленда:

— Ну и дела! Столько людей!

На что миссис Редленд ответила:

— Совсем как в церкви в воскресенье.

Женщин здесь, правда, было больше, чем мужчин, потому что они благочестивее и еще потому, что за последние два года большинству из них пришлось расстаться с изрядным количеством масла, цыплят, уток, картофеля и других благ земных, которые забирал у них пастор. Поэтому они проявляли законный интерес к этому делу и сидели на суде, негодуя в меру понесенных ими убытков. Они пришли из Троувера, что в двух милях от Линстоу, деревушки, расположенной на вершине холма, с отлично сохранившейся колокольной, тогда как здание церкви потеряло свой облик после образцовой реставрации; некоторые пришли даже с берега Ат-

лантики, который лежит еще дальше, за грядой меловых холмов, откуда другие квадратные церковные башни видны на фоне серого январского неба. Случай был единственный в своем роде, и его остроту усиливало соперничество двух церквей. Между господствующей церковью и протестантской общиной в Троувере не было слишком горячей дружбы, и, расставаясь со своими приношениями, паства первой утешала себя тем, что в противном случае бедность пастора стала бы объектом насмешек протестантов (гоже присутствовавших в этот день на суде). Дело, конечно, не в том, что паства ставила ему в заслугу его бедность. Это было бы глупо, тем более, что, как утверждала молва, финансовые затруднения пастора были вызваны его верой в акции. Попытку улучшить свое пусть скромное, но надежное положение игрой на бирже прихожане не сочли бы предосудительной, если бы она увенчалась успехом, но неудачи заставляли пастора прибегать к их маслу, их картофелю, их яйцам и цыплятам. В этом приходе, так же, как и в других, никто не оспаривал изречения «Удача — лучший путь к преуспеянию», ни у кого в деревне также не было неестественной склонности оспаривать право каждого человека стремиться к богатству.

Однако ничто так не раздражает, как человек, которого вы вправе о чем-то просить, но который сам начинает просить что-то у вас. Вот почему длинная, худая фигура пастора в черной одежде, такая прямая, точно он проглотил при рождении аршин, его узкое, лишенное растительности, бледное, изможденное лицо с рыжими бровями и глазами, которые, казалось, то загорались, то потухали, его рыжие с проседью волосы под позеленевшей от времени шляпой, его резкий, повелительный голос, отрывистый, невеселый смех — все это действовало прихожанам на нервы. Его лающие слова: «Мне нужен фунт масла... заплачу в понедельник», «Мне нужна картошка... скоро заплачу!» — раздавались слишком часто в ушах тех, кто до сей поры получил от пастора за свои продукты лишь духовное возмещение. По временам некоторые циники говорили: «Вот еще! Я сказал ему, что все свое масло отвез на рынок», или: «У этого пастора нет совести. От меня-то уж он цыплят не получит». И

все-таки нельзя было допустить, чтобы он и его старая мать умерли с голоду по вине прихожан — это принесло бы слишком много радости «той стороне». А другим способом избавиться от своего пастора они не хотели, хотя бы потому, что на поддержание его ими уже были затрачены средства. Сделку, в которую оказались вовлеченными и церковь и общество, скрепили деньги. Профессиональное поведение пастора было безупречным, проповеди — долгими и пылкими; он всегда был готов исполнять свои многочисленные обязанности — венчания, крещения, отпевания, — и это был его единственный доход, так как он уже задолжал прихожанам больше, чем ему причиталось по должности. Лояльность его паствы напоминала лояльность членов некоего важного общества, которому угрожает опасность.

Ходили слухи, что в доме пастора царит ужасная нужда. Благополучный вид этого красного кирпичного здания, окруженного лавровыми кустами, никогда не цветущими, был как бы иронией над тем, что происходило внутри. Говорили, что старая мать пастора, которой было восемьдесят лет, совсем не вставала этой зимой с постели, потому что в доме не было угля. Так она и лежала, а ее три птички летали на свободе и пачкали повсюду, так как ни она, ни ее сын никогда не закрывали клетки... Единственной служанке, по-видимому, никогда не платили. Торговцы больше не отпускали пастору товаров, потому что не могли получить за них деньги. Большая часть мебели была продана; пыли накопилось столько, что она заставляла чихать. «Дальше и ехать некуда, понимаете ли!»

С маленькой корзинкой в руке пастор методически собирал продукты для своего стола три раза в неделю, обещая заплатить в понедельник и соблюдая воскресенье как день отдохновения. Казалось, в его сознании постоянно жила вера в скорое повышение курса его акций; в то же время он считал своим священным правом получать поддержку. И было весьма трудно отказывать ему в ней. Почтальон дважды видел его на железнодорожных путях, которые проходили внизу, под самой деревней: «Стоит без шляпы, понимаете ли, как потерянный!» Этот рассказ о пасторе, стоящем на рельсах, производил сильное впечатление на тех добрых людей,

которые любят страшные истории. Эти люди говорили: «Я совсем не удивлюсь, если с ним что-нибудь такое стрясется не сегодня-завтра!» Другие, не столь романтически настроенные, качали головами и уверяли, что, пока жива его мать, ничего он над собой не сделает. А некоторые, более набожные, утверждали, что он никогда не пойдет против священного писания и не подаст такого дурного примера.

2

В то утро зал мирового суда напоминал церковь в день чьей-нибудь свадьбы, так как жители Троувера пришли в парадной темной одежде и расселись согласно своей вере: «церковь» — в правой, а «община» — в левой части зала. Они представляли собой то большое разнообразие типов при однообразии костюмов, которое в далекой провинции все еще встречает наблюдатель; почти у всех рты были приоткрыты, а глаза, полные напряженного внимания, застыли на судьях. Трое судей: сквайр Плейделл в кресле, доктор Баккет слева от него и почтенный Келмеди справа — впервые появились перед большинством присутствовавших в роли представителей закона. Любопытство вызывалось не только ходом судебной процедуры, но и видом истца, мелкого булочника из города, откуда деревня Троувер получала все необходимое. Усатое лицо этого человека и его лысая голова привлекали всеобщее внимание до тех пор, пока не началось слушание дела и не появился сам пастор. В своем черном пальто он прошел вперед и остановился, как будто немного ошеломленный. Затем, повернув изможденное лицо к судьям, отрывисто произнес:

— Доброе утро! Сколько народу!

Констебль, стоявший позади него, пробормотал:

— Пройдите, пожалуйста, к скамье подсудимых, сэр.

Пастор прошел к деревянному сооружению, внутри которого стояла скамья подсудимых.

— Совсем как кафедра проповедника, — сказал он и засмеялся своим лающим смехом.

По залу пробежал оживленный шепоток, как будто утрата им ореола священника вызвала симпатию к не-

му, и глаза всех остановились на этой высокой, тощей фигуре и рыжей с проседью голове.

Встав на свидетельское место, истец дал следующие показания:

— Ваша честь, в прошлый вторник днем мне случилось самому ехать на моей тележке через Троувер к тем домам, что повыше оврага; я вошел в дом миссис Хани, прачки, а тележку оставил на улице, я так всегда делаю. Ну, я немножко поболтал с ней, а когда вышел из дому, смотрю: этот джентльмен отходит и идет впереди. Посмотрел я в тележку и думаю себе: «Странно! Здесь только две булки... может, я по ошибке оставил две в доме?» Захожу к миссис Хани и говорю: «Не оставил ли я вам по рассеянности две штуки вместо одной?» «Нет,— говорит.— Только одну... вот она!» «Так вот,— говорю,— когда я шел к вам, у меня их было четыре, а сейчас только две. Странно!» «Может, вы по дороге обронили одну?» — говорит она. «Нет,— говорю,— я посчитал их». «Странно,— говорит она,— может, собака схватила?» «Может,— говорю,— только единственный, кого я вижу на дороге, так это вон его». И я указал на этого джентльмена. «Ой! — говорит миссис Хани,— так это же наш пастор». «Да,— говорю,— как мне не знать его, если он мне должен деньги вот уже восемнадцать месяцев. Поеду-ка я вперед»,— говорю. Так вот, еду я вперед и подъезжаю к этому джентльмену. Он поворачивает голову и смотрит на меня. «Добрый день!» «Добрый день, сэр,— говорю я.— Вы не видели булки?» Он вытаскивает булку из кармана. «Поднял с земли,— говорит.— Видите, грязная. Но годится для моих птичек! Ха-ха!» «Ага,— говорю,— вот оно что! Теперь понятно!» Я сохраняю спокойствие, а сам думаю: «Это немного легкомысленно с вашей стороны. Вы должны мне один фунт, восемь шиллингов и два пенса вот уже почти два года; я больше не надеюсь получить эти деньги, но, видно, вам этого еще мало! Очень хорошо,— думаю я,— посмотрим! И мне наплевать, пастор вы или нет!» Я обвиняю его в том, что он взял мой хлеб.

Булочник замолчал и стал вытирать грязным платком лицо и огромные рыжеватые усы. Неожиданно пастор подал голос со скамьи подсудимых: «Кусок грязного хлеба... покормить птиц. Ха-ха!»

На мгновение воцарилась мертвая тишина. Затем булочник медленно произнес:

— Но это еще не все. Я заявляю, что он сам ел этот хлеб. У меня есть два свидетеля.

Председательствующий, проведя рукой по своему суровому, настороженному лицу, спросил:

— Видели вы какие-нибудь следы грязи на булке? Подумайте, раньше чем ответить!

Булочник уверенно ответил:

— Ни пылинки.

Заговорил доктор Беккет, худощавый мужчина с седой бородкой и беспокойными глазами, видевшими много мучительно-тяжелого в жизни:

— А ваша лошадь стояла на месте?

— Она всегда стоит как вкопанная.

— Ха-ха! — слышался смех пастора.

А председатель сказал резко:

— Так. Вы свободны. Вызывается следующий свидетель... Чарлз Стоддер, плотник. Пожалуйста, расскажите, что вам известно.

Но прежде чем свидетель успел заговорить, пастор громко выкрикнул:

— Отступник!

— Тише, сэр.

Однако по всему залу прокатился воинственный шепот присутствующих.

Свидетель, квадратный человек с красным лицом, седыми волосами, бакенбардами и усами, с живыми темными глазами, слезившимися от волнения, заговорил быстро, тихим голосом:

— Во вторник днем, ваша честь, примерно часа в четыре, я проходил по деревне и видел пастора у его калитки с булкой в руке.

— Покажите нам, как он ее держал.

Свидетель прижал к боку свою черную шляпу тульей наружу.

— Булка была запачканная или чистая?

Сладко улыбаясь маленькими глазками, свидетель ответил:

— Я бы сказал, что чистая.

— Ложь!

Председательствующий строго произнес:

— Не перебивайте, сэр. Свидетель, а вы не разглядели другую сторону булки?

Глазки свидетеля заморгали.

— Не совсем.

— Пастор разговаривал с вами?

Свидетель улыбнулся.

— Пастор никогда не остановил бы меня. Я ведь сборщик налогов.

Смех пастора, похожий на лай несчастной, бездомной собаки, подавил нараставшее в зале веселье, и опять на мгновение наступила мертвая тишина.

Тогда председательствующий спросил:

— У вас есть какие-нибудь вопросы к нему?

Пастор повернулся к свидетелю:

— Зачем вы лжете?

Свидетель прищурился и запальчиво крикнул:

— А где вы видите ложь?

— Вы сказали, что булка была чистая.

— Она и была чистая, насколько я разглядел.

— Ходили бы в церковь, тогда не стали бы лгать.

— Думаю, что скорее найду истину в другом месте.

Председательствующий постучал по столу.

— Довольно, довольно! Вы свободны! Следующий свидетель... Эмили Бликер. Кто вы такая? Кухарка в доме пастора? Очень хорошо. Что вам известно об этом деле с булкой?

Свидетельница, широколицая, кареглазая девушка, тупо ответила:

— Ничего, сэр.

— Ха-ха!

— Тише! Вы видели булку?

— Не-ет.

— Тогда зачем же вы здесь?

— Хозяин попросил у меня тогда тарелку и нож. И он и старая миссис ели ее за обедом. Я потом посмотрела на тарелку. На ней не было ни крошки.

— Если вы так и не видели булки, то откуда вы знаете, что они ели ее?

— Потому что больше ничего в доме не было.

Пастор пролаял:

— Совершенно верно.



«МАННА»



«САНТА-ЛЮЧИЯ»

Председательствующий пристально посмотрел на него.

— У вас есть к ней вопросы?

Пастор кивнул.

— Вам платят жалованье?

— Не-ет, не платят.

— А знаете, почему?

— Не-ет!

— Очень сожалею... Но у меня нет денег, чтобы платить вам. Вот и все.

На этом закончились показания истца и его свидетелей, после чего объявили перерыв, во время которого судьи стали совещаться, а пастор, разглядывая присутствующих, кивал то одному, то другому. Затем председательствующий обратился к пастору:

— А у вас, сэр, свидетели есть?

— Да. Мой звонарь. Он честный человек. Можете ему верить.

Звонарь Сэмуэл Бевис встал на свидетельское место. Он был похож на стареющего Вакха с вечно дрожащими руками. Он дал следующие показания:

— Когда я проходил мимо пастора во вторник днем, он позвал меня и говорит: «Видишь?» — и показывает булку. «Немного грязного хлеба,— говорит,— для моих птичек». А потом повернулся и пошел.

— Вы видели, что булка была запачкана?

— Да. Думаю, она была запачкана.

— Что значит *думаю*? Вам это известно?

— Да. Она была запачкана.

— С какой стороны?

— С какой стороны? Думаю, она была запачкана снизу.

— Вы в этом уверены?

— Да. Она была запачкана снизу, это точно.

— Так. Вы свободны. Ну, сэр, не изложите ли вы нам теперь свои соображения по данному делу?

Пастор, указав на истца и левую часть зала, отрывисто бросил:

— Все они, эти прихожане, хотят опорочить меня.

Председатель сказал ледяным тоном:

— Оставим это. Переходите к фактам, пожалуйста.

— Извольте. Я вышел погулять... прошел мимо

тележки булочника... увидел в грязи булку... поднял ее... для своих птичек.

— Каких птичек?

— Сорока и два скворца. Свободно летают, я никогда не закрываю клетку. Они поели вволю.

— Булочник обвиняет вас в том, что вы взяли хлеб из его тележки.

— Ложь! Под тележкой в луже.

— Вы слышали, как ваша кухарка сказала, что вы ели его? Это правда?

— Да. Птички не смогли съесть все... А в доме пусто... мы с матерью были голодны.

— Голодны?

— Денег нет. Нам туго приходится... очень! Часто голодаем. Ха-ха!

И опять по залу пробежал непонятный ропот. Трое судей уставились на ответчика. Затем почтенный Кел-меди сказал:

— Вы говорите, что нашли булку под тележкой. А вам не пришло в голову положить ее на место? Вы могли догадаться, что она упала. Иначе откуда ей взяться на земле?

Взгляд пастора, метавший огонь, казалось, погас.

— С небес... Как манна.— И, обводя глазами зал, он добавил: — Голодному... избраннику божию... манна небесная! — И, откинув голову, он засмеялся. Это был единственный звук среди гробовой тишины.

Судьи начали тихо совещаться. Пастор, глядя на них в упор, стоял неподвижно. Люди в зале сидели, как на театральном представлении. Затем председательствующий объявил:

— Иск отклоняется.

— Благодарю вас.

Отрывисто бросив эту короткую благодарность, пастор покинул скамью подсудимых и прошел через середину зала, провожаемый неотступными взглядами всех присутствующих.

3

От здания мирового суда прихожане направили свои стопы по грязному проселку в Троувер, обсуждая результаты. Победа «церкви» омрачалась лишь тем, что

булочник лишился своей булки, ничего не получив взамен. А ведь булка стоила денег. Прихожанам церкви было обидно чувствовать себя победителями и, однако, быть вынужденными молчать. Они бросали мрачные взгляды на насмешливых противников. И чем ближе они подходили к своей деревне, тем большее раздражение испытывали против этих людей. Тогда звонаря осенило вдохновение. Взяв с собой трех помощников, он поспешил на колокольню, и через несколько минут с нее уже низвергался такой веселый и буйный трезвон, какого никогда еще не поднимали ее колокола. Трезвон разносился в неподвижном воздухе серого зимнего дня, долетая до самого моря.

Какой-то приезжий, выйдя из гостиницы, услышал этот торжествующий звон и, увидев вокруг так много людей в черном, спросил своего кучера:

— Что это, свадьба?

— Нет, сэр, говорят, это в честь пастора, понимаете ли, его обвинили в воровстве, но вот сейчас оправдали.

В следующий вторник изможденное лицо пастора появилось в дверях лавки миссис Глойн; скрипучим, как пила, голосом он сказал:

— Можете вы ссудить мне фунт масла? Скоро заплачу.

Что еще мог он сделать? Даже избранникам божьим небо не всегда посылает манну.

SAFARD¹

Солдат Жан Лиотар лежал ничком на берегу Дрома. Снега давно сошли, лето было в разгаре; по одну сторону виднелись деревья и трава, по другую катился обмелевший зеленоватый поток, а между ними легла широкая песчаная полоса. Палящее солнце выпарило всю влагу, земля пересохла, но сегодня подул свежий ветерок, он будто нехотя разматывал вату облачков в голубизне неба, и листва на прибрежных осинах и ивах шелестела от тысяч его легких поцелуев. Солдат Жан Лиотар упорно смотрел на землю, но там ничего не было, кроме нескольких сухих травинок. У солдата была «safard», хандра, ибо завтра ему предстояло покинуть госпиталь и явиться по начальству для освидетельствования. Там ему станут механически задавать обычные вопросы, а потом объявят: «В часть!» — или прикажут раздеться и лечь, какой-нибудь «медик» будет щупать ему ребра, чтобы убедиться, ликвидированы ли последствия контузии, которая сказалась на сердце. Солдат имел уже одну отсрочку и был уверен, что не получит другой, что бы ни было с его сердцем. «В часть!» — таков его удел, и ничто нельзя изменить, как нельзя повернуть вспять эту реку, бегущую к своему концу, к морю. У солдата была хандра — точно крохотный черный жучок грыз его мозг, подтачивал надежды, пожирал радость. Это длилось уже целую неделю, и солдат был в глубоком отчаянии. Снова проклятая казарменная жизнь, муштра, а потом, может

¹ Хандра (франц.).

быть, уже через месяц, их, как баранов, загонят в эшелон и повезут туда, на позиции — на бойню, на бойню!

Солдат сбросил фланелевую куртку, расстегнул рубашку до пояса и подставил грудь ветру. Его карие, широко раскрытые по-собачьи, выпуклые глаза на красивом смуглом лице, глаза, в которых за эти три проклятых года появилось испуганное и мрачное выражение, не видели, казалось, ничего, кроме одолевавших его мыслей и образов, что кружились в черном водовороте, засасывавшем его все глубже и глубже. Он словно не замечал шумевшей вокруг жизни: ни воркования голубя на иве, ни разноцветных, словно эмалевых, бабочек, порхавших вокруг, ни маленькой бурой ящерицы, что совсем близко притаилась среди камней и замерла, словно прислушиваясь к биению сердца лета. Всего этого он не замечал, как если бы он снова сидел в глубоком и душном окопе и над головой были немецкие снаряды, а запах крови и нечистот отравлял воздух. Солдат был в таком состоянии, когда человек посылает богу проклятие и умирает. А ведь он был примерный католик и все еще ходил к мессе. Но бог предал землю и его, Жана Лиотара. Все чудовищные мерзости, которые привелось увидеть солдату за два года на фронте: изувеченные, безгубые лица, человеческие скелеты, в которых сновали крысы; обезумевшие от муки лошади с оторванными ногами и опустошенные, разрушенные фермы и пришибленные несчастьем беззащитные крестьяне; его измученные товарищи-солдаты; пустынность ничьей земли; грохот, стоны, зловоние, холод, постоянный гнет какой-то жестокой силы, которая швыряла в горнило войны миллионы горячих человеческих сердец и тел, миллионы горячих желаний и привязанностей; и над всем — тяжелое, темное небо, без единого просвета, без единого клочка лазури — все это вдруг навалилось на солдата, лежавшего в золоте солнечных лучей, и заслонило от него и жизнь и надежды. И снова оказаться там! Ему, уже бывшему в таком аду, который в сорок раз страшнее того, что когда-либо видели начальники, посылающие его туда, и в пятьсот раз страшнее того, что и не снилось «парламентариям», спокойно получающим свои денежки и вдали от опасности болтающим о победе, об отданных врагу провинциях и о будущем, — ах, подлецы!

Если бы солдаты, чью жизнь они ни во что не ставят, бедняги, которые исходят потом, истекают кровью, мерзнут и голодают по обе стороны линии фронта, могли поднять свой голос, их страдания были бы не напрасны — они добились бы мира. Ах, какой это был бы чудесный мир, если бы первым делом во всех странах перевешали святош-политиканов и газетчиков, всех тех, кто умеет сражаться только языком и пером, чужой кровью добывать победы! Эти самодовольные обыватели не успокоятся до тех пор, пока во Франции есть хоть один парень с целыми ногами и руками! Почему они не могут оставить в покое усталое сердце Жана Лиотара — разве мало он убил бошей? Он вспомнил свою первую атаку — каким до странности мягким показалось ему тело того боша, которого он проткнул штыком! Потом другой, третий... Да, в тот день он рьяно выполнял свою обязанность! Однако при этой мысли что-то резануло его по сердцу. Конечно, это только боши, но их жены, дети, матери... их скорбно вопрошающие, молящие глаза. Кого они молили? Не его же, не Жана Лиотара! Он, отнявший так много жизней, — кто он такой, как не несчастный, который сам не имеет ни жизни, ни права дышать и двигаться иначе, как по приказу неразумной, бессердечной силы, которая слепо стремится продолжать бойню неизвестно зачем. Если бы он выжил — в это он не верил, — ах, если бы он все-таки выжил и мог с миллионами своих товарищей вернуться домой и свести кое с кем счеты! Уж пришлось бы им тогда болтаться в воздухе и ворон пугать! Бабочки садились бы на их губы, и мухи ели бы их высунутые языки, умолкшие наконец.

Постепенно вспышка яростного, безрассудного гнева сменилась острой жалостью к себе. Неужели он не увидит снова чистого, свободного от черных туч неба, не увидит щедрую землю, плоды, пшеницу? Не будет обнимать в лесу девчонку, гулять по залитым огнями бульварам, сидеть в кафе? Не пойдет к мессе, избавившись от этого глухого отвращения и страха, которые его в гроб вгонят? Где вы, ангелы милосердия? Неужели это никогда не кончится? С ума можно сойти!

Перед мысленным взором солдата встало лицо матери, такое, каким он видел его в последний раз, три года назад, когда уходил в полк. Подумать только: его

мать и вся семья теперь во власти бошей! Он уходил тогда из дому весело, с легким сердцем, а мать словно застыла на месте и, заслонив глаза от солнца рукой, глядела вслед поезду. Мысль о том, что проклятые боши наложили свою тяжелую лапу на все, что дорого и близко ему, прежде порождала в душе солдата непримиримую ненависть к врагу, и тогда все кошмары войны казались естественными и даже необходимыми. Но сейчас даже эта мысль не могла его расшевелить: у него была хандра.

Жан Лиотар перевернулся на спину. Голубое небо над горами не радовало его, и если бы оно внезапно стало черным, он не заметил бы перемены, как не замечал порхавших вокруг бабочек, прелестных и бысролетных, как минуты радости. Он думал: снова без отдыха, без срока шагать по трупам, по растерзанным мертвым телам таких же, как он, несчастных, затравленных солдат, у которых единственное желание — до конца своих дней не поднимать больше ни на кого руку, которые, как и он сам, желали только смеха, любви и покоя. Что за жизнь! Карнавал скачущих демонов! Дурной сон, невыразимо страшный сон! «Когда я снова окажусь там,— думал солдат,— на мне будет новая форма, я буду выбрит и снова, как все, стану весело махать рукой, как будто иду на свадьбу. Да здравствует Франция! Боже, какое издевательство! Неужели человек не имеет права на безмятежный сон?»

Он закрыл глаза, но яркий солнечный свет проникал сквозь опущенные веки; солдат снова перевернулся на живот и с вождением уставился на реку — говорят, что посередине она глубока и такое быстрое течение! Однако что это там на берегу, у самой воды? Неужели он и в самом деле сошел с ума? Солдат как-то странно рассмеялся: то была черная собака, та самая, что преследовала его, сидела у него на плечах и словно вошла в него! Собака вошла в воду; солдат позвал ее: «Нé, le sorain!»¹. Нет, то была не его собака, ибо, услышав его голос, она перестала лаять и испуганно поджала хвост. Потом она отошла от воды, села у камней и посмотрела на него. Настоящая, живая собака! Но какая тощая — настоящее пугало! Простая дворняжка, но, ви-

¹ Эй, приятель! (франц.)

димо, когда-то была красивой. Она сидела и смотрела на Жана Лиотара, и в ее трогательном взгляде читалась история голодного, заброшенного существа, которое очень хотело бы прийти к людям, чтобы они кормили его, но не смела, потому что ее, беднягу, всегда гнали и били. Казалось, в этой собаке борются два одинаково сильных инстинкта — страх и голод. Жан Лиотар пристально смотрел на собаку. В ее глазах была такая растерянность, столько отчаяния! Что-то шевельнулось в душе у солдата. Он протянул руку и позвал: «Viens!»¹. Но собака испуганно отошла подальше, снова села и стала смотреть на человека. Жан Лиотар засмеялся так же странно, как прежде. Если бы бог протянул ему руку и позвал «Viens!», он поступил бы так же, как эта собачонка, он не подошел бы ни за что! Разве он не так же загнан и забит, как этот пес? И, как бы проверяя себя, солдат снова протянул руку: «Viens!», — и собака снова недоверчиво отодвинулась подальше и снова села, глядя на него. Жан Лиотар потерял терпение. Он так низко опустил голову, что лоб его коснулся земли. Он вдыхал запах сожженной солнцем травы и чувствовал, как утихает его нервное напряжение. Лежа неподвижно, он воображал себя мертвым, бесчувственным, ко всему равнодушным. Но вокруг шумело лето, благоухали травы, он ощущал ласковое дуновение ветерка. Раскинув руки, солдат погладил ладонями теплую землю, как гладил бы грудь женщины. Подумал опять: «Ах, если бы в самом деле умереть — насколько это было бы лучше, чем жизнь на этой бойне!» Но смерть поджидала Жана Лиотара там, далеко, где были снаряды, свистели пули, щетинились острия стальных штыков. Дикая, отвратительная смерть, смерть среди зловония, и никто не даст ему прощального поцелуя, если не считать поцелуев крыс и воронов. Что такое жизнь и что такое смерть? Охота живых существ друг за другом, и больше ничего. Да еще любовь, слепой инстинкт, породивший всех этих хищников. В наши дни Христос отвернул от людей лик свой. Вон на вершине горы сверкающий на солнце крест — правильно сделали, что поставили его наверху, где не обитает человек, не бродит даже достойная жалости со-

¹ Поди сюда! (франц.)

бака! «Сказки! — подумал солдат. — Все мы связаны одной веревочкой: и те, кто властвует, и те, над кем властвуют; те, кто пожирает, и те, кого пожирают. Милосердия нет, нет и бога!» Над ним жужжали мухи. Солнце припекало спину сквозь тонкую рубашку, и солдат потянулся за курткой. Собачонка, все еще сидевшая поодаль, ярдах в двадцати, вся съежилась и прижала уши при его движении, и солдат подумал: «Ну и досталось же тебе, должно быть, бедняга!» В кармане куртки лежало несколько сухарей, и он протянул один собаке. Она задрожала, высунула розовый язык, задыхаясь от страха и желания схватить сухарь. Жан Лиотар осторожно бросил его на полпути между собой и животным. Собака отпрыгнула на шаг или два, потом опасливо подвинулась вперед и присела. Затем очень медленно подползла на брюхе к сухарю, схватила его зубами и снова отбежала на безопасное расстояние. Солдат вытащил другой сухарь. На этот раз он бросил его шагах в пяти от себя. И снова собака, сжавшись, подкралась, быстро проглотила сухарь, опять отошла, теперь уже всего шага на два, и остановилась с раскрытой пастью, чуть помахивая хвостом, как бы прося еще. Жан Лиотар протянул третий сухарь на всю длину руки и стал ждать. Собака приблизилась и села там, где до нее нельзя было дотянуться. Из рта у нее текла слюна, но, казалось, она никак не может решиться на столь отчаянное предприятие. Солдат сидел неподвижно, хотя ощущал уже в руке усталость: он хотел побороть страх собаки. Она наконец схватила сухарь. Жан Лиотар тут же протянул ей еще один. Собака схватила и его, но лишь после пятого сухаря солдату удалось притронуться к ней. Ощувив на спине его пальцы, собака прижалась к земле и сильно дрожала, пока он гладил ее по голове и за ушами. И вдруг дрогнуло у солдата сердце: собака лизнула ему руку. Он вытащил последний сухарь, разломил его и стал по кусочкам давать собаке, что-то приговаривая; даже когда на ладони не осталось ни крошки, он продолжал говорить и дружески трепать ей уши. Он понимал, что с собакой что-то происходит. Она, казалось, хотела сказать: «Мой господин, мой новый хозяин, я люблю, я боготворю тебя!» Она подошла ближе, потом совсем близко и, подняв острую черную мордочку,

стала лизать солдату лицо. Горячий шершавый язык щекотал ему кожу, и на сердце у солдата стало легче, как будто собачонка зализывала на нем раны. Солдат обнял ее тощее тело, а она торопливо лизала и лизала ему лицо, шею, грудь, словно в душу ему хотела влезть. Палило солнце, среди камней шуршали юркие ящерицы, в листве деревьев шелестели поцелуи ветра, в воздухе носилась всякая мошкара. Стоял тот же летний полдень. Бога, быть может, и не было, но в душу вернулось страдание, и у Жана Лиотара прошла «safard». Он осторожно снял собачонку с колен, встал и потянулся.

— Ну, дружок, надо мне сходить к товарищам. Теперь ты будешь моя.

Она встала на задние лапы и начала передними скрести ему бедро, стараясь снова лизнуть его в лицо и как бы умоляя не бросать ее. И все время виляла хвостом не то от радости, не то заискивая. Солдат взял ее за лапы, поставил на землю и пошел от реки, свистом зовя ее за собой, и она побежала рядом, опустив морду, почти касаясь его ног, задыхаясь от преданности и любви.

НАДЕЖДЫ

Не так давно на юге Англии жили супруги Ральф и Айлин Уотчет. Эта необычная фамилия происходила, как утверждал Ральф, от имени саксонского тана Отчера, упомянутого якобы в Кадастровой книге¹, или, во всяком случае, в других не менее важных исторических документах, поскольку поиски имени тана в Кадастровой книге оказались напрасными.

Ральф, этот потомок тана в тридцатом поколении, был ростом в шесть футов, худой, с пытливыми жадными глазами, улыбкой, которая, кажется, раз появившись, так и осталась навсегда у него на губах, и вьющимися пепельными волосами. Жена Ральфа, румяная и почти такая же высокая, как муж, была из корнуэльской семьи, которая настолько умело хозяйничала на своей земле, что земля словно таяла в их руках. Айлин принесла мужу в приданое имение, которое ее родитель кому-то передал, но которое по истечении определенного срока должно было вернуться к ней, как законной наследнице. Некоторое время они с Ральфом жили на деньги, полученные от заклада этого имения. Кроме того, Ральф Уотчет имел какие-то надежды на будущее. По профессии он был архитектором, но, быть может, из-за этих надежд ему всегда не везло. Только Ральф мог разобраться в лабиринте причин этого невезения. Почему-то его заказчики умирали, становились банкротами, отказывались от зака-

¹ Кадастровая книга — опись всех земель Англии, произведенная в 1085—1086 годах по приказу Вильгельма-Завоевателя.

за — словом, до расчета с ним дело никогда не доходило. Даже жили Уотчеты в доме, построенном для клиента: «эта жирная галка» по необъяснимой причине не захотела в него въехать. Ральф и Айлин свили там гнездышко временно, твердо надеясь переехать в постоянное жилище, как только сбудутся их ожидания.

Удивительно, что, несмотря на все превратности судьбы и пережитые разочарования, они сохраняли твердую уверенность, что в конце концов снимутся с мели и достигнут тихой гавани благополучия. Можно было подумать, что надежда обитала у них в крови.

Уотчеты были люди не жадные и не эгоистичные и умели мириться с лишениями, но, видно, жажда удачи, как микроб, проникла им в кровь. Они настолько были заражены этим микробом, так мечтали иметь то, чего у них нет, что в погоне за бóльшим постоянно теряли то, чем владели. Например, когда Ральф получал заказ, он сразу видел в нем блестящую возможность добиться вершин успеха в жизни при умелом подходе и так раздувал и усложнял проект, что он становился невыполним, или же Ральф в ажиотаже забывал учесть в своих расчетах какую-либо важную деталь, например, повышение цен на кирпич. Когда ошибка обнаруживалась, больше всех удивлялся сам Ральф и считал виноватыми всех, кто имел отношение к делу, всех... кроме себя. Айлин в таких случаях обычно сердилась, но, если кто-нибудь намекал ей, что Ральф «зарвался», она сердилась еще больше. Она была Ральфу верной подругой и, к несчастью, слишком легковерной. Поэтому она вскоре присоединилась к мнению мужа, которому каждый его неуспех представлялся очередным коварством Судьбы, препятствующей исполнению их желаний. То же было и в их домашней жизни. Если Ральф завтракал, что случалось почти каждое утро, у него находилась такая масса замысловатых способов улучшить этот завтрак, что он нередко оставался голодным. Он придумывал особые методы приготовления пищи, которые должны были придавать всякому продукту необыкновенный вкус, и стряпня обычно отнимала у него столько времени, что поесть он уже не успевал.

Кофе, например, Ральф варил с неочищенным яйцом, причем, согласно его рецепту, это питье следовало кипя-

тить так долго, что Ральф выпивал его уже на ходу, спеша к поезду. Айлин приходилось бежать за ним, чтобы взять у него чашку. Каждый из них напоминал котенка, который, зная, что у него есть хвост, кружится весь день в надежде поймать этот заманчивый придаток. Иногда, впрочем, благодаря настойчивости (ее у него было немало, но она обычно была направлена не туда, куда следует) Ральфу все же удавалось добыть кое-что. Но когда это случалось, то еще раньше случалось что-нибудь совершенно им не предвиденное и не только сводило на нет достигнутый успех, но и вызывало дополнительные расходы. Тем не менее Ральф и Айлин сохраняли веру в то, что когда-нибудь они возьмут верх над Судьбой и получат должное.

Пока надежды их еще не сбылись, они решили не обзаводиться детьми, но неожиданно родилось двое. Младенцы, однако, умерли: один не выдержал приготовлений к укреплению его здоровья, которые были слишком хитроумны, чтобы осуществиться, другой погиб именно из-за применения этих мер: малыша усердно пичкали какой-то особо питательной снедью, вызвавшей отравление организма. И Уотчеты остались бездетными.

Им было уже под пятьдесят, когда Ральф однажды утром получил от одного стряпчего извещение о смерти его крестной, тетушки Лиспет. Ральф прочитал это письмо вслух, и они с Айлин целую минуту сидели молча, уставившись в свои тарелки. Их надежды созрели. Наконец-то они без всяких усилий получают что-то! Тетушка Лиспет, которая последнее время жила в Ипсвиче, в доме, случайно построенном не Ральфом, была старая дева. Уотчеты частенько прикидывали, что им достанется после ее смерти, но в этом не было корыстолюбия: им было не жалко, если «бедная старушка» проживет еще несколько лет, хотя они иной раз и думали, что тетушка слишком долго наслаждается жизнью. Они знали, что рано или поздно им достанется это наследство, и когда это случится, надо постараться использовать его как можно лучше.

Наконец Айлин промолвила:

— Ральф, ты должен немедленно ехать туда!

Облачившись в траур, Ральф поспешил на вокзал, но, конечно, опоздал на поезд. Однако ему удалось уехать

в полдень с другим поездом, и к вечеру того же дня он благополучно прибыл в Ипсвич.

Стоял октябрь, на улицах было темно, моросил мелкий дождь. Ральф несколько задержался на вокзале, отыскивая свой билет, который он засунул в перчатку. Эта «жирная ворона», контролер, мог бы и сам увидеть его! Из-за этой задержки Ральф упустил последний кэб и пошел пешком. В доме, куда он пришел, был званый обед, и Ральфу так и не удалось убедить слуг, что он родной племянник их хозяйки, и пришлось отправиться в гостиницу. Отсюда он телеграфировал Айлин, чтобы она ему сообщила правильный адрес, ибо «эти жирные вороны» на улицах Ипсвича не знают, где живет тетушка!

На другой день он получил ответ, и, отправившись по новому адресу, скоро оказался в доме с завешенными окнами. Впустив его, двое слуг рассказали, как умерла их госпожа, и провели в ее комнату. Тетушка Лиспет, нарядно одетая, лежала в гробу. Ральф смотрел на нее с обычной своей улыбкой, никогда не сходявшей с его губ, но с каким-то страхом в глазах. Бедная старушка, как она худа и бледна! А ведь когда-то она слыла красавицей.

Тетушка, умирая, склонила голову немного набок, и на ее лице застыло какое-то цинично-насмешливое выражение. Приглядевшись внимательнее, Ральф увидел, отчего создается такое впечатление: белесые ресницы над одним глазом были приподняты, и глаз казался приоткрытым, как будто тетушка подмигивала кому-то. Ральф поспешно вышел из комнаты и, узнав, что похороны завтра в полдень, отправился в контору стряпчего. Там ему сказали, что стряпчий, согласно последней воле покойной, является единственным душеприказчиком, а он, Ральф,— законным наследником всего имущества, оставшегося после уплаты налогов и долгов. Ральф не мог не порадоваться этому, так как они с Айлин в то время были в особенно стесненных обстоятельствах. Он, однако, подавил это эгоистичное чувство и пошел в отель, чтобы написать жене.

На другой день в десять часов утра он получил телеграмму: «Ради бога, предоставь все делать юристу. Айлин». Телеграмма показалась ему весьма странной.

После похорон Ральф позавтракал со стряпчим, и они вскрыли завещание. Оно было коротко и просто. Тетушка делала распоряжения относительно кружев и драгоценностей, сто фунтов оставляла душеприказчику, а остальное завещала племяннику, Ральфу Уотчету. Стряпчий предложил дать в установленном порядке объявление о долгах, а Ральф мужественно ограничился хлопотами о скорейшем утверждении завещания и передаче тетушкиного состояния в его собственность.

Поздно вечером он уехал домой, к Айлин. Та выслушала его отчет недоверчиво. Она была уверена, что он все-таки сунул нос не в свое дело, а это значило, что все обязательно пойдет вкривь и вкось. Даже если он этого не сделал, то все равно попытается скоро сделать! Теперь, когда их надежды уже сбывались, обычная терпимость, казалось, изменила Айлин.

Уотчеты нередко толковали о доходах тетушки, и в ту ночь они снова заговорили об этом, обдумывая, нельзя ли увеличить ее капитал, удачно переместив его куда-нибудь. Тетушка получала доход с акций «Норвич энд Бирмингэм корпорейшн», а Ральф доказывал, что, приобретя акции какого-нибудь промышленного концерна, можно совершенно безопасно вместо четырехсот в год получать шестьсот. Айлин соглашалась, что это было бы неплохо. Но ничего определенного у них пока не было решено. Теперь, когда появились деньги, им почему-то не хотелось менять квартиру, хотя оба знали, что могут вести более широкую жизнь и поправить свои дела, которые в последнее время находились в чрезвычайно плачевном состоянии. Они даже подумывали о покупке небольшого автомобиля. Ральф слышал, что в одном месте продается подержанный «форд», совсем даром, и твердил, что никак не следует упускать такую возможность. Он постарается встретиться с владельцем и позондировать почву. Ни в коем случае нельзя, чтобы этот тип догадался, что у них появились деньги, иначе он наверняка заломит бешеную цену. И вообще лучше купить этот автомобиль до того, как все узнают о наследстве.

Несколько дней спустя Ральф договорился о покупке автомобиля за восемьдесят фунтов, включая ремонт, который займет не больше месяца. А на следующий день пришло письмо от стряпчего. Он сообщал, что делает

все возможное, чтобы ускорить процедуру. Прошло еще пять недель, и Уотчеты уже привыкли к мысли, что в их жизни свершился переворот и теперь они в надежной гавани.

Они сделали множество закупок, заказали материалы для долгожданного курятника, и Ральф сам помогал сооружать его. Были куплены и куры, причем Ральф уже разрабатывал для них особый способ питания в надежде получать в будущем такое количество яиц, которое намного превысит обычное. Старую конюшню переделали в гараж. Два-три раза в неделю Ральф еще ездил в Лондон присматривать себе дело, которого, как правило, там не находилось.

Проходя с Сент-Понкраса на Рэд-Лайон-сквер, где помещалась его контора, он всегда любовался изумрудным кулоном с перламутровой застежкой, выставленным в витрине одной ювелирной лавки. На этот раз он решил зайти и справиться о цене. «Пятьдесят восемь фунтов, на изумруды большой спрос», — был ответ. Выражение «большой спрос» не давало покоя Ральфу, и он отправился в Хэттон-Гарден, где ему подтвердили это. «Главное преимущество человека с деньгами в том, — размышлял он, — что можно покупать все в подходящий момент». Он давно уже ничего не дарил Айлин, так что не следовало упускать удобный случай. И на обратном пути Ральф купил кулон, потратив на него почти всю свою наличность. Айлин была в восторге. В тот вечер, впервые за много лет, они устроили себе почти настоящий праздник, увенчав этим долгие годы ожидания удачи. Забыты были все трения, которые незаметно создаются между супругами, вынужденными постоянно заботиться о том, чтобы свести концы с концами, и они сидели рядышком в огромном кресле, весело болтая, смеясь над бесчисленными неприятностями, которые подносила им Судьба, эта «жирная ворона». С легким сердцем улеглись они спать.

Наутро их разбудил автомобильный рожок: это доставили вместе со счетом купленный «форд». Ральф не стал платить, заявив, что «все будет в порядке». Он поставил машину в гараж и написал стряпчему, прося сообщить ему о ходе дела и прислать сто фунтов в счет наследства. Через несколько дней, вернувшись вечером

из города, Ральф застал Айлин в столовой непричесанной с письмом в руке. Она посмотрела на него: «Читай!» Ральф взял письмо.

«Юридическая контора Лоджерс и Уэйберн, Ипсвич.

Уважаемый мистер Уотчет!

В ответ на Ваше письмо от пятнадцатого сообщаю, что я официально утвердил завещание, уплатил все долги и распределил имущество в соответствии с волей умершей. Распродажа мебели состоялась в прошлый понедельник. В настоящий момент я имею честь представить при сем полный и, как я полагаю, окончательный отчет, из которого видно, что Вам, как законному наследнику, причитается остаток в сумме сорока трех фунтов. Боюсь, такой результат разочарует Вас, но Вам, вероятно, было ранее известно (я же, к сожалению, не был еще в курсе дела, когда имел удовольствие видеть Вас), что большая часть собственности Вашей тетушки отошла в другие руки по дарственной записи, и весьма вероятно, что она за последние годы неоднократно обращалась к основному капиталу, чем основательно его истощила.

Ваш преданный слуга
Эдвард Лоджерс»

У Ральфа отвисла челюсть, и в наступившем молчании слышалось только частое дыхание Айлин. Лишь через минуту она сказала:

— Ты никогда ни словом не упоминал о дарственной записи и, как всегда, все перепутал!

Ральф ничего не ответил: он был слишком зол на старуху, которая оставила «этой жирной вороне», адвокату, сто фунтов для того, чтобы обеспечить ему, Ральфу, сорок три.

— Ты всегда веришь только в то, во что тебе хочется верить! — воскликнула Айлин. — Ну что ты за человек!

На другое утро Ральф отправился в Ипсвич. После тщательной проверки отчета стряпчего ему удалось увеличить свое наследство на пятнадцать шиллингов, что было значительно меньше расходов на билет, гостиницу и гонорар адвокату за консультацию.

Душевная боль, которую причинил Ральфу поступок тетушки, не поддавалась описанию: как она могла дать ему повод думать, что никакой дарственной записи не было, да еще жить на свой основной капитал! И Ральф, содрогаясь, вспомнил насмешливое выражение лица покойницы. Он вернулся домой, голова у него шла кругом. Поднявшись на другой день утром, он сказал:

— Авось, сумею выручить сотню за нашу машину. Пойду займусь этим делом.

— Захвати и это,—ответила Айлин, подавая ему кулон.

Ральф взял его и тяжело вздохнул:

— К счастью, на изумруды сейчас большой спрос. Я нарочно его купил.

К вечеру Ральф вернулся повеселевший. Он продал автомобиль за шестьдесят пять фунтов, а кулон — за сорок два, очень удачно, потому что изумруды уже упали в цене! Он убедил Айлин, что, получив наследство в сорок три фунта, они после уплаты за птицу и курятник потеряют на всей операции только четырнадцать фунтов. Кроме того, у них останутся куры, а цены на яйца растут. Айлин согласилась, что сейчас подходящее время для птицеводства: можно надеяться на большой доход. И, подняв голову, она прошептала:

— Поцелуй меня, милый!

Ральф поцеловал жену и, улыбаясь своей неизменной улыбкой, с жадной надеждой уставился поверх ее головы на что-то, видимое только ему. В конце концов ведь им достанется ее имение. Оно все-таки когда-нибудь перейдет к Айлин.

МАТЬ ВСЕХ КАМНЕЙ

После обеда пятеро пожилых англичан заспорили о причинах войны.

— Конечно, джентльмены,— сказал Трейверс,— вам лучше знать, но, верьте или нет, а я вам сейчас назову настоящую причину войны.

Трейверс был высокий седой бородач с румяным лицом, маленькими живыми глазами и спокойной, неторопливой речью. На него тотчас обрушился град насмешек, и только мистер Аскью, хорошо знавший Трейверса, сказал, смеясь:

— Ну что ж, послушаем!

Трейверс медленно обвел присутствующих взглядом своих живых глаз и начал застенчиво и неуверенно:

— Так вот, мистер Аскью, эта история приключилась с одним моим большим приятелем в шестьдесят седьмом или в шестьдесят восьмом году. Рей был из тех, что всю жизнь хлопочут, чтобы разбогатеть, да так и остаются ни с чем. Возвращался как-то этот самый Рей на юг из того места, что сейчас называется Бечуаналенд,— он там тогда охотился. Похвастать ему было нечем. И вот однажды вечером он в самом жалком виде забрел в лагерь к какому-то старику буру. Теперь такие буры вывелись. Ферм своих у них не было, и они просто переезжали с места на место со всем добром и ребятишками. Найдут хорошее пастбище, распрягут фургоны и живут себе, пока скотина не поест всю траву, а потом снова в путь-дорогу. Этот старик бур тут же пригласил Рея поужинать с ними, но только одному богу ведомо, что у них там был за ужин,

потому что эти буры самого дьявола слопают без всякого соуса да еще и пальчики оближут. После ужина старик с Реем уселись у входа в палатку — нужно сказать, что в те времена буры-кочевники жили в палатках, — и принялись болтать, покуривая трубочку. Возле них в пыли дети играли камешками. Камешки были круглые, три или четыре штуки, и дети подбрасывали их, стараясь подхватить вместе с камнем, который они называли на своем языке Моег-Клir, что значит «мать камней». Раз, два — поймали, два, три — поймали, — вы ведь, наверное, знаете эту детскую игру в шарики. Солнце стало садиться, и тут Рей заметил, что эта самая «мать камней», в которую дети бросали камешки, вдруг заблестела. Тогда Рей заинтересовался и спросил старика бура, что это за камень такой у детей. Старик поглядел на камень, поглядел на Рея, да и говорит: «Камень как камень» — и снова задымил трубкой.

Рей встал на колени, поднял камень и взвесил его на ладони. Камень был величиной с орех, а по виду... по виду он походил на квасцы. И чем дольше Рей смотрел на него, тем увереннее думал: «А ведь это, ей-богу, алмаз!»

Наконец он спросил старика, где дети взяли этот камень. Старик ему отвечает: «Камень-то? Пастух где-то подобрал». А Рей опять: «Где подобрал?» Старик махнул рукой: «Там, на холме, за рекой. Да откуда мне знать, брат? Ведь камень он и есть камень». Рей ему тогда сказал: «Разрешите мне взять его с собой». Старик знай себе курит, а потом и говорит: «Что один камень, что другой — какая разница? Бери, брат». Тогда Рей сказал: «Если этот камень то, что я думаю, я заплачу вам половину тех денег, что мне за него дадут». Старик улыбнулся: «Ладно, брат, бери его, бери!»

Наутро Рей пошел дальше. На прощание он сказал буру: «Знаете, по-моему, это ценный камень!» А старик только улыбнулся, он-то знал: что один камень, что другой — все они одинаковы.

В первом же городке, куда он пришел (это был С...), Рей снял комнату в гостинице. Вечером он стал рассказывать о камне, но все над ним только подсмеивались, потому что в те дни никто и слыхом не слыхал об алмазах в Южной Африке. Тут Рей рассердился, вытащил

камень и всем его показал. Но никто не поверил, что это алмаз, и все стали еще пуще смеяться над ним. И только один человек сказал, что если это алмаз, он должен резать стекло.

Рей взял камень и вырезал им свое имя на оконном стекле. Я сам видел это окно в баре гостиницы. И что вы думаете: на следующее же утро Рей отправился обратно, прямо туда, где, по словам старого бура, пастух нашел этот камень. Пришел он к туземному вождю по имени Джойнти и говорит: «Джойнти, я уезжаю. А пока меня не будет, ты пошли своих ребят, чтобы они искали вот такие блестящие камешки. И если ты к моему возвращению насобираешь их мне побольше, я дам тебе ружье». Джойнти сказал: «Ладно, хозяин».

Рей поехал в Кейптаун и отнес камень к ювелиру, и ювелир сказал, что это алмаз в тридцать или сорок каратов, и дал за него Рею пятьсот фунтов. А Рей купил фургон и упряжку быков для старика бура и вернулся к Джойнти. К тому времени черномазые насобирали ему полные мешки всяких камней, и среди них Рей обнаружил три или четыре алмаза. Он принялся за дело, взял себе в компанию одного малого, который дал ему денег, и вдвоем они расшевелили правительство. Началась суматоха, сначала нашли то местечко возле Кимберли, потом Де-Берс, а потом и самый Кимберли.

Трейверс умолк и обвел присутствующих взглядом.

— Рей, надо полагать, разбогател?

— Нет, мистер Аскью. Бедняге почти ничего и не досталось. Таким всегда не везет.

— Но какое все это имеет отношение к войне?

Трейверс снова обвел всех взглядом и произнес еще медленнее:

— Не играй тогда дети в камешки, разве была бы найдена «мать камней»? Не будь этой «матери камней», разве был бы Кимберли? Не будь Кимберли, разве был бы Родс? Не будь Родса, разве был бы Рейд? Не будь Рейда, разве стали бы буры вооружаться, а не начини буры вооружаться, разве началась бы англо-бурская война? А не будь англо-бурской войны, разве произошел тот инцидент, когда мы задержали два немецких судна, и разве разгорелись бы в Германии страсти, так что в 1900 году кайзер начал строить флот? Не по-

строй немцы флота, разве зазнались бы они до того, что бросили вызов всему миру, и разве началась бы война?

Трейверс медленно вынул руку из кармана и положил ее на стол. На мизинце у него сверкал огромный брильянт.

— Мой отец,— сказал он,— купил его у того ювелира.

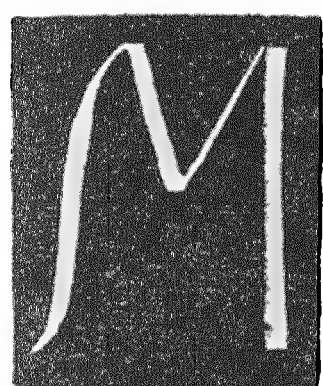
Камень «мать всех камней» мерцал и переливался, а пятеро англичан молча смотрели на него, не отводя глаз. Кое-кто из них прошел через англо-бурскую войну, а сейчас у троих на фронте были сыновья. Наконец кто-то сказал:

— Да, вот это в полном смысле слова называется увидеть творца в капле росы. А как же старик бур?

Глаза у Трейверса заблестели.

— Рей рассказывал мне,— сказал он,— что старикан поглядел на него так, будто думал, что тот сделал ужасную глупость, купив ему фургон. Потом кивнул головой и сказал, посмеиваясь в бороду: «Желаю тебе удачи с камнем, брат». Старого бура не проведешь. Уж он-то знал: что один камень, что другой — все они одинаковы.

1904—1919 гг.



МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ

САНТА-ЛЮЧИЯ

Возвращаясь в отель из англиканской церкви в Монте-Карло, старый Тревильтен остановился у поворота дороги, чтобы дать отдых ногам. Сквозь ветви мимозы впереди виднелось ярко-синее море, и Тревильтен остановил на нем затуманенный взгляд старчески тусклых глаз.

Монте-Карло переменялось, но море было все такое же, как сорок пять лет назад, когда он впервые приехал сюда: синее, гладкое, безмятежное. И Тревильтену, человеку по натуре консервативному, это было приятно. За эти годы он женился, нажил немало денег, еще больше унаследовал, детей «поставил на ноги», как выражаются американцы, и они разлетелись — все, кроме дочери Агаты, а он овдовел и нажил старческую астму.

Теперь они с дочерью, как перелетные птицы, ежегодно покидали «Кедры», свою усадьбу в Гертфоршайре, и уезжали на Ривьеру. Жили обычно в Ницце или в Каннах, но на этот раз выбрали Монте-Карло: у Агаты была здесь приятельница, жена местного священника.

Их пребывание на Ривьере подходило к концу, да и апрельское солнце стало пригревать горячей.

Тревильтен провел тонкой рукой по худощавому загорелому лицу; его густые брови были еще черны, поседела только остrokонечная бородка, казавшаяся еще белее под коричневой широкополой шляпой. Она делала его похожим больше на испанца, чем на директора Английского банка. Тревильтен любил говорить, что в жилах лучших корнуэльских семей течет испанская кровь, но

какая—иберийская или армадесская,—этого он не указывал. Во всяком случае, теория эта хорошо уживалась с его педантичностью, которая год от года усиливалась.

Агата простудилась и осталась дома, поэтому Тревильтен отправился в церковь один. Жалкое зрелище! До чего распущены собравшиеся здесь англичане. Среди паствы, которой он сегодня утром читал тексты священного писания, он заметил, например, старого негодяя Телфорда; в свое время тот два раза убегал с чужими женами, а сейчас, по слухам, живет с французенкой. Что ему делать в церкви? Или чета Гедденхэмов, изгнанная из общества, владельцы виллы возле Рокебрюна. Эта женщина носит фамилию Гедденхэма, но они не венчаны — ведь законная жена Гедденхэма еще жива. А особенно неприятно было видеть миссис Ральф. До войны она с мужем — он сейчас в Индии — часто приезжала в ноябре в «Кедры» поохотиться. Говорят, теперь за ней волочится молодой лорд Чешерфорд. Конечно, все это кончится скандалом! Тревильтену всегда неприятно было встречаться с этой женщиной, с которой его дочь была дружна. Соломенные вдовы опасны, особенно в таком месте, как Ривьера. Нужно намекнуть Агате. Людям с такой сомнительной репутацией не следовало бы появляться в церкви, думал он. Но как же можно порицать людей за то, что они ходят в церковь? Впрочем, большинство из них не ходит! Светский человек, как бы благочестив он ни был, может общаться с кем угодно, но совсем другое дело, когда люди сомнительной репутации встречаются с женщинами из твоей семьи или вторгаются в святая святых твоих верований. У таких людей нет чувства приличия. Да, непременно надо будет поговорить с Агатой!

Дорога шла в гору, и Тревильтен осторожно, чтобы не вызвать кашель, вдыхал напоенный мимозой воздух. Он уже собирался идти дальше, когда на другой стороне дороги заиграла шарманка. Крутивший ее ручку хромым мужчиной был, как большинство здешних шарманщиков, итальянец, усатый, с бегающими глазами. Тащил тележку, как обычно, серый ослик; певица — уже вошедшая в поговорку смуглая дева в оранжевой косынке; песня, которую она пела,—неумирающая «Сан-

та-Лючия». Ее резкий голос выделял полнозвучные металлические «а», которые, казалось, ударили по воздуху, как молоточки по струнам цимбал. Тревильен был любитель музыки и в казино ходил, чтобы послушать концерт, хотя чаще оказывался в игорных залах — не за тем, разумеется, чтобы рискнуть одной или двумя пятифранковыми монетами, ибо он не одобрял игру, а только потому, что царящая там пестрота и распушенность приятно щекотали его чувство благопристойности, и он чувствовал себя мальчишкой, вырвавшимся на часок из школы. Тревильен умел различать несколько мелодий и знал, что шарманка играет не «Боже, храни короля», не «Правь, Британия», не «Типперэри» и не «Фуникули-Фуникула!» Эта мелодия имела какое-то до странности близкое ему звучание, как будто в какой-то иной жизни она была биением, бурным ритмом его собственного сердца. Странное чувство, удивительно странное чувство! Тревильен стоял, задумчиво щуря глаза. Разумеется, он узнал песенку, как только услышал слова «Санта-Лючия», но не мог припомнить, когда же, в каком далеком прошлом эти звуки пробудили в нем что-то глубокое, жаркое, почти дикое и в то же время сладкое и влекущее, как неведомый плод или аромат тропического цветка? «Сан-та-Лючи-и-я! Сан-та-Лючи-и-я!» Что это? Нет, не вспомнить! И все же воспоминание было так близко, почти осязаемо!

Девушка перестала петь и подошла к нему; оранжевая косынка, блестящие бусы, сверкающие белки глаз и смеющийся рот, полный зубов, придавали ей задорный вид. Все они такие, эти романцы: экспансивные, легкомысленные и, вероятно, нечисты на руку — вообще, низшая раса! Тревильен порылся в карманах, дал девушке франк и медленно двинулся дальше.

Но на следующем повороте он снова остановился. Девушка в благодарность за его франк опять запела: «Санта-Лючия». Что же это? Какие воспоминания были погребены в нем под опавшими листьями прошедших долгих лет?

Тревильен стоял у низкой садовой стены, и над головой его висели розовые кисти мастикового дерева. Воздух был словно пронизан их тонким, пряным запахом, этим подлинным ароматом юга. И снова ощущение чего-то

пережитого в прошлом, чего-то сладостного, острого и жгучего перехватило ему горло. Что это? Какой-то забытый сон или мечта? Или он грезит под стоны шарманки и звуки песни? Взгляд Тревильена упал на кактусы и алоэ над низкой розовой стеной сада. Вид этих буйно разросшихся кустов как бы встряхнул его память, и он почти вспомнил... что? Прошел какой-то юноша с желтой сигаретой во рту, оставив позади запах «Латакии», табака его молодости, — когда-то он тоже курил сигареты из его темных пахучих листьев. Тревильен рассеянно всматривался в полустершуюся надпись на ветхой калитке сада и читал ее вслух по слогам: «Вил-ла-Бо-Сит». Вилла Бо Сит¹! Господи, наконец-то вспомнил! Он воскликнул это так громко, что ему самому стало смешно, и улыбка облегчения разбежалась сеточкой морщин вокруг глаз, тронула худые смуглые щеки. Он подошел к воротам. Какая странная случайность! Положив на перекладину ворот свой молитвенник, Тревильен всматривался в запущенный сад, словно пытался разглядеть что-то за туманом сорока пяти лет. Потом, опасливо оглядев дорогу, как мальчишка, который собирается лезть за вишнями в чужой сад, он поднял щеколду и вошел.

По всей вероятности, здесь никто не жил. Ярдах в шестидесяти от ворот, среди сада, виднелась старая родовая вилла; ставни были закрыты, краска местами облупилась. Бо Сит! Да, так она называлась! Через эту калитку он, невидимый из окон дома, когда-то входил в сад. Вот и маленький фонтан с головой химеры — теперь камень разбит и покрылся зеленью, но изо рта чудовища по-прежнему капает вода. А вот старая каменная скамья, как часто он расстилал на ней свой плащ! Вокруг все заросло, все; листья сирени, мимозы и пальм сухо шелестели, когда их тихонько шевелил ветерок. Тревильен раскрыл молитвенник, положил его на скамью и осторожно уселся на нем: он никогда не садился на голый камень. Он словно перенесся в другой мир; разросшиеся кусты и спутанная листва защищали его от чужих глаз, и Тревильен чувствовал, как тает почти полувековой лед. И как бы против воли, он жадно стал вспо-

¹ Beau Site — красивый вид (франц.).

минать, сидя на своем молитвеннике в тени густых цветущих деревьев.

Тогда ему было двадцать шесть лет, и он только что вступил компаньоном в банк, принадлежавший их семье,— этакий неоперившийся еще делец! Тогда же он перенес простуду, начались приступы бронхита, результаты которого нередко давали о себе знать и теперь. В то время он, как и подобало истинному денди, даже промозглой лондонской зимой носил тонкое белье и ходил без пальто. На пасху он все еще кашлял и потому взял трехнедельный отпуск и билет в Ментону. Его кузен был помолвлен с русской девушкой, у родителей которой была там своя вилла, и Тревильен поселился по соседству в небольшом отеле. Русские того времени напоминали героев тургеневских романов, которые Агата потом давала ему читать. Ростакovy, мать, отец и две дочери, были приятной дворянской семьей, где говорили на трех языках. Как, бишь, они звали его? Филипп Филиппович! Господин Ростакoв, бородатый, толстогубый, отличный рассказчик остроумных французских анекдотов, которые молодой Тревильен не всегда понимал, был большой любитель покушать и выпить и, как говорили, весьма опытный ловелас. Мадам Ростакoва, урожденная княжна Ногарина (в роду у нее были татары), увлекалась спиритизмом. Похождения господина Ростакoва и вера в переселение душ преждевременно состарили ее. Старшей дочери, Варваре, той, что была помолвлена, только что минуло семнадцать; у нее были темно-серые доверчивые глаза, широкое серьезное лицо, темные волосы. Прямотушие ее почти пугало Тревильена. Младшая дочь, Катерина, голубоглазая и белокурая, с вздернутым носиком и вечно смеющимся ртом, хотя тоже очень рассудительная, была очаровательна, и смерть ее от брюшного тифа спустя три года потрясла Тревильена. Обаятельная семья, приятно вспомнить о них через столько лет! Теперь нигде не сыщешь такой русской семьи—они исчезли, сгнули с лица земли. Их поместья находились где-то... где-то на юге России, а под Ялтой у них был дом. Космополиты — и все же настоящие русские с их «самоваром» и «закуской» (слово, которое он, Тревильен, так и не научился писать), стопочками водки для господина Ростакoва и бутербродами с икрой,

которые девицы обычно брали с собой, отправляясь на осликах в Горбио, Касстеляр или Бель Энду в сопровождении гувернантки, приветливой молодой немки. Немцы тогда тоже были совсем другие! Как изменилась жизнь! Девушки верхом, в широких юбках и с зонтиками от солнца, воздух, не отравленный парами бензина, экипажи, запряженные маленькими лошадками в блестящей сбруе с звенящими колокольчиками, священники в черном, солдаты в ярких штанах и желтых киверах и нищие, множество нищих.

Девушки собирали полевые цветы и засушивали их, а вечером, бывало, Варвара вдруг посмотрит на него своими задумчивыми глазами и спросит, верит ли он в загробную жизнь. В ту пору, насколько Тревильен помнил, он ни во что серьезно не верил. Верования и убеждения появились позднее, вместе с увеличением доходов, семьи и деловой ответственности. Варвару огорчало, что он думал о спорте и костюмах больше, чем о своей душе. Русские тогда, кажется, были чрезвычайно заняты всем, что касалось души,— это, разумеется, прекрасно, но это не тема для разговоров. И тем не менее первые две недели, которые Тревильен прожил там, были настоящей идиллией. Он вспомнил — непонятно, как такая мелочь осталась в памяти,— один воскресный день, пляж у мыса Мартина. Он смахнул платком песок с ботинок, и Варвара сказала: «А потом этот платок к носу, Филипп Филиппович?» Она все время говорила что-нибудь такое, от чего он чувствовал себя неловко. А год спустя в разрисованном незабудками письмеце Катерина напомнила ему, как он тогда покраснел! Очаровательные были девушки, простые, в наши дни таких нет, исчезла свежесть души. Они и тогда считали Монте-Карло вульгарным, а что они сказали бы сейчас, о боги! Даже господин Ростак, этот *viveur*¹, человек, который вел двойную жизнь, бывал там только тайком. Тревильен вспомнил, как под влиянием этой идиллической атмосферы и страха перед взглядом Варвары он со дня на день откладывал посещение знаменитого казино, покуда однажды вечером, когда у мадам Ростаквой была мигрень, а девушки отправились в гости, он, прогу-

¹ Прожигатель жизни (франц.).

ливаясь, дошел до станции и сел в поезд, шедший в Монте-Карло. Как отчетливо помнилось все: извилистая тропа через парк, чудесный тихий вечер, теплый и благоуханный, и оркестр в казино, исполнявший любовный дуэт из «Фауста» — единственной оперы, которую Тревильен хорошо знал. Темнота, которой придавали что-то необычное экзотические растения вокруг и мерцающие в ней золотые огни фонарей, а не этот бьющий в глаза, белый электрический свет, глубоко волновала Тревильена, потому что, несмотря на юношеское стремление казаться денди, в нем крепко сидел всосанный с молоком матери и укрепленный воспитанием пуританизм. Это было все равно как вознестись на... ну, не совсем, конечно... на небо! (Старый Тревильен засмеялся в седую бороду.) С замирающим сердцем входил он в игорный зал. В ту пору он не мог швырять деньги, видит бог, их не было, ибо отец строго ограничивал его содержание четырьмя сотнями в год, а в банке он проходил еще стадию ученичества. Потому у него лишних денег было всего десять или двадцать фунтов. Но по возвращении в Англию услышать от приятелей: «Как? Ты был в Монте-Карло и не играл?» — казалось ему невыносимым.

Первым впечатлением от игорного зала было разочарование. Внутреннее убранство кричащее и безвкусное, публика сплошь иностранцы, не внушающие доверия, противные. Некоторое время Тревильен стоял, слушая звон монет о лопаточки и гнусавые восклицания крупье. Потом он подошел к столу и стал следить за незнакомой ему игрой. Во всяком случае, игра была такая же, как и теперь, не изменилось и выражение на лицах игроков — хищное, жадное, слепая сосредоточенность краба, в которой не было ничего человеческого. И как много старух! Тревильен все стоял, а нервное возбуждение уже туманило рассудок, зудели пальцы, ему не терпелось скорей начать игру. Но он был застенчив. Все эти люди играли с таким холодным спокойствием и, казалось, так привыкли ко всему в игорном зале! Наконец он перегнулся через плечо сидевшей перед ним темно-волосой дамы, положил пятифранковую монету и выкрикнул: «Vingt!»¹. Лопаточка крупье подтолкнула моне-

¹ Двадцать! (франц.)

ту к номеру. Шарик покатился. «Quatorze, rouge, pair et manque»¹.

Лопаточка загребла его монету. Но теперь он, Филипп Тревильен, играл в Монте-Карло, и ему сразу же почудилось, будто он видит недоумение в правдивых глазах Варвары и слышит ее голос: «Играть? Но это же глупо, Филипп Филиппович!» Мужчина слева поднялся из-за стола, и Тревильен быстро сел на его место. Он знал, что, заняв место за столом, он должен играть. Поставил пять франков на черное и выиграл. Теперь он отыгрался и, продолжая с переменным успехом ставить небольшие суммы, начал вглядываться в лица соседей. Слева от него сидел краснолицый, с пухлыми губами старик англичанин во фраке — он ставил золотые монеты и, по всей видимости, был в большом выигрыше; напротив примостилась похожая на хищную птицу старуха с крючковатым носом, в какой-то невероятной шали и мужчина в сюртуке, напоминавший греческого бандита. Направо от Тревильена сидела та дама, темноволосая дама, над которой он наклонился, когда ставил первую ставку. От нее исходил приятный запах жасмина. На столе перед ней лежали фишки и шесть-семь золотых монет, но она, казалось, перестала играть. Уголкем глаза Тревильен изучал ее профиль. Она была, конечно, самой привлекательной женщиной из тех, кого он видел здесь. И он сразу потерял интерес к судьбе своих пятифранковиков. Под тонкими, слегка сдвинутыми черными бровями он видел темные, бархатные глаза незнакомки. Ее заостренное книзу тонкое лицо было слегка припудрено по здешней моде. На ней было низко вырезанное платье, черный кружевной шарф, накинутый на ослепительно белые плечи. В волосах сверкало какое-то украшение. Эта женщина была не англичанка, но он не мог определить ее национальность. Дважды поставив на черное, он оба раза выиграл, удвоил ставку и заметил, что незнакомка тоже ставит золотую монету на черное. Снова на черное пал выигрыш, и снова Тревильен, а за ним и его соседка удвоили ставки. Ему было приятно, что удача как-то связывает их. Эх, будь что будет, он не станет снимать выигрыш! Снова и снова ставит он на

¹ Четырнадцать, красное, чет и недобор (франц.).

черное, выигрывает уже восьмой раз и опять удваивает ставку, и незнакомка тоже продолжает ставить на черное. Перед ними уже высятся горки золота. Глаза старухи, похожей на ястреба, вылезли из орбит, как у рака, а недобрая усмешка на тонких губах словно говорила: «Подождите, все спустите». Запах жасмина от соседки Тревильена становился все сильнее, словно усиливаясь от ее растущего волнения, и Тревильен видел, как вздымалась ее белая грудь под черными кружевами. Она протянула было руку, чтобы забрать выигрыш. Тревильен, бравируя, сидел неподвижно. Она быстро посмотрела на него и отдернула руку. Шарик покатился. Черное! Тревильен услышал вздох облегчения. Незнакомка прикоснулась к его руке. «Retirez,—прошептала она.—Retirez, monsieur!»¹—и, собрав деньги, поднялась. Тревильен секунду колебался, но, подумав: «Если я останусь, то потеряю ее из виду»,—забрал выигрыш и вышел из-за стола. Начав с пятифранковой монеты, он за девять удачных кругов выиграл свыше ста фунтов. Его соседка, поставив луидор, выиграла за семь игр, должно быть,—он быстро подсчитал в уме—не меньше, чем он. «Seize, rouge, paire et manque»². Вовремя! Довольный, Тревильен отошел от стола. Невдалеке он увидел изящную фигуру незнакомки, которая пробиралась через толпу, и, не желая терять ее из виду, однако без какого-нибудь осознанного намерения, последовал за ней. Незнакомка замешкалась, и Тревильен оказался так близко от нее, что ему стоило большого труда сделать вид, будто он не замечает ее. Но она обернулась и увидела его. «Ах! Мерси, мсье! Я очень вам признательна»,—сказала она с акцентом. «Это я должен благодарить вас!»—пролепетал он. Темноволосая дама улыбнулась. «У меня есть чутье,—сказала она на ломаном английском языке,—но только для других, а не для себя. Мне не везет. Вы играете впервые, сэр? Я так и думала. Никогда не играйте больше. Обещайте мне это, и я буду очень рада».

Она смотрела ему прямо в глаза. Никогда в жизни он не видел ничего обворожительнее этого лица с лег-

¹ Забирайте... Забирайте, мосье! (франц.).

² Шестнадцать, красное, чет и недобор (франц.).

кой дразнящей улыбкой и фигуры в черном кружевном платье, пышно спадавшем с бедер по испанской моде, и шарфе, накинутом на плечи. И тогда он произнес фразу, которая потом показалась ему такой вычурной:

— Я буду счастлив обещать все, что может быть вам приятно, мадам.

Она захлопала в ладоши, как обрадованный ребенок.

— Вот и прекрасно. Теперь я расплатилась с вами.

— Разрешите вызвать вашу карету?

— Я иду пешком, мосье.

С отчаянной решимостью он произнес:

— В таком случае вы позволите сопровождать вас?

— Пожалуйста.

Тревильтен, сидя на своем молитвеннике, весь ушел в воспоминания. Что он чувствовал, что думал, о чем мечтал, пока незнакомка ходила за своим пальто? Кто она, откуда? В какой водоворот затягивает его? Как близок был он к бегству назад, к тихой идиллии, к пыливой прямоте Варвары, к веселой наивности Катерины! Но незнакомка уже стояла подле него. Волосы ее и лицо были скрыты под кружевным шарфом, как у восточных женщин, и пальцы ее скользнули к нему под локоть. Какая это была прогулка! Как будто идешь в неизвестное; удивительная близость, и в то же время они ничего не знали друг о друге. Возможно, у каждого бывают в жизни такие минуты чистейшей романтики, когда отважно идешь на все. Тревильтен едва удерживался от того, чтобы не пожать эту тонкую руку. Он старался сохранить величайшую деликатность, достойную трогательной доверчивости его дамы. Кто она: итальянка, испанка, полька, цыганка? Замужняя или вдова? Она ничего не рассказывала, а он не спрашивал. То ли инстинкт, то ли застенчивость заставляли его молчать, но голова у него шла кругом. Никогда еще не было ночи столь благоуханной и такого звездного неба. Казалось, что в целом мире их только двое — он и эта женщина. Они подошли к этому самому саду, и, открывая калитку, она промолвила:

— Вот мой дом. Вы были очень любезны, мосье.

Она высвободила руку, легко лежавшую на его

рукаве. Тревильен с некоторым удивлением вспомнил, как он тогда поцеловал ее пальцы.

— Всегда к вашим услугам, мадам.

Губы незнакомки приоткрылись, во взгляде была такая лукавая прелесть, какой он никогда еще не видел у других женщин.

— Я играю каждый вечер. До свидания.

Он слышал, как удалялись по дорожке ее шаги, видел, как загорелись огни в этом доме, который сейчас был заброшен и пуст, ждал, пока огонь погас. Уходя, он старательно вспоминал, как шел сюда из казино, пока не убедился, что всегда, днем или ночью, найдет дорогу к калитке этого сада...

В заросли, где он сидел, залетел ветерок, и сухо зашелестели пальмовые листья. *On fait des folies*¹ — как говорят французы. Ох, и распушенный же народ эти французы! Интересно, что переживают молодые люди, когда они «безумствуют»? Старый Тревильен сорвал веточку сирени и задумчиво поднес ее к носу, он как бы искал объяснений безумию молодости. Каким он был тогда? Худой, как щепка, загорелый, чем он немало гордился, маленькие черные усики, одет по последней моде. Воспоминания о том, как он выглядел в молодости, согревали Тревильена, зябкого, как все старики. «*On fait des folies*». Весь следующий день ему было не по себе в доме Ростковых от вопросительного взгляда Варвары, и он под каким-то предлогом увильнул от вечернего посещения. Ах, куда девалось его твердое намерение разузнать все о темноволосой даме, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку для доверчивых иностранцев и чтобы не скомпрометировать ее или себя? Все вылетело из головы у Тревильена, как только он увидел незнакомку, и за три недели он так и не узнал о ней ничего, кроме имени — Инесса; не говорил он и о себе, как будто оба они чувствовали, что неведение придает особое очарование их встречам. Когда он понял, что нравится ей? На второй день или, может быть, на третий? Как она смотрела на

¹ Люди безумствуют (франц.).

него! Как ее плечо льнуло к его плечу! На этой самой скамье, разостлав плащ, чтобы уберечь ее от простуды, он шептал ей бурные признания. Не свободна! Такая женщина не могла быть свободной. Но разве это остановило его? Лишение наследства, изгнание? Не все ли равно? Все эти соображения сгорали, как соломинки, в пламени его чувств, когда он сидел подле нее во мраке, прижавшись к ее плечу и обнимая ее. Она смотрела на него грустно и насмешливо, потом целовала в лоб и ускользала в темноту сада. О боже! А после этого какая была ночь! Сгорая от страсти, он до рассвета бродил по берегу моря. Забавно вспомнить те дни, чертовски забавно! Какую власть имеет женское лицо! С некоторым неудовольствием Тревильтен вспомнил, что за все недели этого безумия он ни разу не видел ее лица днем. Разумеется, он сейчас же покинул Ментону, чтобы скрыть свое состояние от доверчивых глаз девушек и циничного взгляда старого жуира, их отца. Он не вернулся домой, хотя отпуск его уже кончился: он еще был сам себе хозяин благодаря выигрышу. А там — хоть потоп! И в самом деле, однажды вечером, когда он ждал ее, с неба потоками хлынул дождь и промочил его до нитки. И вот после этой дождливой ночи, помешавшей их свиданию, она ответила на его страсть... Ах, сумасшедший чертенок! Как безумны были их ночи под этими самыми деревьями у старого фонтана! Сколько раз он сидел здесь, на этой скамье, а сердце стучало, трепетало, терзалось ожиданием! Как метался он на скамье!.. Боже! Как безрассудны молодые люди! И все же... бывали ли у него за всю жизнь еще когда-нибудь такие бурные и сладостные дни? Такие недели, воспоминания о которых и теперь будили в нем юношеский пыл. Потирая худые руки с набухшими венами, Тревильтен подставил их под солнечный луч и закрыл глаза... Там, войдя через калитку под тень деревьев, в черном платье, как всегда, шла она; вот она у скамьи, нагибается и прижимает его голову к груди — он видит ее сияющую белизной шею. Сквозь шелест пальмовых листьев доносится давно умолкший шепот двух голосов, биение двух сердец... Истинное безумие! И он внезапно почувствовал боль в пояснице. Последнее время невралгия не досаждала ему.

Проклятие, опять приступ! Откуда-то из-под ноги выско-чила ящерица и замерла на солнышке, склонив голову набок и глядя на него; странное существо, такое проворное и как будто засушенное...

А потом — конец! Тогда он считал Инессу воплощением жестокости. Теперь он понимал, как мудро и милосердно она поступила. Честное слово! Она задула пламя тех недель, как свечу. Исчезла! Пришла ниоткуда и ушла неведомо куда, дала ему, измученному, опаленному страстью, возможность вернуться в Англию, к банковской рутине, к общественной и моральной устойчивости столпов общества...

Как эта ящерица, что, шевельнув хвостом, исчезла под опавшими листьями, так исчезла и Инесса, будто ее поглотила земля. Любила ли она его так, как он любил ее? Знают ли женщины этот пожирающий огонь страсти? Тревильтен пожал худыми плечами. Казалось, она знала, но... кто скажет? Станный народ женщины.

Две ночи сидел он тогда здесь, ожидая ее, изнемогая от беспокойства и тоски. Третий день он до самой ночи следил за виллой: дом был покинут, заперт, ставни закрыты, ни звука, ни единого живого существа, кроме белого кота с желтыми пятнами. Даже сейчас Тревильтену стало жаль себя, когда он вспомнил ту последнюю ночь ожидания. Он слонялся здесь еще три дня, искал Инессу в казино, в парке, у дома. Ее нигде не было!.. Нигде!

Тревильтен встал и опять почувствовал боль в пояснице. Он осмотрел скамью и раскрытый молитвенник. Неужели он сдвинул его и сидел на сыром камне? Нахмурившись, он принялся суеверно разглаживать чуть помявшиеся листы. Потом, закрыв книгу, направился к калитке. Были ли те часы страсти самыми светлыми или самыми горестными в его жизни? Тревильтен этого не знал.

Он вышел из сада и зашагал по залитой солнцем дороге. Завернув за угол, он вдруг остановился: перед ним была старая вилла. «Вот здесь я стоял,— подумал он,— именно здесь. Откуда этот кошачий концерт? А, опять та девушка и шарманка! Неужели? Да, так было!»

В то далекое утро, когда он в отчаянии стоял здесь, тоже играла шарманка. Тревильтен как будто видел ту шарманку, и обезьянку на ней, и женщину, которая пела ту же глупую песенку! С тяжелым чувством скуки и обиды он отвернулся и пошел прочь. О чем это он раньше думал? Ах, да, о миссис Ральф и о том молодом бездельнике Чешерфорде! Надо предупредить Агату, обязательно предупредить. Все они здесь такие распушенные и легкомысленные!

РВАНЫЙ БАШМАК

На следующий день после премьеры пьесы «Проскочили пороги», которую ставила заезжая труппа на Восточном побережье, актер Гилберт Кейстер, игравший в последнем акте доктора Доминика, в полдень вышел на прогулку из пансиона, где он поселился на время гастролей. Кейстер почти полгода был «не у дел», и хотя он знал, что четыре фунта в неделю не сделают его богачом, все же в его манерах и походке появились некоторая беспечность и самодовольство человека, получившего наконец работу.

У рыбной лавки Кейстер остановился и, вставив в глаз монокль, с легкой усмешкой стал разглядывать омаров. Целую вечность он не лакомился омарами! Помечтать об омарах можно и без денег, но этого эфемерного удовольствия хватило ненадолго, и Кейстер пошел дальше. У витрины портного он снова остановился. Здесь он живо вообразил себя в костюме из того добротного твида, что лежал на окне, и одновременно в стекле витрины увидел себя в коричневом выцветшем костюме, который остался у него от пьесы «Мармедьюк Мандевиль», поставленной за год до войны. Солнце в этом проклятом городе светило слишком ярко и безжалостно обнажало вытертые петли и швы, лоснящиеся локти и колени. И все же Кейстер испытывал некоторое эстетическое удовольствие, глядя на отражение стройной фигуры мужчины, который долгое время ел только раз в день, с моноклем, вставленным в приятный карий глаз, и в велюровой шляпе — трофее, доставшемся ему после

спектакля «Воспитание Саймона» в 1912 году. Стоя перед окном, Кейстер снял шляпу, ибо она скрывала нечто новое, к чему он еще не знал, как отнестись, — *mêche blanche*¹. Что это: достижение или начало конца? Седая прядь была зачесана назад и очень выделялась среди темных волос над смуглым лицом, которое сам Гилберт Кейстер всегда с интересом изучал. Говорят, седина — следствие атрофии чего-то в нервной системе или потрясения, результат войны или недостаточного питания тканей. Правда, седина облагораживает... но все же...

Кейстер пошел дальше, и ему показалось, что мимо промелькнуло знакомое лицо. Он оглянулся и увидел, что на него смотрит франтовато одетый человечек с веселым, круглым и румяным лицом херувима — такие лица бывают у постановщиков любительских спектаклей.

— Черт возьми, да это же Брайс-Грин!

— Кейстер? Ну, конечно, это вы! Не встречал вас с тех самых пор, как вы ушли от нас. А помните наш балаган? Сколько было потехи, когда мы ставили «Старого ворчуна»! Честное слово, рад видеть вас! Вы заняты? Идемте, позавтракаем вместе.

Брайс-Грин, состоятельный человек и меценат, был душой общества на этом приморском курорте.

— С удовольствием, — сказал Кейстер медленно, с легкой небрежностью.

А внутренний голос торопливо подсказывал: «Эге, мой милый, тебя, кажется, сейчас покормят!»

Они шагали рядом, один — элегантный, хотя и сильно потрепанный, другой — кругленький, одетый с иголочки.

— Вам знакомо это заведение? Зайдемте сюда! Филлис, два коктейля и бутерброды с икрой. Это мой друг, мистер Кейстер. Он выступает здесь. Вам следует посмотреть его на сцене.

Девушка, подававшая коктейли и икру, с любопытством подняла на Кейстера голубые глаза. Ах, как это ему было приятно! Ведь он полгода не играл.

— Ну, какая это роль! — протянул он небрежно. — Я

¹ Седая прядь (франц.).

согласился на нее просто э... э... чтобы заполнить брешь.

А под жилетом отозвалась пустота: «Да, да, меня тоже надо заполнить».

— Давайте перейдем в ту комнату, Кейстер! Захватите свой коктейль. Там никто нам не мешает. Что будем есть, омара?

— Люблю омаров,— пробормотал Кейстер.

— Я тоже. Здесь они чудесные. Ну, расскажите, как вы поживаете? Ужасно рад вас видеть! Вы единственный настоящий артист из всех, кто у нас играл!

— Благодарю, у меня все в порядке,— ответил Кейстер и подумал: «Неисправимый дилетант, но добрый малый».

— Вот здесь и сядем. Продайте нам хорошего, большого омара, и салат, и э-э... мясное филе с картофелем. Картофель поджарить, чтобы хрустел, и бутылку моего рейнвейна. И еще... омлет с ромом — больше рома и сахара. Не возражаете?

«Еще бы я стал возражать!» — подумал Кейстер.

Они уселись за столик друг против друга в небольшой задней комнате.

— За успех,— сказал Брайс-Грин.

— За успех,— повторил Кейстер, и коктейль, булькающая в горле, казалось, отозвался: «Успех».

— Что вы думаете о теперешнем состоянии драмы?

О! Этот вопрос был близок сердцу Кейстера. Приятно улыбаясь только уголком рта, чтобы удержать в глазу монокль, Кейстер не спеша произнес:

— Никуда не годится!

— М-да! — отозвался Брайс-Грин. — Нет у нас талантов, верно?

«Денег нет», — подумал Кейстер.

— Какие роли вы исполняли за последнее время? Интересные? В «Старом ворчуне» вы были великолепны!

— Ничего особенно интересного. Я немного развился, как-то... э-э... ослаб.

И брюки, ставшие широкими в поясе, словно подтвердили: «Ослаб, ослаб».

— А вот и омар! Вы любите клешни?

— Благодарю, я все люблю!

Ну, а теперь есть, есть, пока не станет тесен пояс. Пир! Какое блаженство! И как легко льется его речь: он говорит, говорит о драме, о музыке, об искусстве, то хвалит, то критикует, поощряемый восклицаниями и круглыми от восхищения глазами угощающего его провинциала.

— Черт возьми, Кейстер, у вас седая прядь! Как это я раньше не заметил? Мне всегда нравились такие *mêches blanches*. Извините мою бесцеремонность, но как она появилась, сразу?

— Нет, не сразу.

— И чем вы это объясняете?

«Попробуй-ка поголодать», — вертелось у Кейстера на языке, но он ответил:

— Право, не знаю.

— Но это замечательно! Еще омлета? Я часто жалею, что не пошел на сцену. Должно быть, великолепная у актера жизнь, когда имеешь такой талант, как у вас.

«Великолепная?!»

— Не хотите ли сигару? Официант, кофе и сигары! Вечером обязательно приду в театр посмотреть на вас. Надеюсь, вы пробудете здесь еще с неделю?

Ах, какая жизнь! Хохот, аплодисменты... «Игра мистера Кейстера выше всех похвал», «Это подлинное искусство...»

Молчание собеседника вывело Кейстера из созерцания колец табачного дыма. Брайс-Грин сидел неподвижно, держа в руке сигару и приоткрыв рот; взгляд его блестящих и круглых, как галька, глаз был устремлен вниз, куда-то ниже края скатерти. Что с ним, обжег себе губы? Ресницы у Брайс-Грина дрогнули, он поднял глаза на Кейстера и, нервно облизнувшись, как собака, сказал:

— Послушайте, дружище, не обижайтесь... вы что... совсем на мели? Если я могу быть вам чем-нибудь полезен, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы же старые знакомые и все такое...

Он опять, выпучив глаза, уставился на какой-то предмет на полу, и Кейстер посмотрел туда же. Там, над ковром, он увидел... свой собственный башмак. Башмак ритмично покачивался в шести дюймах от пола, и

на нем видны были трещины... как раз посредине между носком и шнуровкой две большие трещины. Так и есть! Кейстер давно их заметил. В башмаках этих он играл Берти Карстера в «Простаке» еще до войны. Хорошие были башмаки. Теперь это его единственная пара, не считая башмаков доктора Доминика, которые он очень берег. Кейстер перевел глаза на добродушное, озабоченное лицо Брайс-Грина. Тяжелая капля оторвалась у Кейстера от сердца и затуманила глаз за моноклем. Губы его искривились горькой усмешкой. Он сказал:

— Спасибо. Но откуда вы взяли, что я на мели? Вовсе нет.

— Извините. Мне просто показалось...

Глаза Брайс-Грина снова опустились, но Кейстер уже убрал ногу.

Брайс-Грин заплатил по счету и поднялся:

— Очень сожалею, дружище, но у меня свидание в половине третьего. Чертовски рад, что встретил вас. До свидания!

— До свидания,— произнес Кейстер,— и спасибо.

Кейстер остался один. Опершись подбородком на руку, он смотрел через монокль в пустую чашку. Наедине со своим сердцем, своими башмаками, своим будущим... «В каких ролях вы выступали последнее время, мистер Кейстер?» «Да так, ничего особенно интересного. Впрочем, роли были самые разнообразные». «Понятно. Оставьте ваш адрес, сейчас не могу обещать вам ничего определенного». «Я бы мог э-э... почитать вам что-нибудь. Может, послушаете?» «Нет, благодарю, это преждевременно». «Ну что ж, может быть, я пригожусь вам позднее».

Кейстер ясно представлял себе, как он смотрит при этом на антрепренера. Боже, какой взгляд! «Великолепная жизнь!» Собачья жизнь! Все время ищешь, ищешь, выпрашиваешь работу. Жизнь, полная бесплодных ожиданий, старательно скрываемой нищеты, тяжкого уныния и голода.

Официант, скользя на носках, подлетел к столу: видно, хотел убрать посуду. Надо было уходить. Вошли две молодые женщины и сели за столик у двери. Кейстер заметил, что они посмотрели на него, до его обостренного слуха донесся их шепот.

— Конечно, это он... в последнем акте... Разве ты не видишь его седую прядь?

— Ах, да! Это он. В самом деле он...

Кейстер выпрямился, поправил монокль, на губах заиграла улыбка. Они узнали в нем доктора Доминика!

— Разрешите убрать, сэр?

— Разумеется, я ухожу.

Кейстер встал. Молодые женщины все еще пристально смотрели на этого представительного мужчину. Слегка улыбаясь, он постарался пройти мимо них как можно ближе, чтобы они не увидели его рваный башмак.

СОВЕСТЬ

Таггарт приподнялся. Канаву для ночлега он выбрал очень удачно, под изгородью у домика сторожа; ее скрывали нависшие ветви деревьев. Птицы в Хайд-Парке уже завели свои утренние песни. Часов у Таггарта не было, они отправились туда же, куда за последние три месяца ушли и остальные вещи, и только по сумеречному свету он мог догадаться, что начинает светать. Ему было не за что благодарить птиц: их щебетание разбудило его слишком рано, и он уже чувствовал голод, а до завтрака еще далеко, да и откуда он появится, один бог ведает. Однако Таггарт с интересом прислушивался к птичьему пению. Это была его первая ночь под открытым небом, и, как все новички, он испытывал что-то вроде торжества при мысли, что вопреки закону, сторожам и утренней сырости он все же начал жизнь бродяги.

Таггарт был родом из Нортамберленда и, по его собственному выражению, никогда не вешал носа. Родился он в городе, так что его знакомство с природой было весьма ограничено и не шло дальше умения отличать воробьев от дроздов, однако писк и гам, поднятый крылатыми бродягами, доставляли ему истинное удовольствие, и, если не считать некоторой ломоты в костях, он чувствовал себя превосходно.

Таггарт раскурил трубку и снова вернулся к не дававшей ему покоя проблеме: как достать работу и почему он ее потерял.

Три месяца назад Таггарт, хорошо упитанный, статный и самоуверенный, весело вошел в кабинет своего начальника в конторе «Журнально-газетного объединения». Начальник сказал ему:

— Доброе утро, Таггарт. Джорджи Гребе согласен дать нам статейку для «Маяка». Писать у него, конечно, нет времени. Я хочу поручить это вам — один столбец, что-нибудь в его стиле, а он подпишет. Хорошо бы пускать такие статейки в «Маяке» каждую неделю. Нам нужны популярные имена. Я уже раздобыл с полдюжины таких знаменитостей. Мы заставим широкую публику охотиться за «Маяком».

Таггарт улыбнулся. Джорджи Гребе! Кто его не знает? Первоклассная мысль — дать его статейку в газете.

— А написал ли он в своей жизни хоть строчку, сэр?

— Вряд ли... но о чем он мог бы писать, нетрудно догадаться. Конечно, за статью он не получит ничего, кроме рекламы. А для следующего номера я наметил сэра Катмана Кейна. С этим вам надо быть осторожней. Его стиль легко изучить по той его книге о процессах знаменитых убийц. Он чертовски занят, и писать за него придется вам, но он подпишет что угодно, если будет хорошо сделано. Да, да, Таггарт, я заставляю публику покупать наш «Маяк». Ну так не теряйте времени и принимайтесь за статью Гребе!

Таггарт кивнул и, достав из кармана несколько отпечатанных на машинке листов, положил их на стол.

— Вот ваша передовая, сэр. Пожалуй, немного резковата.

— Мне некогда читать. Спешу на поезд, Таггарт.

— Не смягчить ли ее немного?

— Пожалуй. Смотрите сами. Садитесь здесь и кончайте передовую. Вернусь в пятницу. До свидания.

Таггарт помог ему надеть пальто, и, схватив шляпу, главный редактор скрылся.

Таггарт сел и начал править написанную им передовицу. «Хорошая статья,— подумал он,— жаль, никто не знает, что пишу все это я...»

Эта работа за других — настоящее искусство, только, как всякое искусство, оплачивается она неважно... Но

довольно приятно сознавать, что ты — зерно, а главный редактор — только шелуха... Это он-то, с его именем и влиянием в обществе!.. Таггарт закончил правку, написал сверху: «В печать» — и подумал: «Теперь Джорджи Гребе! О чем же писать, черт возьми?» Раздумывая об этом, он направился к себе.

Его каморку едва ли можно было назвать комнатой, и в ней не было ничего примечательного, если не считать Джимми Каунтера, который курил трубку и что-то ожесточенно писал. Таггарт сел, тоже закурил трубку и, взяв лист бумаги, нацарапал заголовок будущей статьи.

Джорджи Гребе! Это сенсация! У шефа удивительный нюх на имена, которые приманивают публику. Казалось, нет ничего проще, как написать статью за человека, который за всю свою жизнь не сочинил ни строчки. Надо, чтобы это было что-то удивительно наивное и свежее. И если вдуматься, в желании публики узнать мысли своего кумира Джорджи Гребе тоже есть что-то наивное. Да, но какие мысли у их кумира? Если он, Таггарт, этого не знает, то и все остальные не узнают, даже сам Джорджи Гребе. Таггарт улыбнулся, но вскоре почувствовал, что его душевное спокойствие нарушено.

Джорджи Гребе, знаменитый клоун... А может, он и вовсе ни о чем не думает? Публика удивительно легковерна... Таггарт обмакнул перо в чернила и задумчиво уставился на него. Легковерна! Это слово замутило ясность его мыслей — так один кристаллик перекиси мутит и окрашивает воду в тазу. Легковерна! Люди будут платить, чтобы узнать то, что они принимают за мысли Джорджи Гребе. Но у Гребе нет никаких мыслей! Таггарт прикусил мундштук трубки. Спокойно! Не надо преувеличивать. Конечно, у Джорджи Гребе есть свои мысли, раз он подпишет статью. Подписываясь, он соглашается с мыслями, выраженными в статье. Не так ли? Полосу красит, как полагается, автограф и неизбежный портрет автора. И, глядя на знакомые черты, читатели решат, что это мысли их любимца. Какая доверчивость! Но разве можно сказать, что публика чересчур доверчива, если имеются такие доказательства? Более того, Гребе ведь прочтет статью... Мошенничество? Взор! Про-

сто-напросто работа за других. И никакого в этом мошенничества нет — все так поступают! Мошенничество? Значит, и передовицы, которые он, Таггарт, пишет за главного редактора, можно назвать мошенничеством. Нет, конечно, нет! Это просто работа за другого. Публика платит за мысли известного редактора, и они на самом деле являются его мыслями, раз он их подписывает. Мысли по заказу! Но как быть? Стала бы платить публика, если бы статьи подписывал А. П. Таггарт? Мысли остались бы те же... и весьма дельные мысли. Публика должна бы за них платить, но будет ли платить? Он снова раскурил погасшую трубку и начал статью:

«Леди и джентльмены, я не писатель. Поверьте, я обыкновенный клоун, и, когда я балансирую шестом на своем носу, я чувствую, что мошеннич...»

Таггарт перечеркнул написанное. Опять это слово жужжит в мозгу... Нет, надо отделаться от него! Он просто выполняет заказ. Только это надо помнить. Он просто зарабатывает себе кусок хлеба, и больше ничего. А Джорджи Гребе какая выгода от того, что он подписывает чужую статью? Только реклама! Кто же тогда зарабатывает на этом? Компания «Журнально-газетное объединение»! Да, имена Джорджи Гребе и главного редактора украшают полосы, написанные другими, и дают компании изрядные куши. А почему, собственно, не использовать известные имена?.. Таггарт нахмурился. Скажем, человек заходит в лавку и покупает коробку пилюль фирмы «Холловей», а они изготовлены по рецепту «Томпкинса». Что изменится от того, что он принимает их за пилюли «Холловей», если они не хуже, а то и лучше? Таггарт отложил перо и вынул трубку из рта. «Черт возьми,— подумал он.— Никогда я не смотрел на вопрос с этой стороны, но, кажется, это все-таки имеет значение. Читатель должен получить ту самую статью, за которую он платит деньги. Если этого нет, возможен любой обман. В таком случае новозеландских баранов можно продавать за английских, а к шерсти пришивать хлопок. И статья, написанная мной за Гребе,— обман». Таггарт снова раскурил трубку. Но при первой же затяжке он почувствовал характерную для англичан ненависть к «проповеди строгой нравственности»

и всякого рода ханжеству. Кто он такой, чтобы восставать против обычая? Разве не секретари пишут речи для парламентских «шишек»? Разве заключения знаменитых адвокатов, ими подписанные, не состояются зачастую их помощниками? Разве протоколы и прошения пишутся теми, кто их подписывает? Да, но это совсем другое... В тех случаях публика платит специалистам за содержание бумаг, а не за форму изложения. Знаменитый адвокат ставит свою подпись под тем, что написано, и не обращает внимания, как это написано. Министр высказывает свои взгляды независимо от того, сам ли он написал, или другие записали его мысли, и публика платит за сведения, а не за то, как они выражены. Статья же Гребе — совсем другое дело. Публика будет платить не за сведения или важные новые мысли, а за возможность заглянуть в душу своего кумира. «А в статье отражена будет не его, а моя душа,— думал Таггарт.— Кто стал бы тратить деньги, чтобы заглянуть в мою душу?» Таггарт даже вскочил, потом снова сел.

Но если публика так легковерна, что толку об этом думать? Она с жадностью поглощает все написанное и постоянно требует еще. Да, но ведь именно доверчивых людей не следует дурачить! Таггарт опять встал и прошелся по комнате. Джимми Каунтер поднял голову:

— Ты, кажется, чем-то взволнован?

Таггарт уставился на него.

— Мне надо написать какую-нибудь чепуху за Джорджи Гребе для «Маяка», но вот пришло в голову, что это обман публики. Что ты на это скажешь, Джимми?

— Отчасти ты прав. Ну и что?

— Если это так, то я не хочу этим заниматься, вот и все.

Джимми Каунтер присвистнул.

— Дружище, вот я сейчас пишу заметку о скачках от имени «Завсегдатая ипподрома»... а на скачках я не бывал уже много лет.

— Ну, это простительно.

— Все простительно в нашем деле. Закрой глаза и глотай, что дают. Ведь ты только выполняешь заказ.

— Значит, стоит прилепить ярлык благопристой-

ности, и от этого все сразу станет приличным? Так, что ли?

— Скажи, старина, что ты ел за завтраком?

— Послушай, Джимми, мне кажется, я зашел в тупик. Никогда такого со мной не бывало.

— Ну, что же, смотри, чтобы это не повторялось. Вспомни Дюма-отца. Я слышал, что под его именем выходило по шестьдесят романов в год. Разве ему это повредило?

Таггарт взъерошил свои жесткие рыжеватые волосы.

— К черту все! — проговорил он.

Каунтер рассмеялся.

— Тебе платят, ну и делай, что от тебя требуют. Стоит ли расстраиваться? Газеты должны раскупаться. А статья Джорджи Гребе — это приманка немалая.

— К черту Джорджи Гребе!

Таггарт надел шляпу и вышел, провожаемый свистом удивленного Каунтера. Весь следующий день он занимался другими делами, стараясь убедить себя, что он чудаков.

Таггарт даже пытался поделиться своими мыслями с другими журналистами. «Чего ты волнуешься из-за пустяков? — говорили одни. — Чем наша работа плоха?» «Ничего не поделаешь. Жизнь заставляет», — оправдывались другие. И все-таки Таггарт никак не мог уговорить себя взяться за статью Гребе. Ему вспомнилось, что его отец в сорок пять лет переменил свои религиозные убеждения и был отлучен от церкви. И Таггарт почувствовал себя очень несчастным, как будто у него обнаружился наследственный туберкулез.

В пятницу его вызвал к себе главный редактор.

— Доброе утро, Таггарт! Я только что вернулся. Послушайте, передовица для завтрашнего номера — это не статья, а перечень фактов. Куда девался мой стиль?

Таггарт переминался с ноги на ногу.

— Видите ли, сэр, — начал он, — я подумал, что, может быть, вы для разнообразия сами захотите ее отработать. А факты в ней верны.

Шеф в упор посмотрел на Таггарта.

— Дорогой мой, неужели вы думаете, что у меня есть на это время? Так каждый напишет. Я не подпишу статью в таком виде. Ей надо придать блеск.— Таггарт взял статью из рук начальника.

— Не знаю, смогу ли я? — сказал он.— Я... я...— Он вдруг умолк.

Редактор добродушно осведомился:

— Вы нездоровы?

Таггарт отрицательно покачал головой.

-- Дома неприятности?

— Нет, сэр.

— Тогда принимайтесь за дело. А как статья Гребе?

— Да никак.

— Не понимаю!

Таггарт почувствовал, что все его тело напряглось.

— Дело в том, что я не могу написать ее.

— Что за чушь! Сойдет любая белиберда, нужен только соответствующий колорит.

Таггарт судорожно глотнул воздух.

— В том-то и дело... Ведь это значит вести с публикой нечестную игру, сэр.

Таггарту показалось, что шеф начал вдруг увеличиваться в размерах.

— Я не понимаю вас, Таггарт.

И Таггарт выпалил неожиданно для себя:

— Я не желаю больше писать за других, сэр, если это не хроника или информация.

Редактор побагровел.

— Я плачу вам за определенную работу. Если не желаете выполнять указаний, мы можем обойтись без ваших услуг. Что с вами, Таггарт?

Таггарт криво усмехнулся:

— Приступ угрызений совести, сэр. Ведь речь идет о простой коммерческой честности, не так ли?

Главный редактор выпрямился на своем вращающемся стуле и добрых двадцать секунд внимательно разглядывал Таггарта.

— Ну, знаете! — произнес он наконец ледяным тоном.— Меня еще никогда так не оскорбляли. Вы свободны. Прощайте!

Таггарт положил бумаги на стол и, тяжело ступая, направился к двери. На пороге он обернулся,

— Очень сожалею, сэр, но ничего не могу с собой поделать.

Начальник сухо кивнул головой, и Таггарт вышел. В течение трех месяцев он наслаждался свободой. Журналистов было больше, чем нужно. К тому же его имя не пользовалось известностью. Гордость и застенчивость не позволяли ему обратиться в «Журнальное объединение» за рекомендацией. Он даже не решался объяснять другим, за что его «вышибли». Не говорить же, что из-за его более высоких моральных правил, чем у товарищей — журналистов! Два месяца Таггарт прожил сносно, но в последние две-три недели дошел до нищеты. И все-таки чем больше он размышлял, тем острее чувствовал, что он прав, и тем меньше склонен был поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Лояльность по отношению к бывшему начальнику, которого он оскорбил своим осуждением, боязнь прослыть глупцом, а главное, опасение, как бы его не обвинили в хвастовстве, заставляли его молчать. Когда его спрашивали, что побудило его бросить работу в «Объединении», он отвечал: «Разногласия по принципиальному вопросу» — и отказывался от дальнейших объяснений. Таким образом, сложилось общее мнение, что Таггарт просто чудаков. Никто в «Журнально-газетном объединении» толком не знал, почему он ушел, но Каунтер рассказывал, что Таггарт перед уходом ругал Джорджи Греббе и отказался писать за него статью. Статью написал кто-то другой. Таггарт читал это «произведение» вне себя. Оно было явно неудачно, и столь неумелая подделка все еще возмущала того, кто успешно занимался этим в течение долгого времени, не испытывая угрызений совести. А когда в газете появилась статья за подписью сэра Кейна, которой тот, конечно, не писал, Таггарт вслух выругался. Она была так же не похожа на статью, которую он написал бы за сэра К. Кейна, как его собственные стоптанные башмаки на изящную обувь шефа, чуть не каждый день менявшего ее. Таггарт с тяжелым чувством читал передовые статьи за подписью своего бывшего начальника, отмечая многочисленные стилистические погрешности, сделанные тем, кто заменил его, Таггарта. Когда Таггарт читал «Маяк», на его розовощеком, обычно веселом лице появлялось горькое выражение, и, дочитав, он еро-

шил свои жесткие волосы. Таггарт обладал стойким характером и ни разу не называл себя дураком, думая обо всех неприятностях, которые ему пришлось испытать. Но день ото дня в нем росла уверенность, что бунтовал он напрасно.

Теперь он сидел, прислонившись к изгороди, и слушал пение птиц. Оно приводило его в мечтательное настроение. Странные существа — люди! Чертовски терпимы! Разве он не был таким все эти годы? Власть ярлыка — вот что поражало его сейчас. Стоит прилепить к чему-либо ярлык приличия, и все будет считаться приличным! Да!.. А все же, как его ни назови... Совесть!.. С ней трудно сладить.

АКМЭ¹

В наши дни талантливому человеку не приходится голодать. Доказательством может служить рассказ о моем друге Брусе.

Когда я познакомился с ним, ему было под шестьдесят и он уже написал пятнадцать книг, которые завоевали ему репутацию «гения» среди немногих знатоков. Жил Брус на Йорк-стрит, в доме, примечательном тем, что входная дверь в нем всегда была открыта; здесь он занимал две небольшие комнаты в мансарде, куда вела расшатанная лестница. Мне думается, не было писателя более равнодушного к тому, что о нем думают. К печати Брус относился с глубочайшим пренебрежением, но не с тем, какое появляется у писателей от чтения рецензий на их книги (ибо Брус никогда, кажется, не читал критических статей), а с убежденным презрением «оригинала», чуждого современной цивилизации, человека с душой бродяги, который покидал свою мансарду и на много месяцев отправлялся странствовать, а потом возвращался, чтобы перезимовать и написать книгу. Брус был высокого роста, худой, лицом он напоминал Марка Твена: черные щетинистые брови, жиденькие вислые усы, седые, как и его выющиеся волосы; глаза у него были грустные, темно-карие, пронизывающие, как у совы, они придавали суровому лицу необычное выражение: казалось, дух этого человека витал где-то далеко от тела, в котором был заключен. Брус был холо-

¹ Высшая степень совершенства (греч.).

стяком и как будто избегал женщин. Возможно, это было следствием горького опыта, потому что женщинам он очень нравился.

Тот год, о котором идет речь, был материально чертовски трудным для Бруса. Чего он мог ожидать при своей страсти писать о том, что в его век никого не увлекало? Последняя книга Бруса не имела никакого успеха. Кроме того, он перенес операцию, которая дорого стоила и истощила его силы. Когда в октябре я пришел навестить Бруса, он лежал, растянувшись на двух креслах, и курил бразильские сигареты в желтой, из кукурузного листа обертке — черные и необычайно крепкие; он их обожал, а на меня они действовали убийственно. На коленях у Бруса лежал блокнот, а на полу возле него валялись исписанные листки. Комната имела очень невзрачный вид.

Я не видел Бруса более года, но он встретил меня так, будто я был у него только вчера.

— Привет! Вчера вечером я был в этом... как его... кино. Вы там когда-нибудь бывали?

— Когда-нибудь? Да знаете ли вы, с каких пор существует кино? Примерно с тысяча девятисотого года.

— Да? Но это же черт знает что! Вот пишу пародию.

— То есть как это пародию?

— Да, пародию. Дикий бред, такого вы еще не читали.

Брус взял листок бумаги и, перечтя написанное, прыснул.

— В жилах моей героини, — начал он, — течет немного негритянской крови. Ее глаза подернуты влагой, прелестная грудь бурно вздымается. Все добиваются ее любви, а она целомудренна, как весталка. Героиня попадает в такие переделки, что кровь стынет в жилах и волосы встают дыбом, но выходит из них целой. У нее есть брат, с которым они вместе росли, настоящий дьявол. Этот братец знает ее страшную тайну и хочет продать сестру миллионеру, у которого тоже есть какая-то мрачная тайна. Всего в моей пародии четыре страшных тайны. Потрясающе!

— Зачем вы тратите попусту время?

— Мое время! — свирепо возразил Брус. — Кому оно нужно? Моих книг никто не покупает.

— А кто за вами присматривает?

— Доктора! Вытягивают деньги, только и всего. А у меня их нет. Ну да не стоит обо мне говорить.

Брус взял в руки другую страничку рукописи и снова рассмеялся.

— Вчера там, в кино, показывали гонку между поездом и автомобилем. О господи! Ну, и вот — у меня состязаются поезд, автомобиль, аэроплан и лошадь.

Я насторожился.

— Вы разрешите мне прочесть вашу пародию, когда она будет закончена?

— Она закончена. Я написал ее за один присест. Неужели вы думаете, что я мог бы отложить и затем снова взяться за эту пачкотню?

Брус собрал листки и подал их мне.

— Возьмите. Меня это позабавило. Тайна героини в том, что она вовсе не окторонка¹, а некая де ля Кассе, чистокровная креолка с Юга. Потом выясняется, что ее негодяй-братец вовсе ей не брат и что миллионер только выдавал себя за миллионера, а миллионером оказывается ее возлюбленный, у которого раньше не было ни гроша за душой. Чем плох сюжетец? Красота, доложу я вам!

— Благодарю, — сухо ответил я и взял рукопись.

Я ушел расстроенный, размышляя о своем друге, о его болезни и нужде, в особенности о нужде, ибо я не видел выхода из нее.

Вечером, после обеда, я стал нехотя просматривать его пародию. Прочитав две страницы из тридцати пяти, я вскочил, потом снова сел и принялся лихорадочно читать дальше. Пародия! Черт возьми, да он же написал замечательный сценарий, — правда, этому сценарию нужна была еще незначительная профессиональная отделка. Я был взволнован: это могло стать золотой жилой, если умело повести дело. Я знал, что любая солидная кинокомпания обеими руками ухватится за этот сценарий. Да, но как это сделать? Брус был такой странный человек, такой старый сумасброд. Только что узнал о существовании кино! Поразительно! Если я скажу ему, что

¹ Человек, имеющий $\frac{1}{8}$ негритянской крови.

его «пародия» — настоящий фильм, он буркнет: «Чепуха!» — и бросит рукопись в огонь, хотя ей цены нет.

Но не могу же я продавать сценарий, не имея на то его разрешения, а как получить это разрешение, не объяснив ему, в чем дело? Мне смертельно хотелось добыть для Бруса денег, а рукопись, если удачно ее продать, могла надолго его обеспечить. Я чувствовал себя в положении человека, который держит в руках бесценную музейную редкость: стоит только споткнуться — и она разобьется вдребезги. Мне вспомнилось, каким тоном Брус говорил о кино: «Это же черт знает что!» Кроме того, он был дьявольски горд и щепетилен, когда дело касалось денег. Имел ли я право предпринимать что-либо, не сказав ему? Я знал, что Брус никогда не заглядывает в газеты. Но могу ли я воспользоваться этим и добиваться, чтобы без его ведома приняли сценарий и поставили фильм?

Несколько часов я обдумывал этот вопрос и на другой день отправился к Брусу. Он был погружен в чтение:

— А, это вы! Что вы думаете о теории, будто египетская культура — продукт древней цивилизации Сахары?

— Ничего не думаю, — отвечал я.

— Какая-то чепуха. Этот малый...

Я прервал его:

— Вернуть вам вашу пародию или можно оставить ее у себя?

— Какую пародию?

— Рукопись, что вы дали мне вчера.

— Ах это! Растопите ею камин.

— Хорошо, я так и сделаю. Вы, я вижу, заняты?

— Нет, нисколько, — возразил Брус. — Мне нечего делать. Что пользы от моей работы? На каждой книге я зарабатываю все меньше и меньше. Нищета доконает меня.

— Это потому, что вы не считаетесь с публикой.

— Как я могу считаться с публикой, если я не знаю, что ей нужно?

— Вы и не стараетесь узнать. Я бы мог подсказать вам, как угодить публике и заработать деньги. Но боюсь, что вы спустите меня с лестницы.

На языке у меня вертелось: «Вот, например, я от-

крыл для вас настоящую золотую жилу». Но я решил: «Не надо рисковать. Рукопись у меня. Carte blanche — cartes serrées!»¹

Я унес «золотую жилу» и наскоро сделал из нее сценарий. Это было очень легко, и не пришлось ничего ломать в сюжете. У меня было сильное искушение поставить на рукописи имя Бруса. Я рассуждал так: если я сдам компании сценарий безымянный, он будет принят на соответственных условиях; если же поставлю имя Бруса, то без труда удастся выговорить сумму по крайней мере вдвое большую. Заправила кино, разумеется, не слышали о Брусе, но узкий круг литераторов знал его, и вовремя сказанное слово «гений» могло бы значительно повысить цену. Однако в этом был некоторый риск, и я наконец выбрал средний путь: сдать сценарий без подписи автора, но сказать, что он создан «гениальным писателем», и намекнуть, что они могут нажить капитал на таком инкогнито. Я был убежден, что они и сами оценят талант автора.

На следующий день я отнес сценарий в одну солидную кинокомпанию. К рукописи я приложил письмо: «Автор — признанный литературный талант, но по некоторым причинам он предпочитает остаться неизвестным». Две недели они раздумывали, но наконец клюнуло! Иначе и быть не могло: сценарий был уж очень хорош. Целую неделю я торговался с ними. Дважды предъявлял ультиматум, и оба раза они уступали: они отлично понимали, что им попало в руки. Я мог бы заключить контракт на две тысячи фунтов наличными и, кроме того, до истечения срока контракта получить по крайней мере еще две тысячи, но согласился на три тысячи фунтов наличными: мне казалось, что так будет легче уговорить Бруса.

Условия эти были отнюдь не блестящи, если учесть, что произведение это действительно было совершенным образцом киносценария. Если бы я мог действовать открыто, я, несомненно, добился бы большего. Но все же я подписал контракт, передал рукопись и получил чек на всю сумму.

¹ Действовать по своему усмотрению, но играть осторожно, не рискуя! (франц.)

Настроение у меня было приподнятое, и в то же время я знал, что самое трудное впереди. При таком отношении Бруса к кино как заставить его взять деньги? Может быть, пойти к его издателям и тайно договориться, чтобы они постепенно пересылали ему небольшие суммы под видом гонорара за его книги? Для этого требовалось посвятить издателей в тайну, и, кроме того, Брус привык получать за свои книги такие ничтожные суммы, что обязательно станет наводить справки, и все раскроется. Может быть, найти юриста и сделать Бруса наследником неожиданно свалившегося с неба состояния? Но это требовало бесконечных уловок и обмана, даже если юрист и возьмется за такое дело. Или просто отослать Брусу деньги билетами Английского банка с запиской: «От верного почитателя вашего таланта»? Я боялся, что Брус заподозрит здесь какую-то мистификацию или решит, что деньги украдены, и заявит в полицию. Может быть, просто пойти к нему, положить чек на стол и сказать всю правду?

Этот вопрос ужасно волновал меня, а между тем я не считал себя вправе советоваться с теми, кто знал Бруса. Стоит только кому-нибудь рассказать, и все обязательно раскроется. Откладывать же получение по чеку столь значительной суммы было нежелательно. Кроме того, компания уже приступила к съемкам. В кино был период затишья, не хватало хороших фильмов, поэтому они гнали вовсю. А главное, я думал о Брусе: он был лишен самого необходимого, не мог никуда уехать из-за отсутствия денег и был очень подавлен мыслями о своем здоровье и будущем. Но он всегда казался мне человеком столь своеобразным, чуждым нашей цивилизации и настолько выше ее, что меня пугала мысль пойти и просто сказать ему: «Вот деньги за сценарий, который вы написали». Я как будто слышал его ответ: «Я? Я писал для кино? Не понимаю, что вы такое говорите!»

Поразмыслив, я решил, что с моей стороны было крайне бесцеремонно продать сценарий, не посоветовавшись с Брусом. Я чувствовал, что Брус никогда не простит мне этого, а я относился к нему с большой теплотой и даже почтением, и мне было бы тяжело утратить его расположение. Наконец я нашел способ избежать

этого: надо было внушить Брусу, что я материально заинтересован в этой сделке. Я получил деньги по чеку, положил их в банк на свое имя и, вооружившись контрактом и выписанным мною чеком на всю сумму, отправился к своему другу.

Он лежал на двух креслах и, покуривая свои бразильские сигареты, играл с приبلудным котенком. Брус на этот раз был не такой колючий, как всегда, и после некоторого вступления, состоявшего из расспросов о его здоровье и разных других вещах, я наконец решился заговорить о деле:

— Я должен вам кое в чем признаться, Брус.

— Признаться? В чем же?

— Помните ту пародию на фильм, которую вы написали и отдали мне шесть недель назад?

— Нет, не помню.

— Ну как же: о прекрасной креолке.

Брус рассмеялся:

— Ах, да, да!

Я перевел дух и сказал:

— Ну так вот — я продал рукопись и принес вам деньги.

— Что? Кто напечатает такую чепуху?

— Ее не напечатали, а переделали в сценарий. Получился первоклассный фильм.

Рука Бруса замерла на спине котенка, и он вытаращил на меня глаза. А я поспешно продолжал:

— Мне следовало раньше сказать вам о том, что я предпринял. Но вы так раздражительны, и у вас обо всем чертовски высокие понятия. Я подумал, что если расскажу, то вы заупрямитесь и все испортите. Из вашей пародии вышел прекрасный сценарий. Вот контракт и вот чек в мой банк на сумму три тысячи фунтов. А мне вы должны триста фунтов, если хотите считать меня своим посредником. Я на это не рассчитываю, но я не так горд, как вы, и отказываться не стану.

— Бог мой! — проговорил наконец Брус.

— Да, я понимаю, но все это пустяки, Брус. Вы слишком щепетильны. Нечистый источник? Ну, а что теперь чисто, если уж на то пошло? Кино — это вполне закономерное выражение современной цивилизации, естественное порождение нашего времени. Кино развлекает,

доставляет людям удовольствие. Возможно, это удовольствие пошлое, дешевка, но мы сами пошляки, и нечего притворяться, что мы другие. Я говорю, разумеется; не о вас, Брус, а о широкой публике. Пошлый век требует пошлых развлечений, и если мы можем их дать людям, мы должны это делать. Жизнь не так уж весела.

Пристальный взгляд моего друга почти лишил меня дара речи, но я все-таки пролепетал, заикаясь:

— Вы живете как бы вне нашего мира и не представляете, чего хотят люди. Им нужно что-нибудь такое, что помогло бы скрасить серость и обыденность их жизни: сильные ощущения, таинственные истории с кровопролитием, всякие сенсации. Не желая того, вы дали им это, сделали им добро, и потому вы должны взять эти деньги.

Котенок неожиданно спрыгнул на пол. Я ждал бури.

— Знаю, вы терпеть не можете кино, презираете его...

И тут я услышал громовой голос Бруса:

— Вздор! О чем вы толкуете, дружище? Кино! Да я чуть не каждый день хожу в кино.

Теперь уже я воскликнул: «Бог мой!» И, сунув Брусу чек и контракт, бросился к двери, а котенок за мной.

БЫВШИЙ № 299

I

1

Начальник тюрьмы был в замешательстве. Человек, стоявший перед ним, как-то странно улыбался. Вообще с этими образованными арестантами — врачами, юристами, пасторами — всегда чувствуешь себя как-то неловко; их не выпустишь на свободу с обычным: «Ну, жму руку! Надеюсь, больше не собьешься с прямого пути. Желаю успеха!» Нет! Джентльмен, отбыв срок, переставал быть номером и как бы сразу восстанавливал свое равноправие, более того, его имя опять обретало приставку, звание, которого даже еще до приговора лишали подсудимого закон и газеты с их непогрешимым знанием того, что должно делать.

Номер 299 снова стал доктором Филиппом Райдером и стоял сейчас перед начальником тюрьмы в темно-сером костюме, худой и гибкий, с седыми волосами, которые снова отрастил перед выходом на волю, с глубоко запавшими, блестящими глазами и этой своей особенной улыбкой — трудный субъект! Начальник решил обойтись только фразой: «Итак, всего доброго, доктор Райдер» — и протянул руку, но вдруг обнаружил, что она повисла в воздухе.

Вот как, этот парень уходит неукротенным! Начальнику это было неприятно — такое настроение после двух лет тюрьмы! — и он стал перебирать в памяти все, что было ему известно об этом заключенном. Осужден за

незаконную операцию. Необщителен. Правда, начальник не позволял арестантам общаться друг с другом, но все же чувствовал себя спокойнее, когда знал, что они общались бы, если бы это не было строго запрещено. Поведение отличное. Мнение священника: неподатлив или что-то в этом роде. Работал в тюрьме переплетчиком. Как будто все в порядке. Но ярче всего в сознании начальника запечатлелось воспоминание о долговязой фигуре этого заключенного, стремительно кружившего по двору на прогулке,— что-то в нем напоминало волка. И вот он стоит перед ним! Начальник был высокого роста, но в этот миг почему-то казался себе очень маленьким. Он поднял висевшую в пустоте руку, чтобы вывести ее из этого не совсем приятного положения, и закончил разговор жестом. Тут только № 299 раскрыл рот:

— Это все?

Начальник тюрьмы, привыкший слышать от заключенных «сэр» до последней секунды, покраснел. Но тон был настолько учтив, что он решил ничего не замечать.

— Да, это все.

— Благодарю вас. Прощайте.

Глаза блеснули из-под бровей, на губах под длинным, тонким носом с горбинкой появилась улыбка, и человек легким шагом пошел к двери. Скованности в его движениях не было. Вышел он бесшумно. Черт возьми! Этот парень имел такой вид, будто думал о нем: «Бедняга! Ну и жизнь у тебя!» Начальник тюрьмы внимательно оглядел свой кабинет. Что и говорить, жизнь у него необычная, в строгих рамках профессии. На окнах решетки. Сюда он по утрам вызывал провинившихся заключенных... И, засунув руки в карманы, начальник нахмурился.

Во дворе седоватый и осанистый старший надзиратель в синей форме шел, позвякивая ключами, впереди Райдера.

— Все в порядке,— сказал он привратнику, также одетому в синее.— Номер двести девяносто девять выходит. Его ожидают?

— Нет, сэр!

— Ладно, открывай!

Лязгнул ключ в замке.

— Всего доброго,—сказал старший надзиратель.

Бывший заключенный повернул к нему улыбающееся лицо и кивнул головой, потом обернулся к привратнику, кивнул и ему и прошел между ними, надевая на ходу серую фетровую шляпу. И снова лязгнул ключ в замке.

— Улыбается,— заметил привратник.

— Да, такого ничем не проймешь,— сказал старший надзиратель.— Но, как я слышал, он умный человек.

В голосе его звучало возмущение и что-то вроде удивления, он как будто понял, что это замечание помещало ему оставить за собой последнее слово.

Засунув руки в карманы, освобожденный не торопясь шел по середине тротуара. В этот тусклый октябрьский день улицы были заполнены людьми, спешившими на обед. И всякий, случайно взглянув на этого прохожего, мгновенно отводил глаза, как отдергивают палец от раскаленного утюга...

2

Тюремный священник, собиравшийся провести свой выходной день в городе, увидел на платформе человека в серой шляпе, лицо которого показалось ему знакомым.

— Да, это я,— сказал тот.— Бывший номер двести девяносто девять. Райдер.

Священник удивился.

— А... гм...— начал он, заикаясь.— Вы вышли сегодня, так, кажется? Надеюсь, вы...

— Спасибо...

С грохотом подошел поезд. Священник вошел в купе третьего класса. Бывший № 299 последовал за ним. Священник был крайне удивлен: этот человек как будто и не сидел в тюрьме! А между тем это тот самый заключенный, у которого он в течение двух лет не имел, если можно так выразиться, никакого успеха и от которого всегда уходил с чувством какой-то неловкости.

Вот он сидит напротив, читает газету, курит сигарету, как равный среди равных. Священник опустил газету и стал смотреть в окно, пытаясь решить, как ему держать себя, но, почувствовав, что за ним наблюдают, уголком глаза взглянул на сидевшего напротив. На лице у того было ясно написано: «Чувствуешь себя неловко, не так

ли? Но ты не беспокойся. Я против тебя ничего не имею. Тебе и так чертовски скверно».

Не подыскав подходящего ответа на этот взгляд, священник сказал:

— Хороший денек. Какая красота вокруг!

Бывший № 299 посмотрел на ландшафт за окном. Он улыбался, но у него был вид голодного человека, и священник предложил:

— Не хотите ли бутерброд?

— Спасибо.

— Извините, я хочу у вас спросить,— сказал священник через некоторое время, стряхивая крошки с колен.— Что вы намерены теперь делать? Я надеюсь, вы...

Ну что он мог сказать? «Начнете новую жизнь?», «Исправитесь?», «Теперь все у вас пойдет хорошо?». Ничего этого он не мог сказать и взял сигарету, предложенную бывшим № 299. А тот тоже заговорил; он произносил слова медленно, они как бы впервые сходили с языка и с трудом пробивались сквозь табачный дым.

— Эти два года были для меня драгоценны.

— Ага! — сказал священник с надеждой.

— Я чувствую себя великолепно.

Настроение священника омрачилось.

— Вы хотите сказать,— начал он,— вы не раскаиваетесь, что вы не... э-э-э...

— Да, им просто нет цены!

Выражение его лица огорчало священника: суровое, холодное и с такой странной улыбкой. Никакого смирения! Ему еще предстоит узнать, что общество не потерпит такого поведения. Нет, не потерпит! И очень скоро ему укажут его место.

— Боюсь, вы скоро убедитесь,— благожелательно начал священник,— что люди ничего не забывают и ничего не прощают. У вас есть семья?

— Жена, сын и дочь.

— Как они вас встретят?

— Этого я не знаю.

— А ваши друзья? Я только хочу вас немного подготовить.

— К счастью, у меня есть средства.

Священник пристально смотрел на него. Какое счастье!.. Или, быть может, несчастье?

— Если бы меня можно было сломить, то ваша тюрьма, конечно, сломила бы меня... Не угодно ли еще сигарету?

— Нет, спасибо.

Священник опечалился. Он всегда утверждал, что с «ними» ничего не поделаешь до тех пор, пока их воля не сломлена. Грустно видеть человека, получившего такой урок и все же оставшегося столь непокорным! Закрывшись газетой, он попытался читать. Но взгляд человека, сидевшего напротив, казалось, проникал сквозь газетный лист, и священнику было очень не по себе. Очень!

II

I

В гостиной маленького домика близ Кью-Гарденс миссис Райдер держала в руках розоватый листок бумаги и смотрела на него так, как если бы это был паук,— при виде пауков она всегда испытывала непреодолимый ужас. Сидевший напротив сын встал, а дочь сразу перестала играть вариации Брамса на музыку Гайдна.

— Он пишет, что сегодня вечером!..

Девушка сняла руки с клавишей.

— Сегодня вечером? А я думала, что это будет через месяц. Отец верен себе: ну хоть бы заранее предупредил.

Сын, светловолосый и румяный юноша с маленькой головой, привычным жестом вынул трубку и начал ее чистить.

— Но почему он не попросил нас встретить его в Лондоне? Должен же он понимать, что нам надо прийти к какому-то соглашению.

Дочь, худенькая брюнетка с густыми, коротко подстриженными волосами, тоже поднялась и стояла, облокотившись на рояль.

— Что же нам делать, мама?

— Пусть Джек пойдет и предупредит Мэйбл и Родерика, чтобы они сегодня не приходили.

— Хорошо, а дальше что, если он останется здесь? Он знает, что я обручен и Берил тоже?

— Кажется, я сообщила ему об этом в последнем письме.

— А что ты решила делать, мама?

— Все это так неожиданно... Я не знаю.

— Это просто неприлично! — резко сказал сын.

Дочь подняла упавшую телеграмму.

— «Вокзал Эрлс-Корт, пять часов». Он может войти с минуты на минуту. Джек, поторопись, пожалуйста! Неужели он не догадывается, что здесь никто ничего не знает?

Миссис Райдер отвернулась к камину.

— Ваш отец всегда считался только со своими желаниями.

— Ну, теперь ему придется считаться с другими. Я заставлю его...

— Доктор Райдер, мэм.

У двери, которую закрыла горничная, стоял, улыбаясь, бывший № 299.

— Ну, Берта? — сказал он. — А, Берил! И ты здесь, Джек?

Откликнулась только дочь.

— Ну, отец, ты мог бы известить нас заранее!

Бывший № 299 посмотрел по очереди в лицо каждому.

— Никогда не следует предупреждать детей, что им придется проглотить пилюлю. Как вы все поживаете?

— Очень хорошо, спасибо. А ты как?

— Как нельзя лучше. В тюрьме здоровая жизнь!

Словно во сне, миссис Райдер перешла комнату и протянула руку, как слепая. Бывший № 299 не взял ее руки.

— А у вас здесь уютно, — сказал он. — Можно мне вымыться?

— Джек, проводи отца к умывальнику.

— Нет, в ванную, пожалуйста.

Сын отошел от окна, взглянул на улыбающееся лицо отца и пошел вперед, указывая ему дорогу.

Миссис Райдер, худая, бледная, темноволосая, заговорила первая:

— Бедный Филипп!

— Ах, мама, жалеть папу просто невозможно. Ведь так было всегда. Он почти не изменился, только что усов

нет. Вот тебя мне жалко. Он не может здесь оставаться. Ведь все думают, что ты вдова!

— Люди обычно знают больше, чем нам кажется, Берил.

— Но никто никогда даже не намекал на это. Почему он не посоветовался с нами?

— Мы должны подумать о нем.

— Он о нас не думал, когда решился на то ужасное дело. И ведь он сделал это бесплатно, без всякой необходимости... Разве только.... Мама, иногда мне кажется, что он не мог этого не сделать, что он был не только ее врачом, но и... любовником!

Миссис Райдер отрицательно покачала головой.

— Если бы это было так, он бы мне сказал. Твой отец всегда считал, что он чист перед своей совестью.

— Как мне быть с Родди?

— Придется подождать.

— А вот и Джек! Ну что?

— Он налил в ванну воду такую горячую, какую только можно терпеть. И сказал: «Это первое, что делаешь, когда попадаешь туда, и первое, что делаешь после того, как вышел оттуда. Симметрично, не правда ли?» Мне надо отнести ему наверх чашку кофе. Право, все это ужасно! Прислуга, конечно, сообразит, что доктор Райдер — наш отец. Кто еще может прийти в дом и сразу полезть в ванну?

— Это просто смешно.

— Да? Незаметно, чтобы он хоть чуточку стыдился. У него такой вид, точно он готов кричать об этом на всех перекрестках. Я был уверен, что он уедет за границу.

— Мы все так думали.

— Если бы он был подавлен, то еще можно было бы его пожалеть. А у него такой веселый вид, как у клоуна на ярмарке. Да и преступление он совершил такое... гадкое. Ну, как я все это объясню Мэйбл? Если я просто скажу, что он сидел в тюрьме, она вообразит что-нибудь еще похуже. Мама, уговори его уехать сейчас же. Прислуге мы скажем, что он наш дядя и имел дело с больными оспой.

— Мама, ты сама отнеси ему кофе. Ох, нет, тебе нельзя, раз прислуге будет сказано, что он дядя! Джек, объясни ему, что здесь никто ничего не знает и что ма-

ма не сможет этого перенести. И поторопись! Уже половина седьмого.

Сын взъерошил зачесанные назад волосы. Его юное лицо имело весьма решительное выражение.

— Сказать?

Миссис Райдер кивнула головой.

— Скажи ему, Джек, что я к нему приеду, куда он только захочет. Скажи: я ожидала, что он так и сделает — уедет куда-нибудь и позовет меня. А здесь... Это очень трудно... — Она закрыла рот рукой.

— Конечно, мама! Я его заставлю понять. Но прислуге пока ни слова. А вдруг уехать придется нам? Ведь это его дом.

— Это правда, мама?

— Да. Я купила дом на его деньги по доверенности, которую он оставил.

— Ох, это ужасно!

— Все ужасно, но мы должны подумать и о нем. Девушка откинула со лба свои пушистые волосы.

— Действительно, похоже на то, что мы оказали ему холодный прием! Но отец был всегда такой замкнутый. Не может же он ожидать, что мы вот так сразу начнем слюни распускать. Если ему было плохо, то и нам не лучше.

— Ну, идти мне?

— Да, отнеси ему кофе. Торопись, мой мальчик, и будь с ним поласковей.

Сын с выражением юношеской непримиримости ответил:

— Да, я знаю, как говорить с ним! — И вышел.

— Мама! Не смотри так!

— А как мне смотреть? Улыбаться?

— Нет, улыбаться не надо... Это он улыбается. Ты лучше поплачь, тебе надо выплакаться.

2

Бывший № 299 сидел в ванной и сквозь пар и дым от сигареты с улыбкой разглядывал большой палец на ноге. Из воды торчал черный от недавнего ушиба ноготь.

Доктор Райдер взял кофейную чашечку из рук сына.

— Целых два года и девять месяцев я предвку-

шал эту минуту, Джек... но она превосходит все мои мечты.

— Отец... я должен....

— Хороший кофе, табак, горячая вода—величайшие блага на земле. Полчасика проведешь здесь — и чист, как стеклышко, телом и душой!

— Отец...

— Что? Ты можешь еще что-нибудь к этому добавить?

— Мы... мы живем здесь уже почти два года...

— Меньше, чем я был там. Вам здесь нравится?

— Да.

— А мне там не нравилось. Ты изучаешь медицину?

— Нет. Ботанику.

— Отлично. Тебе не придется иметь дело с людьми.

— Мне обещают работу в здешнем ботаническом саду с начала будущего года. И я... я помолвлен.

— Замечательно! Я за ранние браки.

— Берил тоже помолвлена.

— А твоя мать случайно не помолвлена?

— Отец!

— Дорогой мой, никто не застрахован от того, что его бросят. Зачем ожидать от своей семьи больше, чем от других? *Pas si bête*¹.

Глядя на это улыбающееся лицо, с которого горячая вода уже сгоняла тюремную благодать, юноша ощутил прилив раскаяния.

— У нас ни разу не было подходящего случая сказать тебе, как мы жалели тебя. Но мы до сих пор никак не можем понять, зачем ты это сделал?

— Разве я сделал бы это, если б знал, что все раскроется? Но женщина погибала, отправлялась ко всем чертям... а я рисковал немногим... И вот, пожалуйста! Никогда никого не спасай, если это сопряжено с риском для тебя, Джек. Я думаю, ты с этим согласен.

Юноша сильно покраснел. Ну как он мог сказать то, что собирался!

— Я совсем не намерен поджимать хвост,— продолжал его отец.— Тебя не затруднит отнести чашку?

— Может, ты хочешь еще, отец?

¹ Я не так глуп (франц.).

— Нет, благодарю. Когда вы обедаете?

— В половине восьмого.

— Принеси мне, пожалуйста, бритву, а то сегодня утром меня брили каким-то тесаком.

— Сейчас принесу.

И сын пошел за бритвой. Не видя перед собой этого улыбающегося, чужого человека в ванне, он снова взял себя в руки. Он должен поговорить с ним начистоту — и поговорит!

Когда он вернулся с бритвенным прибором, отец лежал, закрыв глаза, глубоко погрузившись в воду.

Прижавшись спиной к двери, сын выпалил:

— Здесь никто ничего не знает. Все думают, что мама вдова.

Человек в ванне открыл глаза, и снова на лице его появилась улыбка.

— Ты в этом уверен?

— Да. Я знаю, что Мэйбл, девушка, с которой я обручен, ничего не подозревает. Она придет сегодня к обеду. И Родди Блейдс, жених Берил, тоже.

— Мэйбл и Родди. Рад узнать их имена. Будь любезен, дай мне то большое полотенце. Я сейчас буду мыть голову.

Подав отцу полотенце, юноша повернулся, чтобы уйти. Но у двери остановился.

— Отец...

— Вот именно! Эти естественные родственные связи постоянны и не подлежат изменению.

Юноша повернулся и выбежал из ванной.

Внизу, у лестницы, мать и сестра ожидали его.

— Ну?

— Ничего не вышло. Я просто не мог заявить ему, что мы хотим, чтобы он уехал.

— Конечно, мой дорогой, я понимаю.

— Ах, мама! Джек, ты должен!..

— Не могу. Я сейчас пойду их предупредить.

И, схватив шляпу, Джек убежал. Он бежал в вечернем тумане мимо маленьких домиков и пытался что-нибудь придумать. На углу, в конце ряда домиков, он остановился и позвонил.

— Можно видеть мисс Мэйбл?

— Она одевается, сэр. Войдите, пожалуйста.

— Нет. Я подожду здесь.

Стоя в темноте на крыльце, он репетировал: «Ты прости, но к нам приехал неожиданно один человек по делу...» Да, но что сказать, по какому делу?

— Здравствуй, Джек!

В дверях появилось видение — русая головка, розовое, круглое, голубоглазое личико над пушистым свитером.

— Послушай, дорогая... закрой дверь.

— Зачем? Что такое? Что-нибудь случилось?

— Да, изрядная неприятность.... Сегодня тебе нельзя будет к нам прийти, Мэйбл.

— Не обнимай так крепко! А почему нельзя?

— Ну-ну. Так... есть причины.

— А я знаю! Твой отец вышел из тюрьмы.

— Что? Да как ты..

— Ну, конечно, мы все это знаем. Теперь мы должны быть очень внимательны к нему.

— Неужели ты хочешь сказать, что Родди и все... а мы-то думали, что никто ничего не знает.

— Что ты, все знают! Одни к этому относятся так, другие иначе. Я — иначе.

— А ты знаешь, что он сделал?

— Да, я раздобыла газету и прочла весь отчет о процессе.

— Но почему ты мне ничего не рассказала?

— А ты почему не говорил?

— Это было так ужасно! А ты как думаешь?

— Я думаю, что с ним поступили безобразно.

— Но нельзя же разрешать подобные вещи.

— Почему нельзя?

— Но откуда же тогда будут братья люди?

— Англия и так перенаселена. Все это говорят.

— Это — совсем другое дело. А тут закон.

— Слушай, если ты хочешь спорить, то заходи в дом. Тут здорово холодно.

— Нет, я не хочу спорить. Мне надо еще предупредить Родди. Как хорошо, что ты все понимаешь, милая! Только... ты не знаешь моего отца.

— Значит, мне нельзя прийти?

— Не сегодня. Мама...

— Она, наверное, страшно рада?

— Д-да... она рада...

— Ну, всего хорошего. И знаешь что, ты отправляйся домой, а я скажу Родди. Ну-ну, не мни меня!

Возвращаясь бегом домой мимо маленьких домиков, Джек думал: «Как странно, боже мой! Все оказалось наоборот. Она! Она!.. Это очень современно».

3

Бывший № 299 сидел у камина, зажав сигарету в улыбающихся губах. Перед ним стоял стакан. В камине потрескивали угли. Часы пробили одиннадцать. Бросив окурок в золу, он потянулся и встал. Поднялся по лестнице, открыл первую дверь. В комнате было темно. Послышался тихий голос:

— Филипп?

— Я.

Он повернул выключатель, вспыхнул свет. Его жена сидела в постели очень бледная. Она пролепетала:

— Сегодня? Ты непременно хочешь?..

Бывший № 299 подошел к кровати, губы его все улыбались, в глазах было голодное выражение.

— Вовсе нет. В тюрьме приучают к воздержанию. Тебе сейчас противно?.. Пусть будет так. Спокойной ночи.

Голос из постели еле слышно отозвался:

— Филипп, ты меня прости. Но все это... так неожиданно... И я...

— Пустяки.

Он повернул выключатель, и свет погас. Дверь закрылась.

Три человека не могли уснуть в доме. Один спал. Те трое, что не спали, думали:

«Если бы только он дал нам повод пожалеть его! Если бы мы могли его полюбить! Его самообладание просто пугает и отталкивает. Оно неестественно. Ему бы следовало искать нашего сочувствия и сочувствовать нам. А он, кажется, ни к себе, ни к нам, ни к кому на свете ничего не чувствует. А что будет завтра? Разве можно теперь жить здесь? Сможем ли мы терпеть его присутствие в доме или поблизости? Он страшен!»

Спящий лежал в постели, в настоящей постели впервые за тысячу и одну ночь. Глаза на лице, как бы вы-

резанном из слоновой кости, были крепко закрыты. Он спал и во сне улыбался, радуясь мягкости своего ложа.

Уже после рассвета бодрствующие уснули, а спящий проснулся. Его взгляд искал одежду, сложенную на полке в углу, а пониже — блестящую жестяную кружку, искал глазок в двери и полосу клеевой краски на стенах тесной, накрепко замкнутой камеры. И вдруг кровь отлила от сердца: ничего этого не было! Все его существо боролось с фантастичностью окружающего. Он лежит в комнате и видит, как свет пробивается сквозь ситцевые занавески, и на нем ночная рубашка. А под ним самая настоящая простыня! Он вздрогнул, не смея себе поверить, затем откинулся назад и лежал, улыбаясь, разглядывая оклеенный бумагой потолок.

III

1

— Так не может продолжаться, мама! Не может! В его присутствии я чувствую себя жалким червяком. Я тоже сбегу, как Берил. У него одна цель — заставить всех чувствовать себя мелкими и ничтожными.

— Не забывай, что он пережил.

— Но я не понимаю, почему он должен отыгрываться на нас. Мы ничего ему не сделали, только страдаем из-за него.

— Он вовсе не хочет обидеть нас или кого другого.

— Ну да! У всякого, кто заговорит с ним, сразу пропадает желание продолжать. Он как будто кожу сдирает с человека. Это похоже на болезнь.

— Его можно только жалеть.

— Но он вполне счастлив, мама. Он просто берет реванш.

— Если бы в тот первый вечер...

— Мы пытались. Ничего не вышло. Он совершенно ни в ком не нуждается. Как быть завтра вечером?

— Мы не можем оставить его одного в канун рождества, Джек.

— Тогда нам придется взять его с собой к Берил. Здесь я не выдержу. Смотри! Вон он идет.

Бывший № 299, с книгой под мышкой, большими легкими шагами прошел под окном, у которого стояли мать и сын.

— Не может быть, чтобы он не видел нас. А прошел как мимо пустого места!

2

Бывший № 299 с книгой под мышкой вошел в Кью-Гарденс и сел на скамейку. Бонна с тремя детьми подошла и уселась рядом.

— Питер, Джоан и Майкл,— сказал бывший № 299,— имена очень модные.

Воспитательница беспокойно заерзала на месте: этот джентльмен такой странный. И чего он улыбается?

— Чему вы их обучаете?

— Чтению, письму, счету, сэр, и рассказываю из библии.

— А дети умные?.. М-да, не очень. Правдивы?.. Нет! Ну да, дети никогда не бывают правдивыми.

Бонна нервно сжала руки.

— Питер,— сказала она,— где твой мяч? Пойдемте поищем его.

— Да он у меня, мисс Сомерс.

— А! Все равно, здесь очень свежо. Идем.

Она ушла, и Питер, Джоан и Майкл поплелись за ней.

Бывший № 299 продолжал улыбаться. Китайский мопс, тащивший за собой пожилую толстую даму, подошел и обнюхал его брюки.

— Это он чует запах моей кошки,— пояснил бывший № 299.— Кошки и собаки любят, знаете ли...

Подхватив своего мопса и держа его под мышкой, как шотландскую волынку, толстая дама, переваливаясь, словно встревоженная гусыня, поспешила уйти.

Прошло несколько минут. Рабочий с женой сели на скамейку полюбоваться Пагодой.

— Любопытное строение! — сказал бывший № 299.

— Да! — отозвался рабочий.— Говорят, японское.

— Китайское, мой друг. Хороший народ китайцы. Никакого уважения к человеческой жизни.

— Что такое? Хороший... Так вы сказали...

— Именно так.

— Гм!..

Жена рабочего выглянула из-за него.

— Пошли, Джон! Тут мне солнце в глаза.

Рабочий встал.

— Хороший народ, вы сказали? Вот как?

— Да.

Жена потянула рабочего за рукав.

— Ну, перестань ввязываться в споры с незнакомым.
Идем!

И она увела мужа.

Часы пробили двенадцать. Бывший № 299 поднялся и вышел из сада. Пройдя мимо нескольких домиков, он позвонил у входа в маленькую мастерскую.

— Если ваш отец все еще не видит, я бы почитал ему, как бывало.

— Пожалуйста, сэр. Отец ослеп навсегда.

— Так я и полагал.

На диване под красными султанами раскрашенного ковыля сидел невысокий, коренастый мужчина и вырезал из дерева статуэтку. Он засопел и обратил невидящие глаза в сторону гостя. Все черты его квадратного лица, казалось, говорили: «Меня не сломишь».

— Что вы вырезаете? — спросил бывший № 299.

— Сегодня канун рождества, вот я и вырезаю Христа. Они у меня довольно хорошо получаются. Хотите этого?

— Спасибо.

— До конца бодро держался наш господь, не так ли? «Люби ближнего, как самого себя!» Значит, надо любить и себя. И он себя любил, думается мне. Впрочем, я не осуждаю его за это.

— Пожалуй, легче любить ближних, когда их не видишь, верно?

— Что, что? Разрешите мне ощупать ваше лицо. Это мне здорово поможет справиться с моим деревянным Христом. Я их стараюсь делать похожими на живых людей.

Бывший № 299 нагнулся, и слепой ощупал его лицо кончиками пальцев.

— Высокие скулы, глаза сидят глубоко, надбровья совсем особенные, лоб невысокий, волосы густые. От скул

идут вниз две впадины, нос тонкий, с горбинкой, подбородок острый. Усов нет. Вы улыбаетесь, не так ли? А зубы у вас свои? Надо вам сказать, вы замечательная модель. Я не всегда делаю Христа с бородой. Как вам угодно, чтобы он висел или нес крест?

— Как хотите. А свое лицо вы когда-нибудь копировали?

— Не для него. Вот для героев и государственных деятелей я гожусь. Свое лицо я придал капитану Скотту. У меня тип лица более задиристый, а у вас оно суровое и немного пронзительное, подходит для святых, мучеников и им подобных. Я еще разок пройду по вашему лицу, тогда мне будет все ясно. Так — острый кадык, одно плечо слегка перекошено, уши немного торчат. Вы довольно высокий и худой, да? При ходьбе вы брасываете ноги? Дайте на минутку вашу руку. Наверно, вы грызете ногти. Глаза голубые, а? И в середине такие светлые точки, да? Волосы у вас до того, как начали седеть, были рыжеватые, угадал? Ну, вот спасибо, очень вам обязан. А теперь, если желаете почитать, читайте, а я буду работать.

Бывший № 299 открыл книгу:

— «...Но вот однажды Гедлибергу не посчастливилось, он оскорбил проезжего, возможно, даже не подозревая об этом и уж, разумеется, не жалея о содеянном, ибо Гедлиберг был сам себе голова, и его мало тревожило, что о нем думают всякие чужаки. Однако на сей раз следовало бы сделать исключение, так как по натуре своей человек этот был зол и мстителен...»

— Ага! — воскликнул с чувством слепой. — Вот то-то и оно. Кстати, о чувствах, почему вы ко мне так по-дружески относитесь, позвольте вас спросить?

— Я могу на вас смотреть, мой друг, а вы меня не видите.

— Ха! А как у вас со всеми остальными?

— Они могут смотреть на меня, а я могу их не видеть.

— Понятно! Мизантропия. Есть причины для этого?

— Тюрьма.

— Ого! Изгнанник, отвергнутый людьми.

— Скорее наоборот.

Слепой перестал резать и выдабливать.

— Я люблю независимость,— сказал он.— Мне нравится человек, который способен идти своим путем. Наблюдали когда-нибудь кошек? Люди большей частью подобны собакам, и редко попадаете человек, похожий на кошку. А за что вы попали туда? Не слишком бесцеремонный вопрос?

— Я медик.

— Вот как! Скажите, что принимать, когда жжет под сердцем?

— А это смотря отчего жжет.

— Понимаю, что вы хотите сказать. Когда я стал слепнуть, у меня ужасно жгло в сердце. Но я перетерпел это. Что толку? Хуже этого уже не бывает, и потому чувствуешь себя вроде как застрахованным.

— Вы правы,— сказал бывший № 299 и встал.

Слепой повернулся к нему.

— Вы сейчас улыбаетесь?—спросил он.— Дайте мне, пожалуйста, еще раз ощупать ваше лицо, когда вы улыбаетесь, а?

Бывший № 299 нагнулся к его протянутым пальцам.

— Да,— сказал слепой,— то же самое с вами. Коснулись дна. Когда зайдете в следующий раз, я кое-что покажу вам, и, думаю, вам понравится. Спасибо за чтение.

— Когда вам надоест, скажите.

— Хорошо, скажу,— отозвался слепой и, сидя неподвижно, долго прислушивался к затихающим шагам своего гостя.

3

Канун рождества. Ночь ненастная, ветреная, льет дождь. По улице идет бывший № 299 на два ярда впереди жены, их сын следует на два ярда позади матери. В дверях, поджидая их, стоит закутанная в меха фигурка.

— Идем, милая. Прости, мы не могли не привести его.

— Конечно, вы должны были это сделать, Джек.

— Смотри, он даже не может идти с мамой рядом. Это болезнь. Сегодня он отправился в церковь и в течение всей проповеди не сводил глаз со священника. Бедняга викарий еле выдержал.

— А о чем была проповедь?

— О братской любви. Мама говорит, что он это делает не нарочно, но это похоже на взгляд... как назывался тот зверь, у которого был такой страшный взгляд?

— Василиск. Я пыталась, Джек, поставить себя на место твоего отца. Он там, наверное, кровавые слезы с кровью глотал, а всякие хамы помыкали им, как собакой, и это почти три года! Если тебя не сломят, так станешь на людей не похож. И все же это лучше, чем если бы он вышел оттуда и пресмыкался.

— Может быть. Осторожнее — дождь! Дай-ка я подыму твой капюшон, милая.

И шум дождя заглушает шепот.

А в прихожей, в дверях ярко освещенной комнаты под пучком омелы стоит девушка с пушистыми волосами.

— Счастливого рождества, папа!

— Спасибо. Поцеловать тебя?

— Как хочешь. Мамочка, милая! Хелло, Джек, Мэйбл! Входите! Родди, возьми у папы пальто.

— Как поживаете, сэр? Ужасная погода.

— Одно из преимуществ тюрьмы: нас никогда не беспокоила погода. Там тоже вывешивали надписи в веночках из ягод остролиста: «Мир и Добро». Очень мило! Христианство — великолепная мистификация, не правда ли?

И опять четверо идут по улице. Звонят колокола, призывают верующих на ночное рождественское богослужение.

— Ну и вечерок!

— Джек, дай им уйти подальше — еще услышат.

— Хуже некуда! Да он хоть кого изведет! Я думал, после выпивки он станет приятнее. Он ведь очень много выпил.

— Еще несколько дней осталось терпеть, а там...

— Ты согласна с мамой, Мэйбл, что он делает это не намеренно?

— Конечно, согласна.

— Как он сидит и улыбается! Ушел бы себе в пустыню и там улыбался!

— А может быть, он уже там...

— Это вам,— сказал слепой.— Все, что я могу сделать в моем положении. С крестом пришлось повозиться. Боюсь, немного тяжеловат. Но я думаю, что вы не взыщете.

— Да это настоящий шедевр!

— Серьезно? — спросил слепой.— Можно еще подправить красками. Тогда он станет больше похож на человека.

— Обязательно это сделаю.

— Я бы оставил лицо и крест некрашеными. Но волосы, одежда и кровь из-под тернового венца — все это выиграет, если немного подкрасить. Ну, а как поживает человек, который совратил Гедлиберг?

Бывший № 299 открыл книгу.

— «...Гудсон оглядел его с головы до пят, точно отыскивая на нем местечко погаже, и сказал: «Так вы, значит, от комиссии по расследованию?» Солсберри отвечает, что примерно так оно и есть. «Хм! А что им нужно — подробности или достаточно общего ответа?» «Если подробности понадобятся, мистер Гудсон, я приду еще раз, а пока дайте общий ответ». «Ну, хорошо, тогда скажите им, пусть убираются к черту. Полагаю, этот общий ответ их удовлетворит. А вам, Солсберри, советую: когда придете за подробностями, то захватите корзинку, а то в чем вы потащите домой свои останки?»

Слепой засмеялся от удовольствия.

— Эх! Люблю я этого Твена. Хорошее чувство юмора — ничего приторного.

— Хинин и собачий лай?

— Собачий лай, да и хватка тоже,— сказал слепой.— А что вы сами думаете о человеке?

— Мало или ничего.

— И все же в общем он не так уж плох. Возьмите нас с вами. У каждого из нас свои неприятности, а мы веселимся, как мальчишки. Надо полагаться только на самого себя, или придется страдать. Ведь вы то же самое думаете? Правда? Вот и головой кивнули. Или мне показалось?

— Нет, не показалось. Похоже, что ваши глаза видят не хуже, чем у зрячего.

— Они у меня блестящие, да? Мы с вами могли бы выплакать свои глаза. Но мы этого не сделали. Вот почему я и говорю, что с нами дело обстоит не так уж плохо. Отойди от мира и не вешай носа! Все равно счастливы вы будете только тогда, когда решите, что в жизни хуже, чем сейчас, быть не может. Так ведь, а?

— Да.

— Мне для этого понадобилось пять лет. А вам?

— Около трех.

— Что ж, у вас передо мной преимущество — происхождение и образование. Это даже по голосу чувствуется — тонкий такой, насмешливый. А я начинал в парикмахерской. И там мне не повезло — несчастный случай со щипцами для завивки. Больше всего мне жаль, что не могу ходить на рыбалку. Некому сводить меня. А вам не жаль, что вы больше не можете кромсать людей?

— Нет.

— Да, вероятно, у образованных людей вообще не бывает слабостей. А вот у меня настоящая страсть к рыбалке. Не было случая, чтобы я пропустил хоть одно воскресенье, в любую погоду. Вот почему я теперь занялся резьбой. Надо иметь какой-нибудь конек, а иначе как жить? А вы будете писать о себе? Я ошибся, или вы покачали головой?

— Нет, не ошиблись. Мой конек — наблюдать жизнь.

— В свое время, может, это подошло бы и мне тоже. Всегда любил сидеть и смотреть, как река катит свои воды. Я ведь немножко и философ тоже. А вот вы нет, этого не скажу.

— Почему?

— Да так... Кажется мне, что вы чересчур уж хотите жизнь себе подчинить — в том-то и беда всех благородных джентльменов. Скажите, я не прав?

Бывший № 299 захлопнул книгу и встал.

— Гордость, — сказал он.

— А-а! — откликнулся слепой. — Это первейшая ваша утеха. Так я и думал. Заходите еще, если я вам не надоел.

— И отвезти вас на рыбалку?

— В самом деле?! Отвезете?! Дайте вашу руку.

Бывший № 299 протянул руку. Слепой ощупью нашел ее...

— В среду поедem опять, приятель. Я вас не очень обременяю?

— Хорошо, в среду.

Держа корзинку с уловом в руке, слепой постоял у дверей своего дома, прислушиваясь к удаляющимся шагам своего нового друга, потом ощупью добрался до дивана под раскрашенным ковылем. Сунув озябшие ноги под плед, он удовлетворенно вздохнул и уснул.

А бывший № 299 шел домой мимо обнаженных акаций и кустов сирени перед окнами маленьких домиков. Войдя в свой дом, он поднялся к себе в кабинет, сел в кресло и протянул ноги к огню. Кошка, почуяв запах рыбы, прыгнула к нему на колени.

— Филипп, можно мне войти?

— Войди.

— Вся прислуга от нас уходит. Я хотела сказать... Ты не согласился бы все бросить и поехать со мной за границу?

— К чему это внезапное самопожертвование?

— Ох, Филипп, как трудно говорить с тобой. Ну чего ты, собственно, от меня хочешь?

— Возьми половину моих денег и уезжай.

— А ты что будешь здесь делать один?

— Найми кухарку. Мы с кошкой обожаем кухарок.

— Филипп!

— Да?

— Ну скажи мне, что у тебя на душе? Ты хочешь всю жизнь оставаться таким одиноким, как теперь?

Бывший № 299 взглянул на нее.

— Действительность ничего не значит для тех, кто никогда не смотрел ей в глаза. А я смотрел.

— Но почему...

— Дорогая Берта — ведь, кажется, так тебя зовут?

— Бог мой! Ты ужасен!

— Чем бы ты хотела, чтоб я стал, — раздавленным червяком? Чтоб я хныкал, пресмыкался перед людьми, которых презираю, и попадал из одного ложного положения в другое? Смирения моего тебе надо, так, что ли?

— Я хочу, чтобы ты был человеческим.

— А разве это не так? Я настолько человечен, что скорее мир пойдет к черту, чем я приму его жалость или покорюсь ему. Оставь меня в покое. Я всем доволен.

— Неужели я ничего не могу для тебя сделать?

— Можешь: отойди от камина, не заслоняй мне огонь.

6

В темноте, на улице, перед незанавешенным окном стоят две фигуры.

— Смотри, Мэйбл!

— Тише! Он может нас увидеть. Говори шепотом.

— Окно закрыто.

— Почему он не опустит шторы, если уж ему нравится так сидеть?

В темной пустыне теряется звук.
Ни крохи, ни капли воды,
Только тьма и пусто вокруг...

— Джек, мне жаль его.

— Да он не страдает! Страдаешь, когда любишь людей. А у него есть все, что ему надо. Посмотри на него.

Огонь камина освещает неподвижное и напряженное лицо, его выпуклости и впадины, блестящие глаза и улыбку; свет падает на котенка, уютно свернувшегося на коленях хозяина. Юноша и девушка отшатываются от окна. Крепко прижавшись друг к другу, они уходят прочь, идут мимо ряда маленьких домиков.

У НЕГО БЫЛА ЛОШАДЬ

I

Примерно четверть века тому назад жил в Оксфорде мелкий букмекер по имени Джеймс Шрюин, которого, однако, чаще звали просто Джимми. Был это неприкаянный, пришибленный человечек, который существовал на случайные доходы, главным образом благодаря студентам, увлекавшимся скачками. Неподалеку от «Корна» он имел так называемую контору и был всегда к услугам горячих молодых людей из Буллингдона, а также всех прочих любителей лошадей, которые и давали ему возможность заработать достаточно, чтобы как-то прокормиться. А когда один из них — молодой Гордон Колкьюэн — с треском вылетел в трубу, Джимми Шрюин стал владельцем лошади. Он не очень-то стремился заполучить эту лошадь, потому что при его подпольной профессии она была для него обременительнее белого слона, но все же взял ее в погашение ставок, зная, что в случае банкротства должника у него не будет на эти деньги никаких законных прав. Это была гнедая трехлетка от Лопеца и Календры по кличке Каллиопа, выезженная в меловых холмах близ Уонтэджа. И вот раз в воскресенье, в конце июля, Джимми попросил своего приятеля трактирщика Джорджа Пульхера отвезти его туда в пролетке.

— Надо поглядеть на эту чертову кобылу, — сказал он. — Тот желторотый птенец говорил, что лошадь — просто чудо, но она взяла всего только третье место в Сан-

дауне, а в скачках для двухлеток никогда не участвовала. Пока я знаю лишь одно: ест она больше, чем приносит пользы!

Рядом с толстяком Пульхером, одетым в светлый суконный костюм с огромными белыми пуговицами и розой в петлице, Джимми, маленький, худой, в черной одежде, истощенный постоянными волнениями и джином, казался совсем незаметным. И лицо у него, осунувшееся, чисто выбритое, с глубоко запавшими глазами под серым котелком, по сравнению с физиономией Пульхера, румяной, словно заходящее солнце, было как у привидения. О лошади своей он говорил равнодушно, но был обеспокоен и даже сконфужен тем, что стал ее владельцем. Он не мог отвязаться от мысли: «И на кой черт она мне сдалась? Что с ней делать: выставить ее на скачках или продать? Как извлечь из нее ту сумму, которую ему задолжал этот желторотый птенец? Да еще надо платить тренеру». И к тому же мысль, что придется предъявить свои права этому самому тренеру, угнетала его, человека, который всю свою жизнь старался не вылезать на передний план. Владелец! Да он никогда не был владельцем и белой мыши, не говоря уже о белом слоне! А лошадь его разорит в два счета, если он немедленно чего-нибудь не придумает!

Сын мелкого лондонского пекаря, Джимми Шрюин с четырнадцати лет состоял на побегушках, а профессией своей был обязан умению хорошо считать, ненависти к пекарне и привычке еще ребенком околачиваться на перекрестках с другими мальчиками, которые ставили свои карманные деньги «на лошадку». У него был ограниченный, но расчетливый ум, и он стал уличным букмекером, когда ему не было еще и восемнадцати лет. С тех пор он тайком кочевал с места на место, пока не осел в Оксфорде, где благодаря местным властям в подпольных делах можно было развернуться шире, чем где бы то ни было. Когда он один-одинешенек — ибо у него не было ни помощника, ни компаньона — сидел за своим узким столом в задней комнате, неподалеку от «Корна», поглядывая на дверь, со списками в ящике стола и с книгой в блестящем черном переплете для записи ставок, приготовленной для горячих молодых людей, с ви-

ду он был суров, холоден, замкнут. Трудно было даже заподозрить его в том, что он когда-либо слышал о четвероногом, именуемом лошадь. И в самом деле, для Джимми «лошадь» была чисто газетным понятием — рядом с именами лошадей всегда стояли различные цифры. И даже когда ему нельзя было работать самостоятельно и пришлось некоторое время подвизаться в букмекерской фирме самого низкого пошиба, он почти не видел лошадей. На ипподроме он часами рыскал среди толпы орущих потных людей или подслушивал разговоры немногословных жокеев, тренеров и всяких других субъектов, которые, как ему казалось, могли располагать «информацией». Теперь же он и близко не подходил к ипподрому, потому что его дело — посредничество в игре — не оставляло свободного времени, и все же, разговаривая с людьми, он редко мог удержаться более минуты, чтобы не заговорить о лошади, которую он, можно сказать, и в глаза не видел. И, где бы он ни был, голова его была всегда занята обдумыванием всех тех бесконечных, сложных и разнообразных способов, при помощи которых можно извлечь из лошади деньги. Пил он обычно джин и пиво, а курить предпочитал дешевые сигары. Он подолгу держал во рту давно погасший окурок, потому что так он чувствовал себя уютнее, когда сам говорил или слушал, как другие говорят о лошадях. Он был из числа тех городских людей, что, подобно воронью, питающемуся падалью, кормятся за счет существа, которое даже не представляют себе живым. А теперь у него была лошадь!

Кобыла Пульхера с подрезанным хвостом резво бежала, позвякивая подковами. Июльский ветерок раздувал сигару, которую покуривал Джимми. Дорожная пыль припудрила его черную одежду и бледное сморщенное лицо. Со злобным удовольствием он размышлял о крахе этого желторотого птенца, одного из тех высокомерных молодых дураков, которые так много о себе думают. Как часто приходилось ему сдерживаться, когда он готов был смеяться или скрежетать зубами, слыша, как они, важничая, говорили ему: «Джимми, ты разбойник!», «Джимми, ты мерзавец!» Глупые мотыльки — веселые и беспечные, — ну что же, вот один из них и сгорел!

Он повернулся и посмотрел исподлобья на своего друга Джорджа Пульхера. Вот это человек, торгует себе спиртным, совершенно независим, живет вдали от света в своем раю под вывеской «Зеленый дракон», ни перед кем не должен раболепствовать, может ездить куда захочет, и в Ньюбери, и в Гэтвик, и в Стокбридж. Да! У Джорджа Пульхера идеальная жизнь, по нему это сразу видно — такой он румяный, плотный, упитанный. И в лошадях толк знает, в общем, хитрая бестия. Джимми уважал его суждения, потому что он умел распутать любую хитрую комбинацию не хуже всякого другого. Помолчав, Джимми сказал:

— Что мне делать с этой чертовой лошастью, Джордж?

Даже не повернув головы, оракул изрек хриплым басом:

— Давай-ка сперва поглядим на нее, Джимми. Не нравится мне ее имя — Каллиопа, но тут уж ничего не поделаешь, так записано в племенной книге. И этот Дженниг, что выезжает ее, — с ним нелегко иметь дело.

Джимми нервно закусил губу. Пролетка поднималась вверх по склону, вдоль неогороженных полей, у подножия меловых холмов; пели жаворонки, зеленела пшеница, среди которой виднелись кое-где яркие пятна полевой горчицы. Кругом было пусто. Изредка мелькали деревья, дома, но нигде ни души, всюду тишина и спокойствие, только в небе носилась стайка грачей.

— Интересно, предложит ли он нам выпить? — сказал Джимми.

— Он не из таких. Лучше угощайся сейчас, сынок. Джимми сделал несколько глотков из большой оплетенной бутылки.

— Ты молодчина, Джордж! Твое здоровье!

Джордж передал ему вожжи и, в свою очередь, выпил, запрокинув голову так, что на лице его обозначилась нижняя челюсть, совершенно скрытая под многочисленными подбородками и массивной шеей.

— Ну, за твою лошадь, будь она проклята! — сказал он. — Она уже не выиграет приз в Дерби, но еще может нам пригодиться.

Тренер Дженниг, возвращаясь после воскресного осмотра конюшен, услышал стук колес. Это был худощавый человек, аккуратно одетый, в тщательно вычищенных ботинках, среднего роста, слегка прихрамывающий, с узкими седыми бачками, чисто выбритый, с тонкими губами и с острым взглядом серых глаз.

У его ворот остановилась пролетка, в которой сидели два довольно подозрительных субъекта.

— Что скажете, господа?

— Мистер Дженниг? Я Пульхер — Джордж Пульхер. Я привез к вам клиента, он хочет посмотреть на свою кобылу. Это мистер Джеймс Шрюин из Оксфорд-Сити.

Джимми вылез из пролетки и остановился. Тренер смерил его суровым взглядом.

— Это какая же кобыла? — спросил Дженниг.

— Каллиопа.

— Каллиопа мистера Колькюэна?

Джимми протянул ему письмо.

«Дорогой Дженниг!

Я продал Каллиопу Джимми Шрюину, букмекеру из Оксфорда. Он берет ее вместе со всеми обязательствами, включая твое жалованье. Мне страшно жаль расставаться с ней, но что поделаешь.

Гордон Колькюэн».

Тренер сложил письмо.

— А купчая при вас?

Джимми вынул из кармана еще одну бумагу.

Внимательно прочитав ее, тренер крикнул:

— Бен, выведи Каллиопу! Извините меня, я на минутку. — И ушел в дом.

Джимми стоял, переминаясь с ноги на ногу. Он был обижен: сухость и резкость тренера задела его, хотя он с детства привык смирять свое самолюбие.

Пульхер пробасил:

— Говорил я тебе, что с ним нелегко иметь дело. Но ты тоже не давай ему спуску.

Тренер вернулся.

— Вот мой счет,— сказал он.— Когда вы его оплатите, можете забрать кобылу. Я работаю только на джентльменов.

— Ах вот как,— сказал Пульхер.

Джимми, уставившись в бумагу, не сказал ничего. Семьдесят восемь фунтов и три шиллинга! Муха жужжа села ему на щеку, но он даже не согнал ее. Семьдесят восемь фунтов!

Стук копыт заставил его прийти в себя. Появилась его лошадь, встряхивая головой, как бы спрашивая, по какому это поводу ее вторично побеспокоили в воскресенье. В движении ее головы и гладкой шеи была какая-то независимость, какое-то превосходство над присутствующими.

— Вот она,— сказал тренер.— Держи ее, Бен. Стой, милая!

Повинуясь узде, лошадь остановилась, роя землю копытом задней ноги и помахивая хвостом. Ее гладкая шкура ярко блестела на солнце и порой морщилась или вздрагивала, когда на нее садились мухи. Потом она на миг застыла совсем неподвижно, насторожив уши и глядя куда-то вдаль.

Джимми подошел к ней. Она снова забеспокоилась, начала махать хвостом и рыть землю копытом, а он обошел вокруг нее на почтительном расстоянии, пригнувшись, как будто искал каких-то изъянов. Он знал все о ее родителях и о лошадях, которых они побили или которые побили их; он мог бы не менее получаса рассказывать об их карьере. Но вот перед ним их отпрыск во плоти, и он словно онемел! До сих пор он не имел ни малейшего понятия о том, как выглядит лошадь, и понимал это, но его охватило какое-то смутное волнение. Она выглядела, как на картинке.

Обойдя вокруг лошади, он подошел к ней спереди, а она снова вскинула голову с белой звездочкой на лбу, не то прислушиваясь, не то почуяв что-то. Он робко положил руку ей на шею, теплую и гладкую, как женское плечо. Она не обратила на это внимания, и он убрал руку. Может, ему следовало бы посмотреть ей в зубы или ощупать ноги? Нет, ведь он ее не покупает, она уже его собственность; но он должен что-то сказать. Он оглянулся. Тренер наблюдал за ним с легкой усмешкой.

Наверное, впервые в жизни терпению Джимми Шрюина пришел конец; не сказав ни слова, он пошел к пролетке.

— Уведите ее,— сказал Дженниг.

Сидя в пролетке рядом с Пульхером, Джимми смотрел, как лошадь уводили в стойло.

— Когда я получу деньги по вашему чеку, можете прислать за ней,— сказал тренер и, круто повернувшись, пошел к дому, а вслед понеслось напутствие Пульхера:

— Черт тебя побери, наглец! А ну давай, куцехвостая, отряхнем здешний прах с копыт!

И пролетка снова покатила вдоль полей. Солнце садилось, стало прохладнее, зелень хлебных колосьев и полевой горчицы, казалось, сверкала еще ярче.

— Вот скотина! Клянусь богом, Джимми, я бы съездил ему по роже. Но ты приобрел неплохую лошадку. Она породистая, сын мой, и я знаю тренера, который как раз для нее подойдет,— Полман, уж он-то не задирает носа.

Джимми пососал свою сигару.

— Конечно, мне до тебя далеко, Джордж, это так. Мне смолоду пришлось заняться этим глупым делом, так что я не бог весть какая важная птица. Но я завтра же пошлю ему... чек. Надеюсь, у меня есть своя гордость.

Эта мысль пришла ему в голову первый раз в жизни.

III

Хотя трактир «Зеленый дракон» и не был деловым центром ипподрома, некогда он знавал лучшие времена и пользовался доброй славой. С тех пор, как Джимми сделался владельцем Каллиопы, на него стали смотреть как на человека, за счет которого можно чем-то поживиться. И он, издавна привыкший угождать всем и каждому, стараться быть незаметным и безропотно сносить высокомерие молодых людей, не сразу это понял. Но постепенно, видя, что его все чаще угощают сигарами, а когда он входит, поднятые рюмки застывают в воздухе и всякий старается подсесть к нему, а потом даже проводить его немного по улице, он понял, что он не просто жалкий букмекер, но еще и человек. Пока

Джимми не осознал этой своей двойственности, он удовлетворялся тем, что продолжал принимать ставки и извлекать для себя выгоду всюду, где только можно, ничем не брезгуя. Но теперь, когда он почувствовал себя человеком, его спокойствие было нарушено. У него была лошадь, и он все больше этим гордился. Теперь ее выезжал Полман там, в холмах, куда уже не доехать было на кобыле Пульхера. И хотя официально о ней все было известно в «Зеленом драконе», неофициальные дела приходилось устраивать, предпринимая ночные поездки поездом. И Джимми предпринимал такие поездки дважды в неделю. Он тайно следил за своей лошадью, ранним утром, едва всходило августовское солнце, жертвуя и выпивкой, и разговорами, и даже сигарами. Раннее утро, пение жаворонков и быстрый стук копыт! В припадке откровенности он признавался Пульхеру, что все это «чертовски полезно для здоровья».

Правда, вначале произошло одно небольшое недоразумение, когда новый тренер, Полман,— толстый мужчина, похожий на рыжего корнуэльского кота, которого даже нельзя было назвать вкрадчивым, поскольку хитрость была у него в крови,—решил, будто он что-то вынюхивает о Каллиоппе. Но все обошлось, и Джимми стал постепенно расти в собственных глазах. В тот август ничего особенного не произошло, но между тем назревали важные события.

Неверно, будто люди занимаются финансовыми операциями, крупными или мелкими, из жадности или азарта; они занимаются этим исключительно из самоуважения, испытывая этаким зуд, стремясь доказать свое умственное превосходство над другими и свою значительность. Джордж Пульхер был не прочь заработать лишний пенс, но гораздо больше он ценил то, что люди говорили: «Старина Джордж! Как он скажет, так и выходит... Он кое-что понимает, Джордж Пульхер!»

Закулисное руководство лошадью Джимми Шрюина открывало Пульхеру самые широкие и разносторонние возможности. Но прежде всего следовало убедиться, на что она способна, а также определить ту неизвестную величину, которая именуется «формой» лошади. Чтобы добиться какого-нибудь толку в этом году, им следовало

«пошевеливаться». Этот молодой франт, ее бывший владелец, конечно, из благородных, он выставлял ее на классических скачках и самых изысканных гандикапах, пренебрегая богатыми возможностями более скромных состязаний.

Она заняла третье место в заезде трехлеток в Сандауне, отстала всего на две головы, а теперь за нее предлагали семь против двух в Кембриджшайре. Конечно, она может выиграть, но может и проиграть. Пульхер просидел два долгих вечера в конторе Джимми, в задней комнате трактира, обсуждая этот важный вопрос.

Джимми склонялся к решительным действиям. Он все время твердил:

— У этой лошади удивительная резвость, Джордж, просто удивительная.

— погоди, покуда ее испробуют, — изрек оракул.

Может, у Полмана нашлось бы для этого что-нибудь подходящее?

Да, у него был Сачок (такие иронические клички нравятся англичанам), один из самых надежных четырехлеток, когда-либо участвовавших в скачках, он бегал почти со всеми известными рысаками. Сачок был единственной лошадью, в чье воспитание Полман не вмешивался, потому что если режим нарушался, он от этого бегал только лучше. Сачок редко приходил первым, но всегда брал какой-нибудь из призов, а на такую лошадь завсегдатаи скачек буквально молятся.

— Ну что ж, — сказал Пульхер. — Попробуй ее с Сачком, и после первого же верного выигрыша на нее будут ставить десять против одного. Ведь лошадь Полмана всегда приходит в числе первых. А нам надо для начала пустить пыль в глаза. Я съезжу и переговорю с Полманом.

В тщедушной груди Джимми зашевелилось смутное чувство обиды: ведь в конце концов это его лошадь, а не Джорджа, но авторитет и важность его друга заставили это чувство заглухнуть.

Пыль была пущена в глаза на обычной тренировке в Лонг Майл на исходе августа. Бежали пятилеток Палач, с наездником весом в восемь стоунов¹ семь фунтов,

¹ Стоун — мера веса, равная 14 английским фунтам.

трехлеток Попугай, с наездником в семь стоунов пять фунтов, и Каллиопа,—сколько весил ее наездник, никто, кроме Полмана, не знал. Предусмотрительный Джордж Пульхер позаботился о неофициальном присутствии представителей прессы. Наездник Каллиопы получил указание добратся до финиша побыстрее, но ни в коем случае не приходить первым. Джимми и Джордж Пульхер приехали ночью. Они сидели в пролетке у кустов возле линии финиша, а Полман на своей верховой лошаденке был по другую сторону беговой дорожки.

В прозрачном, летнем воздухе все три лошади были отчетливо видны невооруженным глазом на пологом склоне перед линией старта. А Джимми в бинокль, на который он потратился, раз уж у него была лошадь, видел каждое их движение. Его лошадь приближалась, едва касаясь копытами земли, как и полагается чистокровной гнедой кобыле, и морда ее лоснилась на солнце. Сердце у него сильно забилося, и он сжал губы. А вдруг сейчас окажется, что она никуда не годится и этот птенец просто-напросто надул его! Он боялся не только потерять деньги, к страху примешивалось чувство более сокровенное,—его человеческое достоинство было поставлено на кон.

Джордж Пульхер буркнул почти взволнованно:

— Вон соглядатай! Видишь, вон за тем кустом! Думает, что мы его не заметим, эге!

Джимми крепко закусил сигару.

— Они уже близко,—сказал он.

Лошади бежали широко: гнедой Палач с краю, всех дальше от них, Каллиопа — посередине. Джимми затаил дыхание, смешанное с табачным запахом. Лошадь бежала без малейшего напряжения, она отстала всего на один или два корпуса и теперь легко нагоняла соперников. А ну-ка...

Ага! Она обошла Палача и уже настигает Попугая! Джимми едва удержал радостный крик. Лошади промчались мимо, гремя копытами, лоснящаяся морда Каллиопы была почти вровень с гнедой мордой Попугая,—они пришли к финишу почти ноздря в ноздю, а Палач отстал на целый корпус.

— Гляди, Джимми, вон он какого стречка задал,

тот малый. Вон бежит по склону, прямо как заяц! Ну, завтра в газетах появится полный отчет, будь уверен. Однако, когда берешь в руки такой отчет, нужно уметь читать между строк.

Наездники завернули лошадей и снова приближались; Полман на своей лошадке поехал им навстречу.

Джимми прыгнул с пролетки. Он боялся упустить хоть одно слово тренера. Ведь это его лошады! Едва не угодив к ней под копыта, он нетерпеливо спросил:

— Ну как?

Полман никогда не смотрел собеседнику в глаза. Он говорил так, словно ни к кому не обращался.

— Расскажи-ка Шрюину, как она шла,— сказал он наезднику.

— У меня был еще запасец. Если бы я хлестнул ее как следует, мог бы вырваться вперед на корпус, а то и больше.

— Ах, так! — хрипло проговорил Джимми. — Смотри у меня, не смей ее хлестать; ей это ни к чему, запомни.

Наездник обиженно буркнул:

— Ладно!

— Уведите ее,— сказал Полман. Затем все так же задумчиво и рассеянно добавил: — Наездник весит восемь стоунов, мистер Шрюин. У вас хорошая лошадь. Не хуже Палача.

В душе у Джимми поднялась какая-то буйная радость,— он представил себе Палача, распластавшегося в беге. Теперь и у него была лошадь. Да, черт побери, у него была лошадь!

IV

Но ввести лошадь в игру не так-то просто, это — дело тонкое и деликатное. Первым делом вы вносите комиссионный сбор. Но сколько потребуется ловких ухищрений, сколько труда, прежде чем это принесет плоды! Нужно заглушить, усыпить, обмануть шестое чувство знатока, которое, подобно инстинкту дикаря в дремучем лесу, позволяет ему на расстоянии угадывать то, что скрыто от его взгляда.

Джордж Пульхер твердо взялся за дело. С первого взгляда казалось невероятным, чтобы такой грубый и

простой человек мог обладать такой тонкой интуицией, такой исключительной способностью одной рукой сеять, а другой пожинать плоды. Ничего не утверждая, он намекал, что Каллиопа и Попугай стоят друг друга.

— Попугай,— говорил он,— не мог бы выиграть с наездником весом в семь стоунов, так что ж говорить о Каллиопе!

Мнение местных любителей скачек было для этого хитреца основой его комбинаций. До тех пор, пока мнение их было не в пользу Каллиопы, он понемногу наживался в Лондоне. А подозрения, которые, вполне естественно, порождала всякая его смелая комбинация, он без труда усыплял, осторожно распространяя неблагоприятные отзывы знатоков.

В эти первые недели, когда он в упоении хватал каждый пенс, зарабатывая на неравных ставках, пока никто не заподозрил неладное, единственный, кто вставлял ему палки в колеса,— это Джимми. Он не раз узнавал, что «этот негодный малый чуть-чуть не проболтался о настоящих статях своей кобылы». Джимми, видимо, даже мысли не допускал, что его лошадь может их подвести, и вообще задрал нос. Однажды он даже ушел из трактира, не притронувшись к своему джину,— так и оставил его на стойке. Пульхер воспользовался его отсутствием, чтобы сказать лондонскому маклеру, приехавшему разнюхать, что и как.

— Да я сам видел, как ее пробовали! А Джимми просто не хочет примириться с тем, что его одурачили.

И на другой день его агент в Лондоне получил еще несколько ставок — тридцать три против одного.

Проба показала, что Каллиопа не уступит Палачу с наездником весом в семь стоунов два фунта,— прекрасная лошадь, на которую смело можно ставить семь к одному. Но когда Пульхер, развернув номер «Спортивной жизни» от 30 сентября, прочел, что она котируется сто к восьми, он вскипел. Чья это работа?

Поскольку положение изменилось, пришлось думать, как теперь быть. Он вложил в это дело триста фунтов стерлингов, почти половина ставок была сделана из расчета в среднем тридцать против одного, а теперь, когда все начнут ставить на Каллиопу, он едва ли най-

дет игроков, которые поставят десять против одного. Кто это посмел вмешаться?

Все объяснилось через два дня. Неизвестным, который так опрометчиво вступил в игру, был Джимми! Оказалось, он сделал это из ревности — хорош букмекер! У Пульхера даже дух захватило.

— Ты на нее поставил только потому, что этот мальчишка ее расхваливал!

Джимми поднял голову. Он сидел за столом в своей «конторе» в ожидании клиентов, столь редких в такую пору.

— Это теперь не его лошадь, — сказал он угрюмо. — Я не хочу, чтобы он снял все сливки.

— Сколько же ты поставил? — спросил Пульхер.

— Пять ставок сто против тридцати и пятнадцать ставок двадцать против одного.

— Смотрите, что он натворил: все дело испортил. А те пятьдесят фунтов, что остались, ты мне отдашь?

Джимми кивнул.

— Ну, если так, сотня фунтов еще наберется, — проворчал Пульхер, несколько смягчившись. Он встал, большой, грузный, и стоял неподвижно, раздумывая. — Теперь уже нечего выжидать, — сказал он. — Я сегодня же размещу все оставшиеся деньги. Если мне в среднем удастся сыграть в десяти к одному, у нас будет шесть тысяч триста фунтов в игре. Говорят, Дженниг выставил свою Бриллиантовую Запонку. А уж он-то знает все возможности Каллиопы, черт его побери! Надо глядеть в оба.

И, действительно, им надо было глядеть в оба. На Бриллиантовую Запонку, четырехлетку с наездником, весившим восемь стоунов два фунта, теперь ставили так, будто Кембриджшайрские скачки уже заканчивались. Сначала пятнадцать против одного, потом семь против одного, потом пять против одного, и вот Бриллиантовая Запонка стала фаворитом. Пульхер намотал это себе на ус. Дженниг отлично знает Каллиопу! А это означает, что она... что первой ей не прийти! Хитрый Пульхер не стал напрасно тратить время на пустые сожаления. Ему было ясно, что нужно поднять котировку на Каллиопу, а потом переуступить свои ставки. Пришло время использовать Сачка.

Над меловыми холмами висела легкая дымка, как всегда в ясный октябрьский день. Три лошади, выходявшие на старт, были издали похожи на призраки. Полман опять выпустил своего Попугая, но на этот раз он не скрывал веса наездников. Наездник Сачка весил восемь стоунов семь фунтов, Каллиопы — восемь, а Попугая — семь стоунов.

И еще раз, сидя в пролетке и глядя на беговую дорожку в бинокль сквозь прозрачную дымку, Джимми почувствовал, как у него сильно забилося сердце. Вот они! Его лошадь впереди... Все три мчатся во весь опор... Настоящие скачки! Они пронеслись мимо — Сачок отстал от Каллиопы на целый корпус, а Попугай на полкорпуса от него. Джордж Пульхер, сидевший в пролетке рядом с Джимми, пробормотал:

— Она стоит Сачка с наездником, который весит восемь стоунов четыре фунта!

Молча, в глубоком раздумье они вернулись в гостиницу, стоявшую на берегу реки. Молча позавтракали. После завтрака, потягивая пиво, оракул изрек:

— У Сачка с наездником в восемь стоунов и четыре фунта почти все шансы на выигрыш, но все же это не наверняка. О сегодняшней пробе мы все расскажем как есть и вес наездников не скроем. Тогда на Каллиопу начнут ставить. А мы будем следить за Бриллиантовой Запонкой. Если котировка на нее упадет, мы будем знать, что Дженниг на этот раз не рассчитывает нас побить. Если же котировка останется прежней, мы будем знать, что Дженниг по-прежнему не считает нашу лошадь опасной. Тогда нам будет ясно, что делать: мы переуступим свои ставки, заработаем тыщонку-другую и выставим свою лошадь с наездником подходящего веса в Ливерпуле.

Джимми уставился на него своими тусклыми глазами.

— Как же так? — сказал он. — А вдруг она выиграет?

— Выиграет! Если мы переуступим ставки, она не должна выиграть!

— А если ее подхлестнуть?

Джордж Пульхер презрительно отозвался, понизив голос:

— Да кому это нужно? Пускай бежит, как хочет. Мы даже не узнаем, могла бы она выиграть или нет.

Джимми сидел молча. Наконец-то подворачивался случай, которого он ждал целых шестнадцать лет, почти всю свою сознательную жизнь. Если действовать умело, они выиграют так или иначе.

— Кто наездник? — спросил он.

— У Полмана есть на примете некий Докер. Он как раз нужного веса. В любом случае он для нас подойдет: отлично финиширует, хорошо чувствует расстояние и умеет распределять время. Будем ли мы ставить на выигрыш или нет, он нам все равно годится.

Джимми погрузился в вычисления. Если переуступить ставки при котировке семь к одному, они все же получают четыре тысячи чистой прибыли.

— Я бы предпочел выигрыш, — сказал он.

— Эх! — сказал Пульхер. — Послушай, сынок, ведь на дорожке будет двадцать лошадей; более ненадежной скачки, чем в этом проклятом Кембриджшайре, нарочно не придумаешь. А ведь мы можем заработать тысячу так же легко, как я — поднять эту кружку. Нет уж, Джимми, лучше синицу в руки... А если Каллиопа придет первой, в дальнейшем нам от нее толку не будет. Так что давай огласим результаты сегодняшней пробы и посмотрим, какое впечатление это произведет на Дженнига.

На Дженнига это произвело самое удивительное впечатление. Бриллиантовая Запонка стала котироваться на одно очко ниже, но потом снова поднялась до девяти против двух. Дженниг явно не унывал.

Джордж Пульхер покачивал головой и выжидал, все еще не уверенный, по какому пути пойти. Решился он благодаря забавному стечению обстоятельств.

В университете начались лекции; Джимми был занят, обрабатывая свою клиентуру. Благодаря вмешательству опекунов дела молодого Колькюэна каким-то чудом поправились. Он снова «встал на ноги» и жаждал восстановить свою репутацию, а эта скотина Джимми не хотел ставить против Каллиопы! Он только морщился и твердил: «Я не ставлю против своей собственной лошади». Это был уже совсем не тот человек, что раньше. Держался он самоуверенно, одевался не в пример лучше. Кто-то видел его на вокзале, — он был разодет,

как настоящий франт: в пальто синего сукна, в котором его тщедушная фигура совсем тонула, и с биноклем для скачек в желтом футляре через плечо. Одним словом, «этот негодяй совсем задрал нос».

И эта странная перемена в Джимми окончательно убедила всех, что его лошадь действительно чего-то стоит. В оксфордцах вспыхнули патриотические чувства. Как-никак, это их лошадка. Все ставили на нее, и сумма росла, как снежный ком.

За неделю до скачек — Каллиопа твердо котирировалась в девяти к одному — молодой Колькюэн поехал в город, заручившись поддержкой всех оксфордцев, игравших на скачках. А вечером Каллиопа уже котирировалась в шести к одному. На следующий день на нее стала ставить широкая публика.

Джордж Пульхер воспользовался этим. В тот критический миг он действовал по собственной инициативе. Каллиопа опять стала котирироваться в восьми к одному, но дело уже было сделано. Пульхер переуступил все свои ставки. Вечером он коротко объяснил Джимми положение.

— Мы срываем тысячу, и победа в Ливерпуле, можно считать, у нас в руках. Это не так уж плохо.

Джимми крикнул.

— Но она могла бы и выиграть.

— Ни в коем случае. Дженниг знает, на что идет, да и другие лошади тоже кое-чего стоят. Возьми Осу, с ней нелегко потягаться, и со Зверобоем тоже. Это, скажу тебе, классная лошадка, даже с таким наездником, как у нее.

Джимми снова крикнул, медленно потягивая джин, потом угрюмо сказал:

— Ну, а я не хочу, чтобы денежки потекли в карманы этого мальчишки и его компании. Как тебе нравится его наглость — ставит на мою лошадь, как будто она его собственная!

— Нам придется поехать и посмотреть, как она побежит, Джимми.

— Нет уж, уволь.

— Что? Ведь она побежит в первый раз. Это будет просто неестественно, если ты не придешь.

— Нет,— повторил Джимми.— Я не хочу видеть, как ее побьют.

Джордж Пульхер положил руку на его костлявое плечо.

— Чепуха, Джимми. Тебе надо поехать, чтобы поддержать свою репутацию. Тебе будет приятно взглянуть, как седлают твою лошадь. Выедем ночным поездом. Я поставлю несколько фунтов на Зверобоя. Мне кажется, он сумеет обскákat Бриллиантовую Запонку. А Докера предоставь мне, я завтра поговорю с ним в Гэтвике. Я его знаю с того времени, когда он был вот таким малышом, да и сейчас он немногим выше.

— Ладно,— пробурчал Джимми.

V

Чем дольше длятся приготовления к скачкам, тем больше они доставляют удовольствия всем. Наездники наслаждаются подготовительной работой, у членов клуба и ипподромных оракулов довольно простора для воспоминаний и предсказаний; букмекеры на досуге могут хорошенько все подсчитать, вместо того, чтобы наспех за полчаса до очередного заезда, заключать сделки; но больше всех бывает увлечен профессиональный игрок: он мечтает о том, как наживет состояние на какой-нибудь из лошадок — на лошадке с подмоченной репутацией, которую все считают никуда не годной, неспособной добежать до финиша, невыезженной, слишком жирной, непородистой, медлительной а она возьмет да и придет первой! Широкая же публика каждый день читает и перечитывает в бюллетене имена лошадей, а это такое приятное занятие!

Джимми Шрюин не принадлежал к тем философам, которые оправдывают великий, распространяющийся повсюду тотализатор тем, что он способствует улучшению породы животного, которое все меньше находит себе применение. Он оправдывал тотализатор по более простой причине — это был источник его существования. И за всю его почти двадцатилетнюю карьеру, с тех самых пор, как он начал записывать тайные ставки лондонских мальчишек, никогда судьба не благоприятствовала ему так, как в то утро, когда его лошадь должна была при-

нести ему пятьсот фунтов, просто-напросто проиграв скачку. В предвкушении барыша он вместе с Джорджем Пульхером провел ночь в одном из лондонских мюзик-холлов. А утром он, как и подобает владельцу лошади, в вагоне первого класса специальным поездом отправился в Ньюмаркет. Поскольку это был специальный поезд, то проводник специально запер купе, впустив в него только шесть человек, и они тронулись в путь,— все шестеро профессионалы с бегающими, ничего не выражающими глазами, с обвислыми ушами, немые, как рыбы. Только один из них, толстый, краснолицый человек, который, по его словам, «занимался этим делом вот уже тридцать лет», был словоохотлив. Но даже он, разглагольствуя о прошлом или будущем той или иной «классной лошадки», ни словом не обмолвился о предстоявших скачках. Они проехали больше половины пути, прежде чем восхищение собственной проницательностью развязало им языки. Начал Джордж Пульхер.

— Я предпочитаю Зверобоя,— сказал он.— Классная лошадка.

— Слишком уж тяжел у него наездник,— сказал краснолицый человек.— А что вы думаете насчет Калиопы?

— Гм,— хмыкнул Джордж Пульхер.— Скажи-ка, Джимми, тебе нравится твоя кобыла?

Джимми, утонувший в своем синем пальто, надвинувший на глаза коричневый котелок и окутанный сигарным дымом, почувствовав, что все взоры обратились на него, ощутил необыкновенный душевный трепет. Уставившись в пустоту между краснолицым человеком и Пульхером, он заявил:

— Если она будет бежать так же хорошо, как она выглядит,— у нее есть шансы.

— Да! — сказал Пульхер.— Она темной масти... с виду — хорошая лошадка, только малость легковата и не красива.

— Она от Лопеца и Календры,— пробормотал краснолицый человек.— Лопец недолго продержался, но это была классная лошадь на дистанции в одну милю. А Сачок себя уже показал.

Джимми не ответил. Ему было приятно, что этот краснолицый пытался его прошупать и потерпел неудачу.

— Да, сегодня интересная скачка. А Фаворит мне самому не нравится, хотя в Аскоте ему уже не с кем потягаться.

— Ну, Дженниг знает, что делает,— сказал Пульхер.

Дженниг! Джимми вспомнил, как он в первый раз увидел свою лошадь, вспомнил улыбку тренера — как будто он, Джимми Шрюин, ее владелец, был просто грязью. Подлец! Да еще велел своим конюхам бить Каллиопу! Последнее время, с тех пор, как Джордж Пульхер решил, что его лошадь должна проиграть, Джимми неотвязно мучила досада. Проклятый Пульхер! Он слишком много на себя берет! Вообразил, что Джимми Шрюин у него в руках. Он уставился на темно-красную стену купе. Боже правый! Если бы Джордж Пульхер только знал, о чем он думает!

Но, подъезжая к ипподрому, он все же снизошел до того, что разделил с Пульхером бутерброды и бутылку вина. Вообще его обуревали чувства бурные и неопределенные: иногда он возмущался Пульхером, а иногда брало верх старое чувство уважения к гордой независимости друга. Достоинство собственника не сразу укореняется в душах тех, кем прежде помыкали.

— С Докером все улажено,— пробормотал Пульхер, потягивая вино из оплетенной бутылки.— Я договорился с ним в Гэтвике.

— Она могла бы выиграть,— буркнул Джимми.

— Ну нет, сынок. По крайней мере две лошади легко обскакали бы ее.

Как и все прорицатели, Джордж Пульхер верил в то, во что хотел верить.

С вокзала они пошли прямо на ипподром, и Джимми увидел за перегородкой «дешевую трибуну», где уже собирались завсегдатаи. Лица да зонтики — все та же знакомая толпа. Как часто он бывал на этой трибуне, где не протолкнуться, где ничего не видишь и только слышно со всех сторон: «Два к одному против Фаворита!», «Два против одного на Фаворита!», «Три на Меч-рыбу!», «Пять на Алебастра!», «Два против одного на Фаворита!» И больше ничего — только толпа людей, таких же, как он, да небо над головой. Он едва ли признавал свое критическое отношение к этим людям, но чув-

ствовал смутное облегчение при мысли: «Слава богу, что я огражден от этой толпы».

Джордж Пульхер увлекся разговором с приятелем, а Джимми закурил сигару и вышел на беговую дорожку. Он прошел мимо трибун Жокейского клуба. Там уже было несколько франтов; собравшись по двое или по трое, они обменивались глубокомысленными замечаниями. Он посмотрел на них без зависти и злобы. Теперь он сам был владельцем лошади и, можно сказать, принадлежал к их кругу. И он с особым удовольствием подумал о том, что всю жизнь он мыкался, лез из кожи, чтобы угодить этим франтам, презираемый ими, а теперь мог уехать в меловые холмы подальше и от них, и от Джорджа Пульхера, и от всей этой толпы и вдыхать запах трав, слушать пение жаворонка и смотреть, как скачет его собственная лошадь!

Уже объявили номера для первого заезда. Как странно — не делать ставок, не тереться в толпе; как странно, что он может отдохнуть от всего этого! Отлично зная все эти вывешенные на доске имена, он ровным счетом ничего не знал о самих лошадях.

«Пойду посмотрю, как их выводят на дорожку», — подумал он и зашагал, подпрыгивая, в своем пальто, вздувшемся колоколом, и котелке с прямыми полями. Когда он входил в загон, позади него, на трибуне, уже начинался обычный шум.

Здесь было много зелени, и вокруг царила тишина; людей пока собралось немного. Трех лошадей, участвовавших во втором забеге, медленно водили по кругу, а у дальних ворот, откуда лошадей выводят на дорожку, собирались кучки зрителей. Джимми, покуривая сигару, присоединился к ним. Вот это лошади — каждая прямо картинка! Черт возьми, да они куда лучше людей! Красавицы!

Одну за другой их вывели из ворот, целую дюжину. Конечно, хозяева нарочно выставили их, чтобы потом продать, но все-таки они очень хороши.

Он повернулся спиной к лошадям и по старой привычке стал прислушиваться к тому, что говорят люди. Разговор шел о большом заезде. Он услышал, как один высокий франт назвал Каллиопу.

— Говорят, она принадлежит какому-то маклеришке.

Маклеришка? Ну и что ж! Разве маклер хуже всякого другого человека? Нет, иной раз он лучше всех этих молодых снобов, которые живут на всем готовом! А маклер... Много ли у него бывает денег за всю жизнь?

Мимо провели большую гнедую лошадь.

— Это Зверобой,— сказал все тот же франт.

Джимми неприязненно поглядел на лошадь, которую выбрал Джордж Пульхер. А вот вывели еще одну — Осу, наездник — шесть стоунов десять фунтов, а у Зверобоя — девять стоунов, наименьший и наибольший вес, допускаемый на этих скачках.

«Моя лошадь обскакала бы любую из них,— упрямо думал он.— А эта Оса, по-моему, никуда не годится».

Отдаленный гул на трибунах затих. Начался первый заезд. Джимми пошел к воротам. Шум возобновился, потом снова смолк, и вот лошади уже возвращаются в загон, потемневшие от пота, чуть поводя боками.

Джимми последовал за победителем и вдруг увидел, как взвешивается какой-то жокей.

— Кто это? — спросил он.

— Это? Докер, кто же еще!

Джимми пристально поглядел на него. Это был неуклюжий коротышка, кривоногий, с лицом, словно вырезанным из дерева. Улучив миг, он подошел к наезднику и сказал:

— Докер, в большом заезде вы скачете на моей лошади.

— Мистер Шрюин?

— Он самый,— сказал Джимми.

Наездник слегка подмигнул левым глазом, но лицо Джимми осталось каменным.

— Я поговорю с вами перед заездом,— сказал он.

Наездник снова подмигнул, кивнул головой и отошел прочь.

Джимми опустил глаза и посмотрел на свои ботинки. Они показались ему вдруг слишком желтыми и какими-то кривыми. Но почему это ему показалось, он не мог бы объяснить.

Теперь лошадей здесь стало больше; тех, что участвовали в первом заезде, расседывали, покрывали попонами и уводили. Людей тоже стало больше. Вон три знакомые фигуры — тот юнец и двое его оксфордских приятелей.

Джимми резко свернул в сторону — лучше держаться подальше от них. Терпеть их издевательства? Избавьте! На душе у него вдруг стало скверно. Ведь если бы его лошадь выиграла, он стал бы наконец человеком, — и никому не был бы обязан этим! Черт бы побрал Джорджа Пульхера вместе с его осторожностью! Подумать только, когда он вернется в Оксфорд, эти юнцы начнут насмехаться над его лошадью. Он крепко закурил окурок сигары и вдруг наткнулся на Дженнига, стоявшего подле гнедой лошади с белой звездой на лбу. Тренер и виду не подал, что узнал его, но сделал знак конюху убрать лошадь в стойло и сам последовал за ней, прикрыв за собой дверь. При этом он словно бы сказал: «Осторожно, не запачкайтесь!»

Джимми злобно усмехнулся. Ну погоди, гад!

Лошадей, участвовавших во втором забеге, вывели из загона, и он решил отыскать свою Каллиопу. Озираясь вокруг, он скоро нашел взглядом Полмана. Что было на уме у этого человека с кошачьей физиономией, о чем он думал, Джимми не мог угадать. Да и никто другой тоже.

— Где лошадь? — спросил он.

— Сейчас ее выведут.

Ее-то уж не спутаешь ни с какой другой лошадью. Она прекрасна, точно звезда, — шкура вся блестит, сама она такая гибкая и так высоко держит голову с белым пятном на лбу. Кто сказал, что она некрасивая? Да она просто картинка! Он подошел поближе к конюху.

— Это Каллиопа... М-да!.. Славная лошадка!.. Выглядит недурно... Кто этот Джеймс Шрюин!.. Как она котируется?.. Она мне понравилась...

Его лошадь! Красивее ее нет в мире!

Он прошел вслед за Полманом в стойло, чтобы посмотреть, как ее седлают. Там, в полумраке, ее готовили к скачкам: сперва массировали, потом точно подогнали седло, влили в рот немного воды из бутылки, надели

уздечку. Он смотрел, как она, высоко подняв голову, стоит перед конюхом, а тот успокаивает ее, слегка подергивая поводья, которые держит, широко расставив руки, иногда поглаживает ее блестящий нос, а она притворяется, будто хочет укусить его за руку. Здесь в полумраке, отдельно от других лошадей, она казалась еще красивее, ее гладкое тело было легким и полным жизни, а в глазах сверкало горячее ожидание.

И она должна проиграть! Эта горячая лошадка, этот сгусток огня! Его лошадь! И глубоко под синим пальто, здесь, в полутьме конюшни, зародилась и утвердилась мысль: «Будь я проклят, если она проиграет! Она может всех их обскакать! И она... она это делает!»

Двери распахнулись, и ее вывели. Он шел рядом. На нее смотрели, ее провожали взглядами. Ничего удивительного! Она была прекрасна — эта лошадь, принадлежавшая ему, его лошадь! Ни о чем другом он не мог думать.

Они прошли мимо Дженнига. Бриллиантовая Запонка ожидала наездника. Джимми бросил на Дженнига убийственный взгляд. Погоди у меня, негодяй!

У загородки его лошадь остановили. Джимми увидел нескладного коротышку-наездника в новом красном кепи и таком же камзоле. Вне сомнения, они были великолепны!

— На два слова,— сказал он наезднику.

Наездник задержался, быстро оглянувшись кругом.

— Все в порядке, мистер Шрюин. Я знаю.

Глаза Джимми сверкнули; почти не разжимая губ, он с трудом выдавил из себя:

— Ты... не смей! Ты... в общем, ты должен выиграть! А на того человека не обращай внимания! Если не слушаешь меня, я добьюсь, чтоб тебя выгнали. Понятно? Ты... ты должен выиграть!

Наездник разинул рот от удивления.

— Хорошо, мистер Шрюин.

— Смотри же у меня,— прошипел Джимми.

— Наездники, садиться!

Джимми увидел, как красный наездник взлетел в седло. И вдруг, словно обезумев, он бросился прочь.

Он бросился туда, откуда было видно, как они вышли на дорожку — всего семнадцать лошадей. Ему не пришлось искать своего наездника, его камзол был красен, как физиономия Джорджа Пульхера или куст рододендрона под лучами солнца, он пламенел над блестящей гнедой лошастью с белой звездой на лбу, которая чуть приплясывала, проходя мимо трибун.

Лошади делали теперь пробежку для разминки — впереди всех шел Зверобой.

— Классная лошадь, этот Зверобой, — сказал кто-то сзади.

Джимми нервно огляделся. Джорджа Пульхера нигде не было видно.

Одна за другой лошади прошли мимо трибун, а он, холодея, провожал их взглядом. Ему, еще не привыкшему к виду этих существ, которым он был обязан заработком, каждая лошадь казалась «классной».

Тот же голос сказал:

— Новые цвета! Что ж, посмотрим, да и на лошадку заодно взглянем. С виду недурна. Каллиопа? Но котируется она все ниже...

Джимми пошел дальше по трибунам.

«Четыре против одного на Фаворита!», «Шесть на Зверобоя!», «Семь на Судью!», «Десять против одного на Осу!», «Десять против одного на Каллиопу!», «Четыре против одного на Бриллиантовую Запонку!», «Четыре против одного на Фаворита!»

Лошадь Дженнига по-прежнему котируется высоко, а ставки на его лошадь понижаются.

«Двенадцать на Каллиопу!» — услышал он вдруг, когда уже почти добрался до своего места. Сверхъестественное чутье игроков никогда им не изменяло, почти никогда!

Его пробрала дрожь. Что он наделал, приказав Докеру выиграть! Загубил золотое яичко, которое Пульхер снес с такой осторожностью. Но, может быть, ей все равно не выиграть? Когда он поднимался на свою трибуну, мысли его окончательно спутались.

— Эй, Джимми! — окликнул его чей-то голос. — Ну, как она, выигрывает?

Это толпа прижала к нему одного из молодых оксфордских щеголей.

Джимми оскалил зубы, словно огрызаясь, съежился, нырнул в толпу и рванулся вперед. Он выбрался в первые ряды и протиснулся поближе к лестнице, откуда удобно было смотреть в бинокль. Позади него один из тех людей, которые наживаются, пользуясь доверчивостью неудачников, выкрикивал ставки на одно очко меньше по сравнению с курсом там, внизу. «Три против одного на Фаворита!», «Пять на Зверобоя!», «Восемь против одного на Осу!».

— Как котируется Каллиопа? — резко спросил Джимми.

— Сто к восьми.

— Идет! — Вручив букмекеру восемь фунтов, он взял билет. Едва он отвернулся, у букмекера воровато забежали глаза, но он продолжал монотонно:

— Три против одного на Фаворита... Три против одного на Фаворита. Шесть против одного на Судью.

Джимми навел бинокль на цветной водоворот у старта. Какая-то лошадь во время разминки вырвалась вперед и была уже на полпути к финишу; на ней был наездник в желтом.

«Восемь на Судью!», «Восемь на Судью!» — раздалось на трибуне.

Значит, они и это уже учли! Здесь все учитывается!

Наездник повернул Судью и скакал обратно. Джимми на миг опустил бинокль и посмотрел вниз. Там все так и кишело людьми; в такой толпе не мудрено потерять даже Джорджа Пульхера. Прямо под ним какой-то человек, отчаянно размахивая руками, подавал знаки кому-то на «дешевой трибуне». Джимми снова поднял бинокль. Теперь лошади стояли все в ряд — красный камзол был третьим с краю.

Старт! Наступила мертвая тишина. Что-то зеленое мелькнуло далеко справа — это Оса! До чего ж хорошо они идут! Оцепенение, сковывавшее мысли Джимми, вдруг исчезло. Бинокль задрожал у него в руке; его худое, напряженное лицо побагровело, щеки затряслись. Красный камзол... красный... Третий с краю! Он не мог бы рассказать о заезде так, как это будет рассказано в

завтрашней газете: он ничего не видел, кроме красного камзола.

Вот они пересекают стартовую черту и несутся вперед — зеленый камзол впереди, а что-то сиреневое, что-то клетчатое сзади.

«Оса проиграла!», «Фаворит, Фаворит ведет!», «Зверобой, Зверобой выигрывает!», «Что это красное там, у трибун?»

Это был его наездник! Какой-то человек позади Джимми вдруг будто обезумел:

— Зверобой! Давай, Зверобой! Зверобой возьмет! Зверобой возьмет!

Джимми ядовито зашипел: «Возьмет ли? Вот увидим!»

Зверобой и его лошадь оторвались от остальных и бежали мимо «дешевой трибуны» — голова в голову. Докер мчался, как черт!

«Зверобой! Зверобой!», «Каллиопа возьмет! Она возьмет!»

Боже! Его лошады! Они промелькнули, как вихрь, — до финиша остается не больше пятидесяти метров, а между ними нет разницы и в полголовы!

«Зверобой! Зверобой!», «Каллиопа!»

Он увидел, как его лошадь вырвалась вперед. Она все-таки пришла первой!

Издав какой-то странный звук, он начал проталкиваться на лестницу. Пока он пробирался, протискивался, пробивался сквозь толпу, он ни о чем не думал. Он был целиком поглощен одним желанием — скорее вон с трибуны, скорее в загон, к своей лошади!

Когда он добежал до загона, Докер уже взвесился. Все в порядке! Он ушел, ухмыляясь. Джимми резко повернулся и чуть не сбил с ног Полмана, который стоял неподвижно, как истукан.

— Ну, что ж, мистер Шрюин, — сказал он, глядя куда-то мимо него. — Она выиграла.

«Черт бы тебя побрал! — подумал Джимми. — Черт бы побрал вас всех». И он пошел к своей лошади. Дрожащая, покрытая потом, возбужденная ревом толпы, она сверкнула белками глаз, когда он погладил ее по морде.

— Молодчина! — сказал он, и ее увели.

«Бог мой! Мне надо выпить!» — подумал он.

Оглядываясь вокруг, чтобы не упустить Джорджа Пульхера, он неуверенным шагом вернулся на трибуны, где мог утолить жажду и получить причитавшуюся ему сотню фунтов. Но скромного букмекера и след простыл. На билете стояло «О. Х. Джонс» и ничего больше. Джимми Шрюина надули! Немного погодя он спустился вниз в самом скверном настроении. У лестницы стоял Джордж Пульхер. Лицо этого рослого человека было ярко-багровым, глаза зловеще сверкали. Он потащил Джимми в угол.

— Ах ты, дрянь! — сказал он. — На кой черт тебе понадобилось говорить с Докером?

Джимми ухмыльнулся. Новый человек внутри него бесстрашно запротестовал.

— Это моя лошадь! — сказал он.

— Ты... гад проклятый! Да попадись ты мне в другой раз, я из тебя всю душу вытрясу!

Джимми вскинул голову и, расставив свои тонкие ноги, как воробей перед разъяренным голубем, сказал:

— Ступай домой, Джордж Пульхер, и скажи маме, чтоб она заштопала тебе носки. Сам ты и этого не можешь! Ты думал, я не человек, а? Так вот, теперь ты... теперь ты знаешь, что я человек. И впредь оставь мою лошадь в покое.

И без того багровая физиономия Пульхера побагровела еще больше. Он сжал тяжелые кулаки. Джимми стоял неподвижно, засунув свои маленькие руки в карманы пальто и высоко подняв голову. Здоровенный Пульхер судорожно глотнул, словно пытаясь проглотить прилившую к лицу кровь; его кулаки поднялись, потом опустились.

— Так-то лучше, — сказал Джимми. — Выбирай себе противников по росту.

Издав глухое рычание, Джордж Пульхер пошел прочь.

«Два против одного на Фаворита!», «Ставлю на Фаворита!», «Два против одного на Фаворита!», «Три на Метель!», «Четыре на Железного Герцога!»

Джимми постоял с минуту, машинально прислушиваясь к этим звукам, которые он слышал всю жизнь, а

потом, пробравшись бочком на улицу, взял извозчика и поехал на станцию.

Всю обратную дорогу он просидел, жуя сигару, наслаждаясь приятной теплотой от выпитого вина и думая о том, как финишировала его лошадь и как он выстоял перед Джорджем Пульхером. Целый день он пропадал в Лондоне, а в пятницу уже снова сидел в своей конторе близ «Корна». Что ж, он хоть и отказался поставить против своей лошади, зато все-таки побывал на настоящих скачках. Однако на следующей неделе, не уверенный, в какую еще трясину донкихотства заведет его лошадь, он продал Каллиопу.

Но, продолжая ставить на лошадей, которых он «в глаза не видел», прозябая в подполье, как какая-нибудь крыса, он стойко переносил удары судьбы, не преклонялся перед чужим превосходством, а все время думал о меловых холмах, о поющих жаворонках и очень любил рассказывать о том, как когда-то у него была лошадь.

ЛЕС

Когда сэр Артур Хирриз, баронет и владелец поместья Хиррихью в одном из северных графств, решил продать свой лес, им руководило довольно обычное во время войны чувство, которое позволительно будет назвать спекулянтским патриотизмом. Подобно издателям газет, авторам книг по военным вопросам, заводчикам, директорам судостроительных компаний, фабрикантам оружия и всяким иным рабочим людям того же порядка, он мог бы сказать: «Я готов послужить родине, а если от сего умножится мое состояние — что ж, я как-нибудь это переживу, деньги же вложу в облигации Национального займа».

Земля его была заложена, на ней находились лучшие в графстве охотничьи угодья, поэтому продажа леса стала разумным и практическим шагом только теперь, когда этот лес оказался нужен правительству на любых условиях. До самого последнего времени, пока патриотический поступок и выгодная сделка не стали в некотором роде синонимами, сэр Артур находил более прибыльным сдавать свои угодья в аренду на охотничий сезон. В шестьдесят пять лет это был человек без единого седого волоса, с рыжеватой щеткой усов, красными губами и красными прожилками на щеках и веках, чуть колченогий, с большими ступнями, которые он широко расставлял на ходу. Он вращался в лучшем обществе, хотя и был стеснен в средствах. Продажа леса по вздутым военным ценам освобождала его от денежных забот до конца дней. И он продал его правительственно-

му агенту, который приехал к нему подписать бумаги в холодный апрельский день, когда известия с фронта были особенно неутешительны. Он продал свой лес в половине шестого, можно сказать, за наличный расчет, и запил эту неприятную сделку стаканом виски, чуть разбавленного содовой водой: не греша сентиментальностью, он все же помнил, что почти весь этот лес насадил его прапрадед, а последние, самые молодые участки — дед. К тому же еще не так давно сюда приезжали охотиться члены королевской фамилии, да и сам он (очень посредственный стрелок) промазал по несчетному количеству птиц на тропинках и в оврагах своего прекрасного леса. Но Англия переживала трудное время, а цена была достаточно высока. Проводив агента, сэр Артур закурил сигару и направился через парк в лес погулять напоследок под своими деревьями.

У дорожки, по которой он шел, росло несколько груш — сейчас они только еще зацветали. Сэр Артур Хирриз, куrivший сигары и предпочитавший выпить в пять часов не чашку чаю, а стакан виски, был не очень-то восприимчив к красотам природы. Однако эти деревья, зеленовато-белые на фоне голубого неба и ватных облаков, обещавших снег, произвели на него впечатление. Красивые деревья, и груш в этом году должно быть много, если только их не тронет последними заморозками, а сегодня, похоже, к ночи подморозит. Задержавшись у калитки, он оглянулся — деревья красовались у входа в его лес, словно девушки, не успевшие одеться. Впрочем, этот образ не возник в воображении сэра Артура Хирриза: он размышлял о том, как лучше поместить остаток вырученной суммы, после того как будут выкуплены закладные. Да, конечно, Национальный заем — ведь Англия переживает трудное время!

Притворив за собой калитку, он пошел по тропинке. Отличительной чертой его леса было разнообразие. Каких только деревьев не насадили его предки на этом многомильном пространстве! Здесь росли буки, дубы, березы, платаны, ясени, вязы, остролист, орех, сосна; кое-где попадались липы и грабы, а дальше, в глубине леса, — отдельные купы и целые полосы лиственниц. К вечеру похолодало, из ярких белых облаков порывами налетал ледяной дождь; сэр Артур шел бодрым ша-

гом, затягиваясь ароматной сигарой, ощущая во всем теле тепло от выпитого виски. Он шел и думал, и к легкой меланхолии постепенно примешивалась горечь — он думал, что никогда уже не будет указывать складной тросточкой какому-нибудь гостю, где лучше всего стать, чтобы бить птицу влет. Фазаны за войну почти перевелись, но все же он испугнул двух-трех старых петухов, и они, хлопая крыльями и задевая за ветки, скрылись в чаще; кролики спокойно перебежали тропинку на расстоянии выстрела. Он дошел до того места, где пятнадцать лет назад, во время последней большой охоты, стоял член королевской фамилии. Вспомнилось, как этот высокий гость сказал тогда: «Очень недурно выбрано это последнее место, Хирриз. Птица летит как раз на такой высоте, как я люблю». Тропинка здесь шла довольно круто в гору, среди ясеня и дуба, и несколько темных сосен было вкраплено в сероватые переплеты еще голых дубовых ветвей — дубы всегда распускались последними — и юную кружевную листву ясеней.

«Первым делом срубят эти вот сосны», — подумал сэр Артур. Прекрасные деревья, прямые, как линии у Эвклида, почти без веток, только что на макушках. Сейчас, на сильном ветру, макушки эти слегка раскачивались и стонали тихо и жалобно. «Втрое старше меня, — подумал он. — Первоклассный лес». Тропинка резко свернула, теперь его обступили лиственницы, за крутым подъемом скрылся из глаз зловеще пламеневший закат. Деревья, с нежными коричневато-серыми стволами, стояли темные и печальные; новые зеленые побеги и темно-красные шишки наполняли вечернюю прохладу благоуханием, только оно не было слышно за дымом сигары. «Пусть их на подпорки в шахтах», — подумал сэр Артур и, свернув под прямым углом, вскоре вышел на длинную поляну, поросшую вереском, окруженную березами. Он ничего не понимал в сортах древесины и не мог сказать, пригодятся ли на что-нибудь эти белые блестящие стволы. Сигара у него погасла, и, прислонившись к одному из них, гладкому, как атлас, осененному тонкой сеткой уже зеленых веток, он чиркнул спичкой и заслонил огонек руками. Из зарослей черники метнулся в сторону заяц; сойка, раскрашенная, как веер, с криком пронеслась мимо. Сэр Артур интересовался птица-

ми и, хотя у него не было с собою ружья, пошел следом, чтобы поглядеть, где у «этой бестии» гнездо — ему как раз не хватало одной сойки для превосходной группы из птичьих чучел. Теперь он шел под гору, и лес изменился, деревья пошли толще, внушительнее, все больше буки. Он не помнил этого участка: загонщики, конечно, здесь бывали, но для охотников место было неподходящее — без подлеска. Сойка исчезла, начало смеркаться. «Пора домой,— подумал он,— не то еще опоздаю к обеду». С минуту он колебался: вернуться ли прежним путем или взять напрямик через буковую рощу и войти в парк в другом месте. Тут слева от него опять появилась сойка, и он решительно зашагал между буками. Дальше узкая тропинка увела его в темный смешанный лес с густым подлеском и неожиданно свернула вправо; сэр Артур ускорил шаг — сумерки быстро сгущались. Конечно же, тропинка сейчас опять свернет влево! Да, так и есть, но потом она снова вильнула вправо, а подлесок был все такой же густой, поэтому оставалось только идти вперед или повернуть обратно. Он пошел вперед, и ему стало жарко, несмотря на сыпавшийся в полутьме холодный дождь. Кривые его ноги не были созданы для быстрой ходьбы, но сейчас он шел быстро, подгоняемый неприятным сознанием, что тропинка уводит его все дальше от дома, и ожидая, что она вот-вот свернет влево. Она не сворачивала, а между тем почти стемнело, и, запыхавшись, немного растерянный, он остановился и прислушался. Ни звука, только ветер шумел в верхушках деревьев, да чуть поскрипывали, касаясь друг друга, два покривившихся ствола.

Не тропинка, а какой-то блуждающий огонек! Надо выйти на другую, пошире, прямо сквозь кусты. Никогда еще он не бывал здесь в такой поздний час и даже не представлял себе, что эти несчастные деревья могут выглядеть до того жутко, даже грозно. Спотыкаясь, он торопливо пробирался между ними, раздвигая кусты, а тропинки все не было.

«Застрял я в этом проклятом лесу»,— подумал он. И, назвав угрожающе обступившие его тени «лесом», почувствовал облегчение. Как-никак это его лес, а в собственном лесу с человеком не может случиться ничего особенно плохого, даже в темноте; и находится-то он,

наверно, не больше как в полутора милях от своей столовой! Он посмотрел на часы — стрелки были едва видны: половина восьмого! Дождь превратился в мокрый снег, но почти не доставал до него через плотную завесу листвы. Но он был без пальто, и вдруг у него противно засосало под ложечкой: никто ведь не знает, что он в этом проклятом лесу! А через четверть часа будет темно, как в чернильнице. Надо, надо выбираться отсюда! Деревья, между которыми он петлял, теперь действовали на него прямо-таки гнетуще, а ведь до сих пор он никогда не задумывался о деревьях всерьез. Эдакие громадины! От мысли, что из семян или саженцев, принесенных сюда его предками, выросло что-то столь чудовищное и неумолимое — эти высоченные призраки, упирающиеся в небо и отгородившие от него весь мир, — в нем поднялось раздражение и беспокойство. Он пустился бежать, споткнулся о корень и упал. Чертовы деревья! Сговорились они, что ли, его изводить? Потирая локти и лоб намокшими от снега руками, он прислонился к толстому стволу, чтобы перевести дух и попробовать обрести чувство направления. Когда-то в молодости он заблудился ночью на острове Ванкувер — страшновато было! Но ничего, выбрался, хотя на двадцать миль вокруг его лагеря не было цивилизованного жилья. А здесь он в своем собственном поместье, в каких-нибудь двух милях от дома — и струсил? Ребячество! И он рассмеялся. Ветер ответил ему шумными вздохами в верхушках деревьев. Настоящая буря, и, судя по холоду, ветер с севера, но вот северо-восточный или северо-западный — это вопрос. Да и можно ли держаться определенного направления без компаса, в полной темноте? К тому же ветер, натываясь на толстые деревья, разбегался колючими сквозняками, уже без всякого направления. Сэр Артур поглядел вверх, но несколько звезд, которые он увидел, ничего ему не сказали. Вот так история! Он закурил вторую сигару не без труда, потому что его трясло. Ветер, чтоб ему пусто было, пробирал сквозь толстую куртку, все тело, разгоряченное от непривычного моциона, покрылось холодным, липким потом. Еще, чего доброго, воспаление легких схватишь! И ощупью, от ствола к стволу, он снова двинулся в путь, но теперь он не мог поручиться, что не кружит на

одном месте, а может, даже, сам того не замечая, пересекает тропинки,— и опять у него противно засосало под ложечкой. Он остановился и крикнул. Стены леса, темные и плотные, словно отбросили его крик обратно.

«Будь ты проклят! — подумал он.— Надо было продать тебя полгода назад». В вышине презрительно рассмеялся ветер. Сэр Артур снова пустился бежать сквозь темную чащу, ушиб голову о низкий сук и упал, оглушенный. Несколько минут он пролежал без сознания, очнулся, совсем застывший, и с усилием поднялся на ноги.

«Дело дрянь,— подумал он, и мысль его словно споткнулась.— Этак можно проплутать здесь всю ночь!» Удивительно, какие яркие образы возникали в мозгу у этого не наделенного воображением человека. Он видел лицо правительственного агента, купившего его лес, и легкую гримасу, с какой тот согласился дать требуемую цену. Видел своего дворецкого, как он после гонга к обеду стоит навытяжку возле буфета и ждет, чтобы хозяин вошел в столовую. Что они там станут делать, когда он не придет? Хватит у них ума сообразить, что он мог заблудиться, взять фонари и отправиться искать его? Нет, скорее они подумают, что он ушел к соседям, в Гринлендз или в Берримур, и остался там обедать. И вдруг он увидел себя самого, замерзающего в снежной ночи среди этих треклятых деревьев. Энергично встряхнувшись, он опять стал нащаривать дорогу между стволов. Теперь он был зол — зол на себя, на темноту, на деревья, так зол, что с размаху ударил кулаком по дереву и ссадил себе пальцы. Это было унижительно, а сэр Артур Хирриз не привык унижаться. В чужом лесу — куда ни шло, но в своем собственном!.. Ладно же, он будет идти хоть всю ночь, но выберется отсюда! И, упрямо сжав зубы, он снова двинулся во тьму.

Теперь он сражался со своим лесом, словно каждое дерево было живым врагом. За время этого нескончаемого напряженного продвижения во мраке гнев его сменило сонливое раздумье. Деревья! Их посадил его прапрадед! Они видели уже пять поколений людей, а сами еще почти молодые. Жизнь человека для них ничто. Он усмехнулся: а для человека их жизнь — ничто, знают они, что их срубят? Хорошо, если бы знали и тряслись бы от страха. Он ущипнул себя,— какие странные

мысли лезут в голову! Вспомнилось, как однажды, когда у него шалила печень, деревья стали казаться ему воплощением болезней — словно вытянувшиеся кверху миазмы с шишками и шрамами, дуплистые, обросшие мхом, и сучья, как руки... Ну что же, так оно и есть, и вот он среди них, снежная ночь, темень, хоть глаз выколи, и он борется с ними не на жизнь, а на смерть. Уловив в своих мыслях слово «смерть», он круто остановился. Почему он не может сосредоточиться на том, как выйти отсюда? Раздумывает о жизни и свойствах деревьев вместо того, чтобы постараться припомнить расположение своих охотничьих участков и понять, где он находится! Он истратил несколько спичек, чтобы еще раз взглянуть на часы. Боже праведный! Прошло около двух часов с тех пор, как он смотрел на них, и все это время он шел... куда? Говорят, что в тумане у человека получается какой-то заскок в мозгу и он без конца ходит по кругу. Он стал ощупывать деревья в поисках дупла. Дупло хоть немного предохранит от холода — так он впервые признался себе, что очень устал. Он не в форме, ему шестьдесят пять лет. Долго не выдержать. Но при этой мысли в нем снова вспыхнула угрюмая злоба. О черт! Ведь, по всей вероятности, он раз десять сидел на этом самом месте на своей раскладной трости, смотрел на голые ветки, освещенные солнцем, на подрагивающий нос своего спаньеля и слушал, как стучат палки загонщиков и по лесу разносится пронзительно и протяжно: «Гля-ди! Лети-ит!» Догадаются они пустить по его следу собак? Нет! Вероятнее всего, решат, что он пообедал и остался ночевать у Саммертенов или у леди Мэри — ведь так бывало не раз. И вдруг сердце у него подскочило: тропинка! Рассудок его, словно отпущенная резина, сразу вернулся на свое место, напряжения как не бывало. Слава богу! Теперь только идти по этой тропинке, и как-нибудь, где-нибудь он выберется из леса. И уж будьте спокойны, он никому не расскажет, какого свалал дурака! Куда идти, направо или налево? Повернувшись спиною к ветру, он устремился вперед между двумя стенами черного мрака и, чтобы не сбиться с тропинки, все время двигал руками, словно растягивая гармонь. Так он шел, казалось, бесконечно долго, а потом вдруг застыл на месте — перед ним были сплошные де-

ревья, тропинка кончилась. Он повернул обратно — теперь навстречу ветру — и шел, пока дорогу опять не преградили деревья. Он остановился, тяжело дыша. Как страшно! И в ужасе он стал метаться туда и сюда в поисках поворота, лазейки, какого-нибудь выхода! Мокрый снег бил его по лицу, ветер свистел и хохотал, ветви стонали, скрипели. Он зажигал спички, пытаясь заслонить огонек мокрыми, озябшими руками, но они гасли одна за другой, так и не осветив никакого прохода. Видно, эта тропинка и тут и там кончается тупиком, а поворот должен быть где-нибудь посередине. В нем проснулась надежда. Еще не все потеряно! Он снова пошел обратно, ощупывая каждый ствол по одной стороне тропинки, чтобы не пропустить просвета. Дышать становилось все труднее. Что бы сказал Бродли, если бы увидел, как он тычется в потемках среди этих проклятых деревьев, мокрый, продрогший, смертельно усталый — и это после того, как Бродли сказал ему, что сердце у него не в блестящем состоянии!.. Поворот? Да! Деревьев нет. Наконец-то! Он повернул, почувствовал острую боль в колене и упал ничком. Встать он не мог: коленный сустав, вывихнутый шесть лет назад, снова сместился. Сэр Артур Хирриз стиснул зубы. Хуже этого ничего не могло с ним случиться! Но уже через минуту — минуту пустоты и отчаяния — он пополз по новой тропинке. Как ни странно, передвигаясь на руках и на одном колене, он чувствовал себя уже не таким удрученным и напуганным. Смотреть в землю было легче, чем вглядываться в стволы деревьев; а может быть, и нагрузка на сердце уменьшилась. Он полз, останавливаясь через каждые две-три минуты, чтобы собраться с силами. Полз машинально, ожидая, когда сердце, колено или легкие прикажут ему остановиться. Землю припорошило снегом, он всем телом чувствовал, какая она холодная и мокрая. За ним тянется ясный след. Но кто нападет на его след в этом темном лесу?..

Во время одной из передышек, кое-как вытерев руки, он зажег спичку и достал часы. Одиннадцатый час! Он завел часы и положил их обратно во внутренний карман, у сердца. Эх, если б можно было вот так же завести сердце! И, скорчившись на земле, он сосчитал оставшиеся спички — четыре! Он упрямо подумал: «Не стану их

тратить, чтобы смотреть на свои деревья, черт бы их побрал. Лучше поберегу — у меня еще есть одна сигара». И он пополз дальше. Надо двигаться вперед, сколько хватит сил.

Он полз, пока сердце, легкие и колено не отказались работать; а потом сел, привалившись спиной к дереву, в таком изнеможении, что уже не ощущал ничего, кроме тупой тоски. Он даже заснул — и проснулся весь дрожа, внезапно перенесшись из уютного кресла в клубе в холодный мокрый мрак, пронизанный стонами ветра. Попробовал снова ползти, но не мог и несколько минут лежал неподвижно, обхватив себя руками. «Да, — мелькнула смутная мысль, — вот и допрыгался». Сознание работало так вяло, что он не мог даже пожалеть себя. Спички: сумеет ли он разжечь костер? Но ему не приходилось жить в лесу, а валежник, сколько он ни шарил вокруг, был весь мокрый. Он вырыл руками ямку, нашел в карманах какие-то бумажки и попробовал поджечь мокрые ветки. Нет, куда там! Теперь у него остались только две спички, и он вспомнил про свою сигару. Он достал ее, откусил кончик и с бесконечными предосторожностями стал закуривать. Сигара закурилась с первой же спички. Еще одна осталась на случай, если он задремлет и даст сигаре погаснуть. Он поднял голову и сквозь черные ветви увидел звезду. Не отрывая от нее глаз, он прислонился к дереву и глубоко затянулся. Он курил очень медленно, крепко скрестив руки на груди. Вот сигара кончится, и что тогда? До самого утра — холод и шум ветра в деревьях! Докурив сигару до половины, он задремал, проспал долго и проснулся такой окоченевший, что едва собрался с силами, чтобы зажечь последнюю спичку. Каким-то чудом она не погасла, и сигара опять раскурилась. На этот раз он докурил ее почти до конца, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, кроме страшного холода. На миг сознание прояснилось, слабенько вспыхнула мысль: «Хорошо хоть, что продал к дьяволу эти деревья. Теперь их срубят!» Мысль растворилась, уплыла куда-то, как уплывал в мокрый туман дым его сигары; и, скривив губы в усмешку, он опять задремал...

В десять часов утра лесник нашел его под старым вязом в миле от его спальни. Он весь посинел от холо-

да, одна нога была вытянута вперед, другая согнута и поджата к телу, ступня зарылась в опавшие листья в поисках тепла, голова ушла в воротник, руки были скрещены на груди. Установили, что он умер не меньше пяти часов тому назад. С одного боку возле него намело горку снега. Другой бок и спину защищал толстый ствол. Высоко над ним тонкие верхние ветви огромного вяза были усыпаны золотисто-зелеными гроздьями крошечных сморщенных цветов, сверкавших на чистом голубом небе, веселых, как благодарственная песнь. Ветер стих, и птицы заливались на все голоса, радуясь солнцу после холодной ночи.

Когда проданный лес стали сводить, вяз, под которым его нашли, не срубили, а обнесли низенькой железной оградой и прибили к нему дощечку.

РАСПРЯ

I

Психологические причины ее, как и большинства человеческих симпатий и антипатий, были неясны, но все же, как большинство человеческих симпатий и антипатий, она имела вполне определенное начало — тот самый миг, когда рыжая собака Баудена укусила в ногу Стира, который в тот день был без гетр. Но даже тогда, пожалуй, не пошла бы у них, как говорится, эта распря, если б не деревенские понятия о справедливости, заставившие Стира принести на другой день ружье и торжественно пристрелить собаку. Она перед тем покусала еще двоих, и даже Бауден, который любил свою гончую, не заступился за нее, но у него осталось смутное ощущение, что этот выстрел лишил его законной собственности, и глухое чувство, что он предал свою собаку. Смир был родом не то с севера, не то с востока, откуда-то из Линкольншира, он был здесь чужим, как и фрисландский скот, который он скрещивал у себя на ферме с девонским, и Бауден в глубине души безотчетно чувствовал, что именно поэтому его собака и укусила Стира. Снипу, как и его хозяину, не по душе были всякие новшества, которые вводил у себя на ферме этот худой, энергичный человек с рыжей, чуть седоватой бородой, успевавший во всем опередить Баудена, где на час, а где — на неделю или даже на месяц; не по душе обоим была его тощая фигура, тонкие ноги, его сухая деловитость и резкость. Бауден понимал, что и он пристрелил бы

собаку Стира, если б она укусила его, а до этого еще двоих; но собака Стира не укусила Баудена, а вот собака Баудена укусила Стира; и это, как казалось Баудену, свидетельствовало о том, что его собака знала, кого кусать. И, зарывая бедного пса, он бормотал: «Мерзавец! Хотел бы я знать, чего это ради он пришел ко мне на двор в воскресных штанах,— небось, все вынюхивал, да высматривал!» И с каждой лопатой земли, которую он бросал на тощее рыжее собачье тело, неотвязное возмущение все больше наполняло его и, не находя выхода, влияло на его мысли.

А схоронить собаку как следует было делом долгим и нелегким.

«Пришел и пристрелил мою собаку, да еще в воскресенье, а я ее теперь зарывай»,— думал Бауден, утирая свое круглое, румяное лицо; и он плюнул на землю с такой яростью, словно плевал в лицо Стиру.

Кончив работу и вкатив на холмик большой камень, он в прескверном настроении пошел в дом, уселся на кухне и сказал:

— Эй, девка, нацеди-ка мне стакан сидру.— А выпив сидр, поднял голову и произнес: — Я схоронил ее как полагается.

Собственно говоря, это был гончий пес, от которого на ферме не было никакой пользы, кобель, но Бауден привык называть его «она». Темноволосая, широколицая, угрюмая девушка, к которой он обращался, покраснела и поглядела на него широко раскрытыми серыми глазами.

— Какая жалость! — пробормотала она.

— Эх! — сказал Бауден.

Бауден хозяйствовал у подножия холма на сотне акров земли, которая местами была поплоше, местами — получше. Он был вдов и жил с матерью и единственным сыном. Это был покладистый и спокойный человек, круглоголовый, темноволосый и румяный, обладавший удивительной способностью жить настоящим, не задумываясь о будущем. Стоило только на него взглянуть, и сразу становилось ясно, что этому человеку чужды душевные терзания. Но ведь на первый взгляд можно приписать жителю Западной Англии столько свойств, которых на самом деле у него нет... Он был из самых ко-

ренных местных жителей — род его восходил к тем временам, когда метрических книг здесь и в помине не было; его предки исстари были церковными старостами. Его отец, «папаша Бауден», красавец, весельчак и немножко распутник, дожил до девяноста лет. Да и самому Баудену давно перевалило за пятьдесят, а у него не было ни одного седого волоса. На жизнь он смотрел легко и не слишком утруждал себя работой на ферме, где отвел почти всю землю под пастбище. С усмешкой консерватора (хотя Бауден принадлежал к либеральной партии) следил он за непонятными упорными попытками своего соседа Стира, который был консерватором, выращивать пшеницу, разводить фрисландский скот и применять новомодные машины. Сир, приехав в эти места, служил сначала управляющим чужим имением, и это вызывало тайное презрение Баудена, чьи предки с незапамятных времен имели собственную землю. Мать Баудена, старушка восьмидесяти восьми лет, сухонькая, маленькая, едва ворочавшая языком, с блестящими черными глазами и бесчисленными морщинами, по целым дням сидела где-нибудь в тепле, берегла силы. У сына Баудена, Неда, двадцатичетырехлетнего парня, круглолового, как все Баудены, глаза и волосы были чуть светлее, чем у отца. В то время, когда Сир пристрелил собаку Баудена, Нед любезничал с племянницей Стира, Молли Уинч, которая вела хозяйство своего дядюшки, закоренелого холостяка. Была среди домочадцев Баудена еще служанка Пэнси, круглая сирота и, как говорили, незаконнорожденная. Раньше она жила где-то по ту сторону вересковых пустошей, а потом нанялась здесь батрачить за четырнадцать фунтов в год. Она всех сторонилась, эта девушка с мягкими темными волосами, серыми глазами и бледным широким лицом; она была угрюма, легко раздражалась и тогда «кудахтала, как курица»; иногда она казалась совсем некрасивой, а иногда, особенно когда бывала растрогана или взволнована чем-нибудь, вдруг хорошела. На ее плечах лежала вся работа по дому, и ей же приходилось кормить домашнюю птицу, колоть дрова и носить воду. Она очень уставала и поэтому часто бывала в дурном настроении.

Допив сидр, Бауден вышел на кухонное крыльцо и остановился там, лениво глядя на носившихся в возду-

хе комаров. Погода стояла прекрасная, и сено уже убрали с лугов. Наступила тихая пора от одной страды до другой, а он привык в такую пору жить спокойно, и его всегда забавляла мысль о том, что его сосед вечно возится с каким-нибудь «усовершенствованием». Но теперь эта мысль его больше не забавляла. «Вечно этот парень норовит вылезти вперед, обскакать соседей!» Молодой Бауден только что подоил коров и теперь гнал их за ворота. Ну вот, сейчас начнет прихорашиваться, а потом пойдет к Стиру ухаживать за его племянницей! И вдруг это ухаживание показалось Баудену чем-то противоестественным. Услышав кашель, он обернулся. Пэнси с засученными рукавами стояла позади него.

— Прекрасный вечер,— сказал он.— Погода стоит в самый раз для хлебов.— Когда Бауден давал волю своему эстетическому чувству, то непременно оправдывал такую слабость каким-нибудь замечанием насчет того, какая от этого может быть прибыль или убыток, тогда как Стир обычно ограничивался лишь сухим: «Отличный вечер». Разговаривая со Стиром, всякий чувствовал его независимость передового индивидуалиста, который не в силах скрыть свой характер. С Бауденом же можно было общаться неделями, не подозревая, что под его невозмутимым добродушием кроется индивидуализм столь же упорный, как и у Стира. На первый взгляд Стир мог показаться гораздо более современным и «цивилизованным», но если взглянуть глубже, то становилось ясно, что Бауден «цивилизовался» гораздо раньше. Просто его защитная оболочка образовалась в более мягком климате или же была унаследована от более древних предков.

— Вон как комары расплясались,— сказал он.— Это к хорошей погоде.— И служанка Пэнси кивнула. Глядя, как она вертит рукоятку сепаратора, он заметил, что глаза ее были устремлены на Неда, затворявшего в эту минуту ворота. Пэнси была миловидная девушка, с красивыми загорелыми руками и черными шелковистыми волосами, которые она то и дело откидывала со лба свободной рукой, и старому фермеру доставляло удовольствие то, что она глаз не сводит с его сына.

«Стоит Неду только захотеть, и девчонка будет его!— думал он.— Ей-богу, вот было бы здорово таким манером

утереть нос Стиру: предпочесть эту служанку его бесценной племяннице». Сказать, что эта мысль породила у него соответствующее решение, значило бы слишком определенно выразить блуждающие мысли Баудена,—мозг его всегда работал лениво; но она затаилась и не покидала его, когда он, взяв свою ясеневую палку, пошел взглянуть до ужина на молодого бычка. На лугу, поросшем осокой, где пасся рыжий бычок, Бауден постоял немного, прислонившись к ограде, а над головой у него, высоко в небе, летали ласточки. Бычок был «что надо», еще год, и он станет лучше хваленого быка Стира, да, да, несомненно! На миг в Баудене вдруг проснулся дикарь, и тут же все его существо переполнило радость, в которой фермер никогда не признается,—радость, рожденная запахами и видом его полей; звуками, разносящимися над ними в этот погожий день; лазурью над головой и зеленью под ногами; сверканием тонкой нити воды, почти терявшейся среди камышей; видом сабельника да львиного зева в лучах медленно заходящего солнца; песней жаворонка и шелестом ясеней; блеском рыжей шкуры бычка и хрустом травы у него на зубах. Три кролика пробежали по лугу и скрылись в живой изгороди. А этот негодяй пристрелил его собаку, которая переловила столько кроликов на его полях, сколько ни одна из прежних! Он постучал палкой по воротам. Бычок лениво поднял голову, поглядел на хозяина и, отгоняя хвостом мух, снова принялся щипать траву.

«Пристрелил мою собаку! — думал Бауден.—Мою собаку! Ну погоди ж ты у меня!»

II

Служанка Пэнси повернула рукоятку сепаратора, и под его жалобное жужжание в ней медленно зашевелились смутные, но мучительные мысли и чувства. Ее работа не располагала к размышлениям. У нее ныла поясница, потому что всю неделю, пока шла уборка сена, она работала не разгибаясь, и ныло сердце, потому что у нее не было досуга, как у Молли Уинч и других девушек, чтобы играть на пианино и шить себе платья. Она провела рукой по своей грубой ворсистой юбке. До чего ж ей надоела эта безобразная вещь! И она быстрее

завертела рукоятку сепаратора. Нужно было еще накормить телят и собрать ужин, а уж потом только переодеться в праздничное платье и идти в церковь к вечерне — это было единственное ее воскресное развлечение. Нед Бауден! Ее воображение до того разыгралось, что она представила себе, как они с Недом вместе идут через поля в церковь, а потом поют там псалмы, глядя в один молитвенник. Нед только что взглянул на нее, проходя мимо, словно понял наконец, что она думает о нем вот уже много недель. Густой румянец покрыл ее бледные щеки. Как же девушке не думать о ком-нибудь, она ведь не старуха, как матушка Бауден, чтобы сидеть целыми днями, сложив руки на коленях, и греться на солнышке или у очага, довольствуясь тем, что ей тепло. И она в бешенстве рванула рукоятку. Когда же наконец это молоко перестанет течь? Ведь Нед ни разу не видел ее в праздничном платье, расшитом васильками: по воскресеньям он всегда рано уходит к своей Молли. А в этой старой юбке она, Пэнси, выглядит толстой грязнухой! А руки!.. Она в отчаянии поглядела на свои руки, загрубелые и почерневшие от солнца, и воображение снова начало рисовать ей невероятные картины. Она представила себя и Молли Уинч рядом раздетыми. Эх, да ведь она вдвое толще этой Молли Уинч! Эта мысль ранила и вместе с тем радовала ее. Быть тонкой и изящной — так благородно! Но все же она чутьем понимала, что сильное и крепкое тело влекло к себе мужчин всегда, задолго до того, как появились благородные господа. Она отпустила рукоятку сепаратора и, взяв ведро с обратом, побежала к темному хлеву, откуда телята уже высывали рыжие мордочки. Она затолкала их назад одного за другим, шлепая жадных малышей по влажным носам, ласково ругая их. Фу! Как грязно здесь, в хлеву, — надо бы его хорошенько вычистить! Она едва дождалась, пока напьются телята, эти маленькие, неуклюжие, нетерпеливые существа, — ей так хотелось в этот вечер управиться вовремя; наконец, со звоном швырнув на землю пустое ведро, она побежала накрывать к ужину длинный сосновый стол. Старая матушка Бауден, казалось, сурово следила за ней своими блестящими глазами. Нет, ей ни за что не успеть вовремя, ни за что!

Мясо, сидр, сыр, хлеб, соленые огурцы — что еще?

Салат! Ах, ведь салат-то не вымыт, а Бауден его любит! Но ей нельзя терять ни минуты! Может, он забудет про салат, если она подаст на стол сливки? Она прошла по узкому каменному коридору в темную и холодную маслодельню и принесла остатки кипяченых сливок.

— Глядите, как бы кошка чего не стянула, миссис Бауден! — И она побежала вверх по узкой винтовой лестнице.

Комната, где она спала, была не больше корабельной каюты. Она задернула занавеской оконце, похожее на иллюминатор, сорвала с себя одежду и бросила ее на узкую постель. Так она переодевалась каждую неделю. Рубашка была порвана, и в спешке она разорвала ее еще больше. «Я и вымыться-то как следует не успею», — подумала она. Намочив свое единственное полотенце, она вытерлась им и стала лихорадочно одеваться. Церковный колокол уже звонил, монотонно и резко. В тесной комнатке было невыносимо жарко, и на лбу у девушки выступили капли пота. Она подумала гневно: «Почему у меня нет свободной секунды, чтоб хоть остыть немного, как у Молли Уинч?» Большой паук, сидевший на потолке, в углу комнаты, казалось, следил за ней, и она вздрогнула. Она терпеть не могла пауков — они такие огромные, волосатые! Но у нее не было даже времени протянуть руку и раздавить этого паука. Поглядев из-за занавески, не вышел ли Нед во двор, она схватила пуховку, свою драгоценность, благодаря которой она чувствовала себя почти благородной барышней, и торжественно напудрила лицо и шею. Теперь, по крайней мере, кожа не будет блестеть! Она надела воскресную шляпку, соломенную, с широкими полями, украшенную большими искусственными маргаритками, и постояла немного, разглядывая себя в зеркале величиной с две ее ладони. Запах пудры, похожий на запах увядших фиалок, успокоил ее. Но почему волосы у нее такие тонкие, что прическа никак не держится? И почему они черные, а не золотисто-коричневые, как у Молли Уинч? Губы ее приоткрылись, широко раскрытые глаза печально глядели из зеркала. Она взяла пару грязно-белых нитяных перчаток и молитвенник, распахнула дверь и постояла немного на пороге, прислушиваясь. В доме была мертвая тишина. В комнаты Неда Баудена, его отца и ста-

рой бабки ход был с другого крыльца. Ей хотелось, чтобы Нед увидел, как она будет сходить по лестнице,— совсем как те молодые люди в журналах, что глядят на холодных красавиц, медленно спускающихся вниз. Но зачем ему глядеть на нее, если он собрался к Молли Уинч, ведь это куда интереснее! Она сошла по винтовой лестнице. Над крыльцом все еще роилась мошара, утки купались в луже и чистили перышки на нежарком вечернем солнце. Пэнси не села на крыльце, боясь открыто показать, что ждет Неда, и стояла, усталая, переминаясь с ноги на ногу, а запах пудры причудливо смешивался с привычными дворовыми запахами и еще не выветрившимся ароматом сена, сметанного в стога неподалеку от дома. Колокольный звон смолк. Стоит ли ждать? Может, он вообще не пойдет в церковь, а собирается просто посидеть вдвоем с Молли Уинч или погулять с ней по полевым тропинкам? Ну, нет, эта жеманная Молли Уинч слишком добродетельна, она не пропустит церковной службы! И вдруг что-то словно кольнуло ее: а она, чего бы она не пропустила ради прогулки с Недом! Как это несправедливо! Одним все, другим ничего! Она услышала топот тяжелых башмаков по ступенькам лестницы, и с быстротой, которой трудно было ожидать от ее большого тела, пересекла двор, а потом через калитку в высокой изгороди вышла на полевою тропу. Тропа эта, немногим шире колесной колеи, была усыпана клочьями сена,— на последнем покосе сено еще не сгребли, и в воздухе стоял его сладкий аромат. Девушка помедлила и вся затрепетала, чувствуя приближение Неда, узнав его неторопливую, размеренную походку, которой ни один из Бауденов не мог бы изменить, даже опаздывая в церковь. Он подошел ближе; волосы его были намажены, квадратная фигура втиснута в праздничную суконную тройку, топорщившуюся на нем, словно фанера. Его красное, только что умытое лицо блестело, блестели и серые энергичные глаза. Он был просто великолепен, весь, с головы до ног. Обгонит он ее или пойдет рядом? Он пошел следом за ней. Сердце девушки сильно забилося, щеки вспыхнули под слоем пудры, которая от этого запаха еще сильнее. Рука молодого Баудена, твердая, как железо, опустилась ей на плечо, и она, задрожав всем телом, прикрыла глаза.

— А мы, видать, опоздали, — сказал он.

И тогда, широко раскрыв глаза, она смело встретила его взгляд.

— Значит, ты не собираешься к Молли Уинч?

— Нет, не хочу слышать больше разговоров о нашей собаке.

Девушка, сразу сообразив, что настало ее время, воскликнула:

— Просто срам, что натворил ее дядя; а этой Молли, верь моему слову, собаки не жаль — она только дядю своего жалеет.

Он стиснул ей руку и сказал:

— Пойдем в поле, погуляем.

За полем был маленький общественный выпас, поросший высоким дроком, на котором все еще висели золотисто-коричневые цветки. Запоздалая кукушка громко закуковала на ясене. Ветер тихонько шелестел в листве деревьев, окаймлявших выгон. Молодой Бауден сел на землю среди высоких, по колено, влажно пахнувших папоротников и обнял Пэнси.

III

В приходах, где фермы разбросаны далеко одна от другой и где деревни, собственно говоря, нет, слухи распространяются не так уж быстро; поэтому Стир впервые узнал, что его племянницей пренебрегли, от самого Баудена. Стир обычно ездил за семь миль на рынок в рессорной коляске, которая бывала полна всяких сельских продуктов, когда он ехал в город, и разной бакалеи, когда он ехал обратно. Его лицо всегда было невозмутимо, а глаза устремлены на уши кобылы. Племянница иногда сидела рядом с ним — она была из тех хрупких девушек, которые плохо приспособлены к сельской жизни. Молли была девушка образованная и играла на пианино. Стир любил ее, хоть и был невысокого мнения об ее отце, который умер от чахотки и оставил больную сестру Стира без всяких средств. Черты лица у Молли Уинч были тонкие, щеки часто покрывались нежным румянцем, подбородок был остренький, нос чуть вздернутый, а глаза красивые и искренние — словом, лицо было очень милое.

Кобыла Стира обычно пробегала эти семь миль минут за сорок, и он очень ею гордился, особенно сегодня, когда она обогнала лошадь Баудена. Обе коляски ехали рядом ровно столько, сколько нужно было, чтобы обменяться следующими словами:

— Доброе утро, Бауден!

— Доброе утро! Мисс Молли, здравствуйте. Что-то вас в последнее время не видно. Я думал, вы уехали куда-нибудь погостить.

— Нет, мистер Бауден.

— Меня радует, что вы так хорошо выглядите. А Нед, кажется, сейчас очень занят и не бывает у вас.

Тут кобыла Стира обогнала Баудена.

«Моя старая кобыла стоит двух таких, как у него», — подумал Стир.

А когда коляска Баудена исчезла из виду и вдали маячило лишь облачко пыли, он повернулся к племяннице и сказал:

— Что там у тебя произошло с молодым Бауденом? Когда ты его видела в последний раз?

От его пронизательных глаз не укрылось, что губы у нее дрожат, а щеки покрылись пятнами.

— Уже... уже целый месяц.

— Вот, значит, как! — только и сказал Стир. Но он сильно стегнул лошадь кнутом и подумал: «Хорошенькое дело! Мне лицо этого парня всегда не нравилось, и вот, выходит, он нас дурачил!»

Стир был человек воздержанный; перед тем как уехать домой, он обычно выпивал в трактире «Дракон» лишь рюмку джина, настоящего на терновых ягодах. Но в этот день он выпил две рюмки, раздраженный усмешкой Баудена, который обычно сидел в трактире еще час-другой после его ухода, накачиваясь джином и сидром. Что сулила эта усмешка ему и его племяннице?

Поскольку Стир был также человеком благоразумным, он недели две выжидал, наблюдая. Нед Бауден не показывался в церкви, не видно было его и на ферме Стира. Молли побледнела и осунулась. В душе Стира росло негодование. «Если он откажется сдержать слово, которое ей дал, — подумал Стир, — я на него в суд подам. Щенок эдакий!»

Знакомые были не более откровенны со Стиром, чем

он с ними, так что прошла еще неделя, прежде чем он получил новые сведения. Получил он их после приходского собрания от школьной учительницы, седой, одинокой, всеми уважаемой женщины.

— Не нравится мне, что Молли так бледна и печальна, мистер Стир; и Нед Бауден ужасно меня огорчил,— я думала, у него верное сердце.

— А что он такое сделал?

— Да вот связался с этой девушкой, что служит у Бауденов.

Стир встревожился. Выходит, вся округа знает, может быть, уже много недель, что его племянницу бросили ради этой приبلудной суки; все знают и посмеиваются тайком, так, что ли? Вечером он объявил племяннице:

— Я иду к Бауденам.

Она вся вспыхнула, потом побледнела.

— Я тебя в обиду не дам,— сказал он.— Этот номер у них не пройдет. Дай-ка сюда его кольцо, оно может мне понадобится.

Молли Уинч молча сняла с пальца обручальное кольцо с аметистом и отдала ему.

Стир надел свою лучшую шляпу, брюки и гетры, взял тонкую тросточку и ушел.

Было время жатвы. Он пересек свое пшеничное поле и пошел через овес Баудена. Стир один во всей округе выращивал пшеницу. Пшеница! Бауден считает, что все это «только фокусы». Но Стир думал так: «Моя пшеница хороша, а вот про его овес этого не скажешь. От такого овса и соломы-то не будет».

Он не был на ферме у Баудена с того самого дня, как пристрелил рыжую гончую, и теперь при одном воспоминании о ней икра у него заныла — до чего ж эта тварь больно укусила его!

Открыла ему служанка Пэнси. Увидев, как вспыхнули ее бледные щеки, он подумал: «Вот вытянуть бы тебя палкой по спине, была б тебе наука, красotka».

Бауден только что отужинал свининой с бобами и сидром и теперь курил трубку, сидя у горящего очага. Он не встал навстречу гостю, и в том, как он молча кивнул на стул, Стиру почудилось умышленное оскорбление. Он

сел, поставив палку между ног, а девушка тем временем поспешно вышла.

— Прекрасный вечер,— сказал Бауден.— Погода в самый раз для уборки урожая. Не выпьете ли сидра?

Стир покачал головой. Он был человек осторожный и приглядывался к обстановке, прежде чем перейти в наступление. Старая миссис Бауден сидела у камелька, так что видна была лишь ее дряхлая сгорбленная спина. Собака с белой головой и обрубленным хвостом растянулась на полу, положив голову на лапы; рыжая кошка, неподвижная, как сфинкс, лежала тут же, жмуря глаза; больше в комнате не было ничего живого, кроме разве только медленно тикавших часов.

Стир показал Баудену кольцо с аметистом.

— Видишь вот это?

Бауден, ничуть не обеспокоенный ни его тоном, ни смыслом его слов, медленно повернул голову и посмотрел на кольцо.

— Ну, вижу! Так что же?

— Моя племянница получила его в знак обручения. Будет ли выполнено обещание жениться?

— А я почему знаю! Спроси у Неда.

Стир сжал в кулак руку, поросшую редкими рыжеватыми волосами.

— Я слышал, что люди говорят,— сказал он.— Так вот если он не захочет сдержать слово, я подам на него в суд. Я всегда считал, что моя племянница слишком хороша для него, и если он вообразил, что может безнаказанно ее обидеть, то сильно ошибается, вот и все.

Бауден выпустил изо рта облачко дыма.

— Нед — взрослый человек.

— Значит, ты за него?

Бауден лениво повернул голову.

— Нечего меня пугать.— И он снова выпустил облачко дыма. Стир не курил, и табачная вонь взбесила его еще больше.

— Яблоко от яблони недалеко падает,— сказал он.— Все знают, что за человек был твой отец.

Бауден вынул трубку изо рта и зажал ее в кулаке величиной с хороший бифштекс.

— И у тебя поворачивается язык говорить это в присутствии моей старой матери! Вон из моего дома!

Кровь бросилась Стиру в лицо, его худые щеки побагровели.

— Ты прекрасно знаешь, что она ничего не слышит. Бауден снова сунул трубку в рот.

— Нет, видно, учить тебя приличиям бесполезно, — буркнул он.

У Стира перехватило горло где-то у кадыка, поросшего седовато-рыжими волосами.

— Даю твоему сыну неделю сроку, а там — берегитесь!

Бауден проводил его смешком.

«Ну ладно же, — подумал Стир. — Увидим, кто будет смеяться последним».

IV

Трудно сказать, существуют ли нравственные правила для таких людей, как Бауден, в чьих жилах течет простая крестьянская кровь. Пожалуй, не пристрелил Стир его собаку, Баудена куда больше взволновало бы то, что Нед путается со служанкой Пэнси. Теперь же он находил, что они очень кстати утерли нос этому наглецу. Более того, он уже не так жалел о потере своей законной собственности и ему больше не казалось, что он предал свою собаку, не воспротивившись решительным образом осуществлению деревенского правосудия. А что касается суда, то слишком много поколений Бауденов прожило свою жизнь в приходе, где не было даже полицейского, чтобы верить в могущество этого самого суда. Бауден сам частенько тайком нарушал закон: стрелял фазанов, отбившихся от стай, не осматривал каждый день, утром и вечером, кроличьи силки на своих полях, не всегда в срок подвергал овец дезинфекции и тому подобное. Закон всегда можно было обойти. И кроме того, какой закон нарушил Нед? Нет, Стир все это зря болтает.

Поэтому он почувствовал презрительное удивление, когда через три недели Нед получил бумагу, на которой значилось: «Верховный суд. Уинч против Баудена». Ответчику предлагалось уплатить штраф в пятьсот фунтов стерлингов за нарушение обещания жениться. Это было просто неслыханно, да еще во время войны! Разве Нед

не может позволить себе такое удовольствие — выбрать девушку по сердцу? Бауден хотел бросить бумагу в огонь. Но чем больше оба они ее рассматривали, тем сильнее она их гипнотизировала. Конечно, от адвокатов проку ждать нечего, только деньгам перевод, но, может, все-таки нужно показать ее адвокату?

Поэтому в ближайший базарный день они захватили бумагу с собой и отнесли ее к Эпплуайту из конторы «Эпплуайт и Картер», который подверг их настоящему допросу. Был ли Нед помолвлен с этой девушкой? Ну да, можно сказать, что был. А как он разорвал помолвку — написал ей письмо? Нет. Ну, а получал ли он письма, в которых она спрашивала бы, в чем дело? Да, два письма. Ответил он на них? Нет. Значит, он виделся с девушкой и сделал это на словах? Нет! Он не видел ее уже полтора месяца. Согласен ли он теперь повидаться с девушкой или написать ей? Нет, не согласен. Согласен ли он жениться на ней? Нет! А почему?

Нед обменялся с отцом взглядом. О Пэнси они до сих пор не обмолвились ни словом.

Мистер Эпплуайт повторил свой вопрос. Нед не знал, что ответить.

Адвокат решил, что уж если Нед этого не знает, то, вероятно, не знает никто. В чем же причина такой перемены в его чувствах?

На это ответил старик Бауден:

— Он пристрелил мою собаку.

— Кто?

— Сир.

Мистер Эпплуайт никак не мог понять, при чем тут собака. Он выразил опасение, что, если все дело только в этом, молодому мистеру Баудену придется либо жениться, либо быть готовым к тому, что «его самого захотят пристрелить». Он вдруг пристально поглядел на Неда.

— Имеете ли вы что-нибудь против самой девушки? — спросил он.

Нет, против нее Нед ничего не имел.

— Тогда почему бы вам не жениться на ней?

Но Нед снова покачал своей круглой головой.

Адвокат потер подбородок. Он был славный малый и умел ловко выуживать сведения.

— Так вот, что касается этой молодой особы, мисс Уинч... Простите, что я спрашиваю об этом, но... надеюсь, вы не поторопились сделать почин раньше времени?

И Нед в третий раз покачал головой. Нет, ничего такого не было. Однако он умолчал о том, что, если бы это было, его не прельстила бы близость служанки Пэнси.

— Мне кажется, здесь замешана еще какая-то девушка,— сказал вдруг адвокат.— Ну да ладно, это меня не касается. Ваше дело решать — жениться или же судиться и платить издержки. Дело ведь не шуточное. Так что вы с отцом лучше обсудите это дома еще раз, а потом дайте мне знать. Если решите судиться, придется вам ехать в Лондон. Ну, а в суде чем меньше слов, тем лучше. Просто скажете, что поняли свою ошибку и решили, что честнее будет порвать с девушкой сразу. Это иногда производит хорошее впечатление на присяжных, если человек выглядит честным и прямодушным.

Баудены уехали. По дороге домой их обогнал Стир. Он ехал один в своей коляске. Когда он проезжал мимо, Баудены ухмыльнулись. Потом отец крикнул:

— Вот пристал как банный лист!

Если Стир и слышал это, он не показал виду, но уши у него сильно покраснели.

Когда его коляска, быстро удаляясь, превратилась в пятнышко на крутом склоне холма, Бауден повернулся к сыну.

— Охота мне заставить этого малого попотеть,— сказал он.

— Ага,— отозвался Нед.

Но как заставить Стира попотеть и не вспотеть самим? Вот что занимало Бауденов, хотя думал об этом каждый из них по-своему. Но даже в такую трудную минуту они ни словом не упомянули о Пэнси. Ведь это значило бы коснуться чувств; а оба понимали, что лучше держаться фактов и придумать что-нибудь. Наконец Бауден прервал долгое и натянутое молчание:

— Если ты ничего не сделаешь, Нед, им, по-моему, никак тебя не припереть к стенке. Ты ничего ей не писал. Как они могут доказать, что ты не хочешь на ней жениться? Я так думаю, пускай они себе варятся в соб-

ственном соку, а ты стой на своем, не признавайся. И адвокату этому напиши, что ты не виноват.

Нед кивнул, но, несмотря на внешнюю невозмутимость, он невольно чувствовал, что все совсем не так просто. Хотя Пэнси и не успела еще ему надоесть, первая его избранница снова казалась ему желанной, — ее изысканность, которая в разлуке обрела особое очарование, вновь влекла к себе его остывающее сердце. И если бы Стир не продолжал действовать, трудно сказать, какой оборот приняли бы события в дальнейшем.

V

Когда Стир подал в суд на «этих двух молодчиков», между ним и его племянницей произошла сцена, которая еще сильнее разбредила чувства и без того горькие. Девушка вдруг проявила благородство «настоящей леди» и не пожелала неволить человека, которому она больше не мила. Ее желания резко расходились с желаниями дяди. Он вовсе не хотел, чтобы молодой Бауден женился на ней; он хотел только отомстить Бауденам. Она же все еще мечтала вернуть Неда; но если б вернуть его не удалось, она бы молча поплакала, и тем бы дело и кончилось. Они никак не могли прийти к согласию, и наконец Стир, потеряв терпение, стал убеждать племянницу, что подать в суд — единственный способ заставить молодого Баудена вернуться к ней. Потом его мучила совесть, потому что он любил племянницу и понимал, что, если подать в суд, этот парень упрется еще пуще и тогда уж ни за что не уступит. Но он прежде всего думал о старике Баудене — ведь пятьсот фунтов вылетят из кармана у отца, а не у Неда.

У Стира была веялка, которой, как было принято, пользовались по очереди все соседи. Но в этом году он без всяких объяснений забрал веялку с фермы Петрика как раз тогда, когда ее должны были передать Баудену. Бауден, который не счел бы ниже своего достоинства воспользоваться веялкой «этого наглеца», получив ее от Петрика в порядке очереди, счел ниже своего достоинства послать за ней к Стиру. Он воспринял это как открыто враждебные действия и заявил во всеуслышание в гостинице «Три звезды», куда заходил почти каж-

дый вечер выпить стакан сидра и стопку джина, настоенного на чесноке, что Сир — сукин сын и Нед скорее умрет, чем женится на его племяннице.

Эти слова скоро стали повторять везде и всюду, и Неду были отрезаны все пути к отступлению как раз тогда, когда он стал быстро охладевать к Пэнси и уже подумывал о том, не сходить ли еще разок в церковь, — авось Молли снова взглянет на него. В конце-то концов он, а не его отец должен будет отвечать перед судом; а к тому же он ничего не имел против Молли Уинч.

Теперь, когда об этой распре знала вся деревня, причина ее была уже забыта. Никто — даже сами Баудены — не помнил, что Бауденова собака покусала Сира и Сир ее пристрелил; тем скандальнее была связь Неда со служанкой Пэнси и ее сомнительные последствия. Прошла жатва, скосили папоротники; осенние ветры, налетавшие с Атлантического океана, гнали тучи, и дожди мочили вереск; листва на березах стала золотой, а на буках порыжела, как лисья шкура, и, если не считать того, что Молли Уинч нигде не показывалась, а Бауден и Сир проходили один мимо другого, словно мимо кучи мусора или камней, да служанка Пэнси возбуждала любопытство у всякого, кто видел ее хоть мельком (теперь это случалось нечасто, потому что она почти не выходила со двора фермы), дело, казалось, было кончено.

Сир был слишком скрытен и серьезен, чтобы говорить в открытую о тяжбе из-за нарушения обещания «жениться»; а Баудены молчали, потому что старались думать о суде пренебрежительно и вместе с тем слишком хотели забыть о нем. Никогда не упоминая об этом деле, даже между собой, и лишь отпуская невзначай такие замечания: «Больно уж здоровый кусок ухватил этот наглец, как бы не подавился», — они как бы относили это к будущему, которое для некоторых людей не существует, пока не станет настоящим. Раз или два они получали официальные напоминания, и Неду пришлось дважды, по базарным дням, беседовать с мистером Эпплуайтом, но от мрачных мыслей их всегда спасала ленивая и бесстрастная уверенность, что закон можно обойти, если «крепко стоять на своем и ничего не предпринимать».

Поэтому, когда в конце ноября Нед получил от ад-

воката письмо, в котором сообщалось, что он должен явиться для дачи показаний в Верховный суд на Стрэнде в Лондоне послезавтра к половине одиннадцатого утра, поразительная перемена произошла в этом круглоголовом юноше. У него пропал аппетит; его прошибал пот в такие минуты, когда он вовсе не работал. Он бросал на Пэнси злобные взгляды и долго сидел, держа перед собой листок с приготовленными показаниями и украдкой вытирая ладони о штаны. До сих пор ему казалось, что эта беда никогда не нагрянет, а теперь она свалилась на него, и ужас, какого не вызвала бы в нем никакая из более обыденных неприятностей, терзал его нервы и парализовал мысли. Если бы не отец, он никогда не решился бы затеять эту склоку. А старый Бауден, который родился, когда еще не было бульварных газет, не умел ездить на велосипеде и, кроме того, не обязан был давать показания на суде, долго сидел и курил свою трубку, а потом сказал, что, по его мнению, «нельзя допустить, чтобы этот наглец поставил на своем. Все кончится хорошо, если только Нед не струсит. А поездка в Лондон будет для них обоих вроде воскресной прогулки».

Итак, надев свои самые темные и самые твердые, словно сшитые из фанеры, шерстяные костюмы и черные котелки, они выехали на другой день с таким расчетом, чтобы поспеть к лондонскому поезду, а сзади в коляске сидел мальчик, который должен был вернуться с лошадью домой. В глубине души оба они были возмущены тем, что все это случилось из-за женщин; они не думали ни о чувствах той девушки, которая выступала истцей в процессе, ни о той, другой, которая провожала их взглядом, когда они выезжали со двора. Сидя рядом в мчащемся поезде, невозмутимые, краснолицые, они все яснее чувствовали, что превратить все это в приятную прогулку значило бы здорово досадить Стиру. Он хотел заставить их попотеть; и если они не поддадутся, для него это будет чувствительный удар.

Они остановились в Ковент-Гардене, в гостинице с девонширским названием, и вечером пошли в мюзик-холл, где шло представление под названием «Русский балет». Они сидели, чуть подавшись вперед и уперев руки в бока, их багровые лица, без всякого выражения,

словно у восковых фигур в музее, были обращены к сцене, где плавали белые воздушные сильфиды. Когда примадонну держали вверх ногами, Бауден слегка приоткрыл рот. А потом он довольно громко сказал, что «ноги у нее дай бог всякому». Время было военное, и так как добыть выпивку после спектакля им не удалось, они вынули из узлов у себя в номере внушительные бутылки, а выпив, уснули и громко храпели, словно даже во сне выражали презрение к козням «этого наглеца Стира».

VI

Очень расстроенный «щепетильностью» своей племянницы, Сtir теперь воспрял духом при мысли, что ему недолго осталось ждать торжества справедливости. Он и сам не знал, каким образом ему удалось вытащить Молли из дому,— просто жалко было смотреть, как она «артачилась». Уверенность, что в конце концов приличная сумма, полученная по суду, вознаградит ее за все, успокоила и исцелила его совесть, чувствительно задетую ее отчаянием. По дороге в суд его беспокоила ее бледность и покрасневшие глаза, но вместе с тем он понимал, что это очень кстати: она выглядела именно так, как это было нужно в данном случае. Через какой-нибудь час все будет кончено, сказал он ей, и тогда она поедет на море. Что, например, она скажет насчет Уэстона-сьюпер-Мер (он произнес это название как одно слово). Молли ничего не ответила, и он вошел в здание суда, ведя ее под руку с весьма гордым видом. При виде обоих Бауденов, сидевших в коридоре на скамье, в душе у него с новой силой вскипела злоба. Он заметил, что его племянница смущенно отвела глаза, когда встретила взглядом с молодым Бауденом. Да! Она даже теперь хотела бы его вернуть! Он увидел, как Нед зашаркал ногами по полу, а старый Бауден усмехнулся, и поспешно увел Молли прочь. Ни за что он не откажется от своего намерения выудить пятьсот фунтов из кармана у этого молодчика! Теперь распря между ним и его соседом пошла в открытую — эти молодые люди были лишь их орудием. По судебным правилам все должны были сесть на одну скамью так близко, что между противными сторонами едва поместилась бы свинья ту-

ша. Худое лицо Стира, исказившееся от напряжения, с которым он пытался следить за болтовней субъекта в парике, застыло в какой-то маниакальной неподвижности, но он не выпускал руки племянницы, то и дело безотчетно сжимая ее, так как видел, что она готова упасть в обморок. А «эти два молодчика» сидели, словно на аукционе, невозмутимые, самоуверенные,— они-то знали, что к чему: все это, мол, глупые штучки, из которых ничего не выйдет, надо только «крепко стоять на своем и ничего не предпринимать». Стиру казалось несправедливым, что у них такой спокойный вид, тогда как его племянница сидит рядом с ним ни жива ни мертва. Когда она, вся дрожа, пошла к свидетельскому месту, его бросило в жар, и от его одежды распространился запах камфоры. Он почти не слышал голоса Молли, а они все понуждали ее говорить. Он видел, что слезы катятся по ее щекам; а когда он глядел на Бауденов, которые ни разу не шевельнулись, даже седина в его рыжих волосах и бороде словно исчезала. Ее допрашивали не очень долго, адвокат Бауденов и тот почти не задавал ей вопросов — боялся, ясное дело! И Смир, кипя злобой и не зная, куда деваться от неловкости, смутно почувствовал, что ее манеры «настоящей леди», ее слезы, ее робость произвели выгодное впечатление на судью и присяжных. Он был в ярости, видя, как ее заставляют дрожать и плакать, но вместе с тем это его радовало.

Она вернулась и села рядом с ним, совершенно уйдя в себя. Адвокат Баудена начал свою речь, и Смир слушал с открытым ртом. Это был возмутительный способ защиты, ибо все сводилось к признанию, что парень обманул девушку, нарушив обещание жениться. «Мой клиент,— сказал адвокат,— пришел в суд не для того, чтобы защищаться, а чтобы, как честный человек, выразить сожаление по поводу того, что он причинил истнице боль. Но, позволим себе обратить на это внимание суда, он не нанес ей никакого материального ущерба, ибо теперь, когда все видели ее здесь, было бы нелепо утверждать, будто ее так называемая «ценность на брачном рынке» сколько-нибудь пострадала. Мой клиент явился сюда, чтобы сказать прямо и откровенно: когда его чувства к истнице изменились, он решил, что разорвать помолвку, пока не поздно, честнее, умнее и мило-

серднее, нежели вступить в брак, с самого начала обреченный быть несчастливый, что — пусть господа присяжные помнят это! — в силу особенностей мужского характера и природы вещей было бы гораздо более тяжким ударом для истицы, чем для ответчика. Полностью признавая свою ответственность за ошибку, которую он совершил, и за опрометчивость, в которой он повинен, ответчик надеется, что присяжные учтут его моральное мужество, побудившее его остановиться, пока не поздно, и спасти истицу от тяжкого несчастья».

Услышав про «моральное мужество», Сtir вдруг выпрямился так резко, что судья невольно моргнул. «Моральное мужество»! Неужели никто не скажет этим окаменелостям, что Нед путался с незаконнорожденной служанкой? Неужели никто не скажет им, что Бауден нарочно подбил сына на это, чтобы насолить ему, Стиру? Он чувствовал, что вокруг него плетут сеть лжи, ничего не мог понять и бесился; все это — жульничество и улещивание, как будто адвокат продает лошадь на ярмарке.

«Своим ясным и здравым умом простых, честных людей, — продолжал защитник, — господа присяжные поймут, что в нашем мире нельзя, чтобы и овцы были целы и волки сыты, хотя, быть может, в мире ином это возможно. Прискорбная практика разводного суда показывает, к чему приводят поспешные и опрометчивые браки. Так что следует серьезно задуматься, не эти ли процессы о нарушении брачного обещания и угроза гласности повинны в том, что упомянутый суд буквально завален делами о разводах». Далее адвокат позволил себе почтительно указать, что когда, как в данном случае, молодой человек признает свою ошибку и сожалеет о ней, но имеет достаточно мужества выдержать тяжкое испытание, дабы спасти истицу — а также в известной степени и себя, разумеется, — от несчастья на всю жизнь, то этот молодой человек заслуживает если не уважения, то, по крайней мере, справедливости и сочувствия со стороны своих сограждан, которые и сами ведь были молоды и, быть может, не всегда мудры, как Соломон. Пусть же они вспомнят, что значит молодая кровь, пусть представят себе солнечную тропинку в этом чудесном

западном графстве, запах жимолости, хорошенькую девушку и тогда, положа руку на сердце, скажут, что и сами они могли бы ошибиться, приняв мгновенное увлечение за любовь на всю жизнь.

«Не будем лицемерны, джентльмены, и не станем притворяться, будто мы всегда выполняем то, к чему сами приговариваем себя в жарком безумии в разгар лета. Мой клиент скажет вам со всей прямоотой, ибо он простой деревенский парень, что он совершил ошибку, о которой никто не сожалеет больше него самого, после чего я передам это дело в ваши руки, уверенный, что, как ни прискорбно огорчать эту очаровательную девушку, вы правильно оцените суть данного дела с чуткостью умных и проницательных людей».

— Ах, черт возьми!

— Тише! Вы в суде!

Восклицание, которое исторгли у Стира заключительные слова адвоката, отнюдь не выражало всю полноту тех чувств, что росли в нем с каждым словом «этого молодого негодяя», когда тот отвечал на ловкие вопросы своего защитника.

Круглоголовый, с прилизанными волосами, Нед выглядел вполне безобидно, и благодаря адвокату для него все было легче легкого — именно это так бесило Стира, да еще каменное лицо Баудена, совсем близко, так что между ними едва поместились бы две свиных туши. Когда его собственный адвокат начал перекрестный допрос, Сир почувствовал, что совершил роковую ошибку. Почему он не заставил адвоката притянуть и служанку Пэнси? На кой черт уступил он своей природной скрытности, уважению к своей племяннице и не воспользовался оружием, которое лишило бы этого молодого мерзавца всякого сочувствия присяжных? Его терзало злобное разочарование. Выходит, этому молодчику не покажут, где раки зимуют! Это возмутительно! Но вдруг он насторожился.

— Ну-с, молодой человек,— говорил адвокат Стира,— не кажется ли вам, что в наши дни вы могли бы найти лучший способ послужить родине, чем разбивать сердца девушек?.. Будьте так добры, отвечайте на вопрос! Не заставляйте суд попусту терять время. Ну? Говорите же!

— Мое дело землю пахать, чтоб хлеб был, я ведь вас кормлю!

— Вот как! Ну что ж, присяжные сами решат, насколько молодой человек вроде вас заслуживает снисхождения.

Губы Стира дрогнули. Нет, каков подлец!

Потом оба адвоката снова говорили речи и снова повторяли одно и то же, но Сир уже потерял к происходящему всякий интерес; разочарование не оставляло его, он чувствовал себя, как футболист, который рассчитывал блестяще подать мяч, но позорно промахнулся. Потом судья говорил все то, что уже было сказано, и добавил еще кое-что. Присяжные не должны позволять себе того и не должны позволять себе этого. Адвокат ответчика упомянул о бракоразводном суде, но присяжные не должны допускать, чтобы подобные соображения влияли на их вердикт. Пока существует закон, дела о нарушении брачного обещания следует рассматривать только по существу. Присяжные должны учесть то и учесть это и вынести вердикт, определив по совести сумму возмещения убытков.

И вот присяжные удалились на совещание. Пока их не было, Сир чувствовал себя одиноким. С одной стороны сидели эти Баудены, которых он хотел «заставить попотеть»; с другой — его племянница, которую он, судя по ее лицу, уже заставил немало «попотеть». Он не любил животных, но если бы в эти долгие четверть часа, когда оба его врага сидели, равнодушно уставившись прямо перед собой, хоть собака лежала у его ног, ему было бы легче. А потом присяжные вернулись, и желание, мучившее его, робко выразилось в мольбе, которую можно было бы послать по почте:

«Боже, заставь их попотеть. Твой смиренный раб Дж. Сир».

— Мы решили дело в пользу истицы и присудили ответчика к возмещению убытков в сумме трехсот фунтов стерлингов.

Триста фунтов! Да еще судебные издержки, вместе это будет уже пятьсот! А капитала у Баудена нет; он всегда еле сводит концы с концами, только что займы не берет. Да, это для него сильный удар. Схватив племянницу за руку, Сир встал и вывел ее в правую дверь,

пока Баудены, словно слепые, ощупью искали левую. В коридоре к нему подошел его адвокат. Что от него толку, он и наполовину не сделал своего дела! Стир уже готов был сказать ему это, но мимо прошли Баудены, шагая широко, словно по полю, засеянному репой, и он слышал, как Бауден сказал:

— Вот ведь пристал, как репей, думает, что получит денежки. Только не дожидаться ему этого.

Он хотел что-то ответить, но адвокат взял его за отворот сюртука.

— Уведите свою племянницу, мистер Стир. С нее довольно.

И, не испытывая торжества победы, не чувствуя ничего, кроме тупой, раздражающей боли в сердце, Стир взял Молли за руку и вывел из храма правосудия.

VII

Вслед за вестью о том, что Стир «нагрел» Баудена на триста фунтов и судебные издержки за нарушение обещания жениться, данного Молли Уинч, в деревню пришла и другая весть — Нед пошел в солдаты. Все были в восторге от этой двойной сенсации. Казалось, на войне так легко стяжать славу, что неизвестно, кому повезло больше. Однако не приходилось сомневаться, что Молли Уинч и служанке Пэнси повезло меньше всех. Вся деревня, охваченная любопытством, жаждала их видеть. Но это оказалось невозможным, так как Молли Уинч в Уэстоне-сьюпер-Мер, а служанка Пэнси не показывалась даже на дворе у Баудена, когда к нему заходили по делу. Сам Бауден, как обычно, ходил в гостиницу «Три звезды», где он заявил при всех, что Стир никогда не увидит ни пенса из этих денег, а Стир, как всегда, ходил в церковь, где он был старостой, но ничего такого сказать, разумеется, там не мог.

Прошло рождество, потом Новый год, миновали унылые февраль и март, когда все деревья стояли обнаженные, а кустарник, летом красновато-коричневый, стал темно-бурым и птицы не пели в ветвях.

Стир, одержав победу, потерял племянницу; она решительно не пожелала вернуться в деревню победительницей и поступила на службу. Бауден, также одержав

победу, потерял сына, который теперь заканчивал боевую подготовку в своем батальоне, стоявшем во Фландрии. Ни один из врагов не показал словом или поступком, что усматривает какую-либо связь между своей победой и потерей; но однажды в конце марта школьная учительница видела, как они сидели в своих колясках и глядели друг на друга, встретившись на такой узкой дороге, что разъехаться можно было только, если бы кто-нибудь уступил. Они не двигались с места так долго, что лошади успели ощипать кусты по обе стороны дороги. Бауден сидел, скрестив руки на груди, похожий на своего быка. У Стира зубы были оскалены, а глаза сверкали, как у собаки, готовый укусить.

Учительница, которая была не робкого десятка, взяла под уздцы лошадь Баудена и осадил ее назад.

— Ну, мистер Сир,— сказала она,— теперь возьмите левее, прошу вас. Нельзя же стоять так целый день, загораживая дорогу, так что никому и не проехать.

Сир, который все-таки дорожил своей репутацией в приходе, дернул вожжи и въехал прямо в живую изгородь. А учительница без лишнего шума, шаг за шагом, провела лошадь Баудена под уздцы мимо его коляски. Колеса закрипели, одна коляска слегка задела другую; на лицах обоих фермеров, оказавшихся так близко, не дрогнул ни один мускул, но когда коляски разъехались, каждый, словно по уговору, сплюнул вправо. Учительница отпустила вожжи Бауденовой лошади и сказала:

— Вам должно быть стыдно, мистер Бауден; и мистеру Сире тоже.

— Как это? — сказал Бауден.

— И в самом деле, как это? Все знают, какие у вас с ним отношения. Из этого ничего хорошего не выйдет. Да еще во время войны, когда все мы должны сплотиться! Почему бы вам не подать друг другу руки и не стать снова друзьями?

Бауден рассмеялся.

— Подать руку этому наглецу? Да я скорее подам руку дохлой свинье. Пускай он вернет моего сына из армии.

Учительница подняла голову и поглядела ему в лицо.

— Кстати, вы, надеюсь, позаботитесь о бедной девушке, когда придет срок,— сказала она.

Бауден кивнул.

— Не беспокойтесь! Пускай уж лучше она родит мне внука, чем эта Стирова племянница.

Учительница помолчала немного.

— Бауден,— сказала она наконец,— вы рассуждаете не по-христиански.

— А вы сходите к Стиру, мэм, да попытайте, может, он окажется лучшим христианином. Он ведь по воскресеньям держит тарелочку — пожертвования собирает.

Добрая женщина так и сделала, вероятно, больше из любопытства, чем с намерением обратить Стира на путь истины.

— Как! — сказал Смир, который в это время уставлял в саду новый улей.— После того, как этот богом проклятый человек подбил своего сына обмануть мою племянницу!

— Но ведь вы христианин, мистер Смир!

— Всему есть предел, мэм,— сухо сказал Смир.— По мне даже сам господь бог не смог бы поладить с этим негодяем. Так что не тратьте слов зря и не уговаривайте меня.

— Боже! — пробормотала учительница.— Не знаю уж, кто из вас двоих хуже.

И в самом деле, знали это только Смир и Бауден: каждый из них окончательно убедился в том, что другой — негодяй, когда пришла весна, запели птицы, зазеленела листва, стало пригревать солнце, а у одного не было сына, чтобы сеять хлеб и смотреть за телятами, у другого — племянницы, чтобы сбивать лучшее масло во всем приходе.

В конце мая, в погожий день, когда свежий ветерок шевелил листву ясеней и яркие золотистые лютики, Пэнси подошло время рожать; а на другое утро Бауден получил от сына письмо:

«Дорогой отец!

Нам не дозволено писать, где мы, так что я могу лишь сообщить, что ядер тут летает ужас сколько, и конца этому не видать, а там, где которое-нибудь из них упадет, такая остается ямина, что целый фургон зарыть можно. Хороший мячик, грех жаловаться. Надеюсь, ты управился без меня с телятами. А здесь и травы-то почти

нет, кролику полдня не прокормиться. Я вот о чем хочу тебя попросить: ежели у меня будет сын (ты знаешь, от кого), назови его Эдуардом в твою и мою честь. Я тут поневоле все думаю... Наверно, ей будет приятно узнать, что я женюсь на ней, ежели вернусь живой,— уж так я решил, чтоб совесть не мучила. В нашем взводе есть несколько немецких пленных. Немцы — здоровые парни, а когда они палят в нас из пулеметов, свиньи этакие, туго нам приходится, скажу я тебе. Надеюсь, все вы, как и я, живы-здоровы. Ну как, перестала эта свинья Стир требовать свои деньги? Хотел бы я снова увидеть нашу старую ферму. Скажи бабке, чтоб сидела в тепле. Остаюсь твой любящий сын.

Нед».

Бауден постоял несколько минут у весов, пытаюсь разобраться в своих чувствах, а потом отнес письмо Пэнси, лежавшей вместе с ребенком в своей тесной клетушке. Деревенских жителей, не умеющих владеть собой, письмо или событие, которое вспахивает целину чувств или взрывает скалу какого-нибудь предрассудка, надолго оглушает и выводит из равновесия. Так, значит, Нед хочет жениться на ней, если вернется! Баудены—род старый, а девушка незаконнорожденная. Это не дело! Только теперь, узнав о том, что Неда это тревожит, Бауден по-настоящему понял, какой опасности подвергается там его сын. Чутьем он понимал, что совесть не мучает так сильно тех, кто полон жизни и уверенности в будущем; поэтому он с каким-то предубеждением отнес письмо девушке. Но, в конце концов, ребенок — плоть от плоти Неда и его самого, точно так же, как если бы его родители были обвенчаны в церкви, и к тому же это мальчик. Он отдал ей письмо со словами: «А вот подарок тебе и нашему маленькому Эдуарду Седьмому».

Вдова, которая жила неподалеку и обычно оказывала немудреную помощь в подобных случаях, вышла из комнаты, а Бауден, пока девушка читала, присел на низкий стул у окна. Стоять ему было неудобно, так как он касался головой потолка. Ее грубая рубашка, обнажив шею, сползла с сильных плеч, черные, потерявшие блеск волосы рассыпались по подушке; он не видел ее лица, заслоненного письмом, но слышал, как она вздохнула. И ему стало жаль ее.

— Что это ты, ведь радоваться надо,— сказал он. Уронив письмо и взглянув ему в глаза, девушка сказала:

— Нет, это мне ни к чему; Нед меня больше не любит.

Какая-то невыразимая тоска была в ее голосе, какое-то смятенное, ищущее выражение в темных глазах, так что Баудену стало не по себе.

— Не горюй! — пробормотал он.— Вон у тебя какой ребенок, прямо богатырь, уж его-то у тебя никто не отнимет.

Подойдя к кровати, он пощелкал языком и протянул ребенку палец. Сделал он это нежно, словно всегда умел обращаться с детьми.

— Настоящий маленький мужчина.

Потом он взял письмо, чувствуя, что «незачем оставлять ей этот козырь против Неда, если он вдруг передумает, когда благополучно вернется домой». Но, выходя за дверь, он увидел, как Пэнси дала ребенку грудь, и снова ему стало не по себе, словно жалость кольнула его. Кивнув вдове, которая сидела на пустом ящике из-под бакалеи около слухового окна и читала старую газету, Бауден по винтовой лестнице спустился в кухню. Его мать сидела у окна, греясь на солнце, и ее блестящие темные глазки быстро бегали на лице, покрытом сетью морщинок. Бауден постоял немного, глядя на нее.

— Ну, бабка,— сказал он,— теперь уж ты прабабкой стала.

Старуха кивнула и, потирая руки, чуть скривила губы в улыбке. Баудена вдруг охватил ужас.

— В этом нет никакого смысла,— пробормотал он себе под нос, сам хорошенько не зная, что он хотел этим сказать.

VIII

Бауден не пришел в церковь три недели спустя, когда ребенка окрестили Эдуардом Бауденом. В это июньское утро он повез продавать на рынок бычка. Коляска ехала медленно, под тяжестью бычка она осела и вся тряслась. Хотя жизнь и приучила Баудена к этому, он

никогда не мог равнодушно отнимать телят у матерей. Он питал к скотине странные чувства, жалел ее больше, чем людей. Он всегда бывал мрачен, когда в коляске, у него за спиной, покачивалось крепко связанное маленькое рыжее существо. Оно вызывало в нем какую-то душевную теплоту, как будто некогда, в прежней своей жизни, он сам был таким вот рыжим бычком.

Когда он проезжал через деревню, кто-то окликнул его:

— Эй, слышал новость? Вчера утром наши задали немцам хорошую трепку.

Бауден кивнул. Вести с войны были теперь для него лишь напоминанием о том, что этот негодяй Стир отнял у него Неда, лишил его опоры. Конечно, думал он, когда-нибудь война кончится, но пока что-то конца не видать — нынче они там гонят немцев, завтра немцы гонят их, а тут тем временем вводят то один закон, то другой, все насилуют землю. Не знают они, что ли, эти чурбаны, что землю нельзя насиловать? Стир, конечно, тоже ее насилует — сеет пшеницу там, где она не может расти, — уж это всякий скажет.

День был жаркий, дорога пыльная, а потом этот сукин сын Стир весь день околачивался на рынке, и поэтому Бауден перед тем, как ехать домой, крепко выпил в «Драконе».

Когда он вошел в кухню, ребенок, уже окрещенный, лежал в тени, в деревянном ящике, куда ему подложили подушку и платок, а старая миссис Бауден сидела на солнце и шевелила руками, как будто что-то ткала. Овчарка Баудена положила морду на край ящика и приняла хивалась, словно хотела увериться, что в ребенке действительно произошла какая-то перемена. Пэнси встала и хлопотала по хозяйству. «Она, видно, оправилась, но все еще бледна и слаба», — подумал Бауден. Он постоял около ящика, разглядывая «богатыря». Ребенок не был похож на Неда и вообще, насколько Бауден мог судить, ни на кого не был похож. Вдруг он открыл большие серые глаза. А вот у Стира никогда не будет внука, пусть даже незаконнорожденного. Бауден пощелкал языком, чтобы позабавить ребенка, и овчарка ревниво ткнулась белой косматой головой ему в руку.

— Но-но,— сказал Бауден.— Ты что это?

Он вышел из кухни. Солнце уже садилось. Он решил пойти взглянуть на свою скотину, которая паслась на кочковатой пустоши за полями, и собака увязалась за ним. По дороге он присел на камень среди молодых папоротников и дрока, который еще не зацвел. Вечер был так хорош, что и словами не описать, солнце стояло уже низко, и его волшебный свет стал словно бы одушевленным, подвижным, и струился сквозь зелень ясеней, боярышника и папоротников. Один куст боярышника рядом еще был причудливо убран нежными цветами со сладким сильным запахом; круглые молочно-белые плоские цветки бузины сверкали в искрящемся воздухе, а рябина в овраге уже отцвела и покрылась бурыми неровными ягодами.

Во всем чувствовался волшебный переход от одного времени года к другому, даже в голосе кукушки, которая, как стрела, взлетела на акацию, росшую у края каменистой лощины, и пронзительно закуковала. Бауден пересчитал скотину и любовался, как блестят на солнце рыжие шкуры. Его клонило ко сну от жары, от выпитого сидра, от жужжания мух среди папоротников. Он безотчетно наслаждался глубоким и чувственным покоем, теплом и красотой. Нед пишет, что там совсем нет зелени. Просто не верится! Нет даже травы — и кролику не прокормиться; ни выющегося, похожего на гусеницу, молодого побега папоротника; ни зеленого дерева, на которое села бы птица! И это Стир послал его туда! Мысль эта пронеслась сквозь дрему, хлопая черными крыльями. Стир! У него нет сына, чтоб воевать, он знай себе денежки наживает! Баудену подумалось, что сама злобная судьба покровительствует этому сквалыге, который даже выпить как следует себе не позволяет.

Голубые цветы вероники и молочая в изобилии росли среди жесткой травы, и Бауден, быть может, в первый раз в жизни заметил эту маленькую естественную роскошь, которой Стир лишил его сына, послав его туда, где не растет даже трава.

Наконец он встал и медленно пошел обратно той же дорогой, по тропе, обильно удобренной засохшим навозом его коров, а бесчисленная мошкарa роилась вокруг цветов бузины и среди листвы ясеней. Когда он вошел во

двор, из дома как раз выходил деревенский почтальон. Он остановился в дверях и повернул к Баудену седую голову с красным лицом и черными глазами, щурясь от света заходящего солнца.

— Вам телеграмма, мистер Бауден,— сказал он и ушел.

— Что такое? — равнодушно буркнул Бауден и поднялся на крыльцо.

Нераспечатанная телеграмма лежала на кухонном столе, и Бауден удивленно уставился на нее. Ему не часто приходилось получать такую корреспонденцию — может быть, всего раз пять за все пятьдесят с лишним лет его жизни. Он взял телеграмму так, как, вероятно, взял бы птицу, которая может клюнуть, и распечатал.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ваш сын пал в бою седьмого числа сего месяца. Военное министерство».

Он перечел телеграмму снова и снова, а потом тяжело сел, уронив ее на стол. Его круглое бесстрастное лицо казалось слепым и застывшим, рот был чуть приоткрыт. Подошла Пэнси и встала рядом с ним.

— Вот,— сказал он.— Прочти.

Девушка прочла телеграмму и схватилась за голову.

— Теперь уж ничем не поможешь,— скороговоркой пробормотал он.

Ее бледное лицо вдруг покраснело; она тихонько заголосила и выбежала из комнаты.

Теперь в чисто выбеленной кухне все было мертво и неподвижно, только раскачивался маятник часов да без устали бегали глаза у старой миссис Бауден, сидевшей под геранью, у окна, там, куда солнце бросало последние лучи, скрываясь за домом. Тикали часы, минута проходила за минутой. Наконец Бауден зашевелился,— его голова поникла, плечи опустились, колени разъехались. Он встал.

— Будь проклят во веки веков этот сукин сын Стир,— медленно произнес он, снова беря телеграмму.— Где моя палка?

Неуверенно, как слепой, он обошел кухню и вышел во двор. Старуха следила за ним своими блестящими

глазками. Пройдя через старые ворота, он побрел по дороге к ферме Стира, медленно поднялся на две ступеньки, перелез через ограду и очутился на дворе фермы.

— Хозяин дома? — спросил он у мальчика, стоявшего около коровника.

— Нет.

— А где он?

— Еще не вернулся с рынка.

— Ага, он прячется, прячется от меня!

И Бауден повернул назад по дороге. В ушах у него стояло монотонное жужжание, ноздри раздувались, ловя вечерние запахи — запах травы, коровьего навоза, сухой земли и кустов, окаймлявших поле. Обоняние его еще жило, но все остальные чувства заглушала горечь, подступившая к сердцу. Кровь стучала у него в висках, и он тяжело ступал по земле. По этой дороге должен проехать Сир в своей коляске — будь он проклят во веки веков! Пройдя свой выгон, он очутился у придорожного постоянного двора. Если сесть на скамью у окна, можно было видеть всех проезжающих. Кроме хозяина и двух служанок, внутри никого не было. Бауден, как обычно, потребовал кружку сидра и сел у окна. Он не рассказал о своем несчастье, а они, как видно, ничего не знали. Он просто сидел и глядел на дорогу. Время от времени он отвечал на какой-нибудь вопрос, иногда вставал и протягивал кружку, чтобы ее наполнили. Потом кто-то вошел: он услышал тихие голоса. Вошедшие смотрели на него. Они знали! А он все сидел молча, пока постоянный двор не закрылся. Было еще светло, когда он, шатаясь, побрел обратно к дому, то и дело оглядываясь, чтобы не пропустить Стира. Солнце зашло, вокруг было очень тихо. Он прислонился к воротам изгороди, которой было обнесено его поле на склоне холма. Никто не проезжал по дороге. Сгущались сумерки. Взошла луна. Где-то заухала сова. Позади него, в поле, от купы буков, крадучись, поползли тени, призрачные, едва заметные на траве и на цветах, а потом медленно сгустились под ясным светом луны.

Бауден оперся спиной о деревянный столб, у него подогнулось одно колено, потом другое, и он застыл так в мрачном оцепенении. Перед ним возникли видения, но их было немного. Ни травы, ни деревьев нет там, где уби-

ли его сына, ни птиц, ни зверей; как же это так... все грязно-серое в лунном свете... и лицо Неда тоже сплошь серое! Теперь он никогда больше не увидит лица Неда! Будь проклят этот сукин сын Сир, этот сукин сын! Мертвый Нед никогда не увидит родного дома, не услышит знакомых голосов, не почует привычных запахов. И Бауден почувствовал за Неда острую тоску по дому, по родной земле, по привычным звукам и запахам. Здесь жили их предки с незапамятных времен. И он вспомнил свою покойную жену, вспомнил, как родился Нед. Жена... что ж, она родила ему шестерых, но спасти из них удалось только Неда. А в тот раз у жены была двойня. Он вспомнил, как сам сказал тогда доктору, чтоб тот о «девчонке» не беспокоился, только бы спас мальчика. Он хотел, чтобы после него остался наследник, а теперь Нед умер,—ах, этот... этот сукин сын Сир!

Он услышал далекий, постепенно приближающийся стук колес. Крепко сжав палку, он выпрямился, глядя на дорогу, всю испещренную полосами лунного света. Шум приближался, уже можно было различить цоканье копыт, а потом очертания лошади и коляски выступили из темноты. Да, это был Сир! Бауден открыл ворота и ждал. Коляска двигалась медленно; Бауден увидел, что лошадь хромает, и Сир ведет ее под уздцы. Он шагнул ему навстречу.

— Эй,— сказал он.— Мне нужно с тобой поговорить. Заверни-ка сюда!

Лунный свет упал на худое бородатое лицо Сира.

— Чего тебе? — спросил он.

Бауден повернулся к воротам.

— Привяжи лошадь; я хочу с тобой рассчитаться.

Он видел, как Сир постоял немного на месте, словно раздумывая, потом бросил вожжи на створу ворот. Голос его прозвучал резко и твердо:

— Значит, ты достал наконец деньги?

— А! — вскрикнул Бауден и попятился к деревьям. Он видел, как Сир осторожно подходит к нему с палкой в руке. Он поднял свою палку.

— Это тебе за Неда,— сказал он и ударил изо всей силы.

Но Сира он не достал; тот отпрянул и тоже замахнулся палкой.

Бауден ударил снова, но Сtir отпарировал удар, и тогда, отшвырнув палку, Бауден бросился на врага, чтобы вцепиться ему в горло. Он был вдвое крупнее и сильнее Стира; но зато Сtir был вдвое проворнее и расчетливее. Они раскачивались из стороны в сторону среди буковых стволов, оказываясь то в тени, то в лунном свете, и тогда лица их становились серыми, а глаза сверкали — глаза мужчин, готовых убить друг друга. Они крепко сцепились, и каждый с отрывистым, злобным рычанием старался повалить другого. Они обошли вокруг старого, трухлявого дерева и остановились, тяжело дыша, пожирая друг друга глазами. Вся ненависть, накопившаяся за эти долгие месяцы, горела теперь в этих глазах, и руки у них судорожно дергались. Вдруг Сtir упал на колени и, схватив Баудена за ноги, стал тянуть, и тянул до тех пор, пока громоздкая, колеблющаяся туша, наклонившись вперед, не рухнула через Стира на землю всей своей тяжестью. А затем оба они сплелись в один клубок и покатались по траве, потом высвободились и долго сидели на земле, уставившись друг на друга. На Баудена после выпивки эта встряска действовала ошеломляюще, а Сtir был оглушен тяжестью, которая только что навалилась к нему на спину. Они сидели с таким видом, как будто каждый из них знал, что спешить некуда, что они затем пришли сюда, чтобы довести это дело до конца; сидели, глядя друг на друга в лунном свете, чуть подавшись вперед, вытянув ноги, разинув рты, с трудом переводя дух, и казались смешными — смешными друг другу! Вдруг зазвонил церковный колокол. Его размеренный звон сначала лишь едва коснулся одурманенного рассудка Баудена, который тупо раздумывал, как бы снова наброситься на Стира, но потом дошел до его сознания. Звонят? Звонят! По ком? Руки у него опустились. Что-то толкало его вперед и в то же время сдерживало, в нем боролись решимость и суеверие, жажда мести и скорбь. Прошла долгая минута. Колокол все звонил. У ворот тихо заржала хромая кобыла Стира. Вдруг Бауден встал, пошатываясь, повернулся спиной к врагу и через залитое лунным светом поле побрел к дому. Из высокой травы поднимался сладкий запах клевера. Он услышал скрип колес — это Сtir тронулся дальше. Пускай! Что толку с ним драться — Неда теперь все равно не вер-

нешь! Он дошел до ворот и остановился, прислонившись к столбу. Холодный свет луны струился в воздухе, заливая поля; подстриженные осины дрожали у него над головой, розы, которыми была увита низкая каменная изгородь, словно бы покрылись какими-то странного цвета полосами; мимо, задев его щеку, пролетел мотылек.

Бауден нагнул голову, словно хотел ударить, отшвырнуть от себя всю красоту этой ночи. Колокольный звон смолк, и теперь не было слышно ни звука, кроме шелеста дрожащих осиновых листьев да журчания ручья.

Чудовищно мирно было вокруг — просто чудовищно!

И в Баудене словно угасло что-то. У него больше не было сил ненавидеть.

ШАНТАЖ

I

Верный, но весьма язвительный друг Чарлза Грентера как-то сказал о нем: «*Ce n'est pas un homme, c'est un bâtiment*»¹, — и с этим, как видно, был вполне согласен худой смуглый человек, шедший за Грентером в то октябрьское утро по Окли-стрит в Челси. Весь, от квадратных подошв до светлой квадратной бороды и квадратной головы под черным квадратным котелком, Грентер казался таким огромным, твердым, как гранит, неуязвимым, покрытым стальной броней, — серый костюм в мягком, солнечном свете делал его еще внушительней; он был слишком огромный, — такой никогда не окажется за бортом — разве только, чтобы служить подводной лодкой. И человек, украдкой следовавший в его кильватере до самой набережной, раз или два подходил к нему вплотную, но снова отставал, словно убоявшись величины и неприступности «корабля». Несмотря на то, что минувшее лето было жарким, платаны стояли еще совсем зеленые, лишь немногие листья с них опали или пожелтели — признак того, что очаровательная и унылая пора, называемая ранней осенью, наступила. Хотя дом, где жил Грентер с женой, был рядом, он свернул с пути, чтобы пройтись под этими деревьями и полюбоваться на реку. Видимо, такое проявление чувствительности придало мрачному типу решимости, он снова подкрался к Грентеру и больше уже не отставал от него ни на шаг.

¹ Это не мужчина, а крепость (франц.).

Оборванный и грязный, будто всю жизнь был бродягой, он приостановился, внимательно оглядел улицу бегающими черными глазками и, убедившись, что поблизости никого нет, судорожно глотнул, от чего напряжились жилы на его худой шее, и, незаметно поравнявшись с Грентером, торопливо и хрипло проговорил:

— Извините, сэр, десять фунтов — и я буду молчать.

Выражение, которое было на лице Грентера, когда он обернулся, услышав это неожиданное требование, как нельзя лучше подтверждало известную истину: «Внешность обманчива». Лицо это, горевшее страстью и отвагой, но вместе с тем презрительно-насмешливое, забавно дрогнуло над массивным туловищем, потом раздалось громкое бречанье — это Чарлз Грентер зазвенел монетами в кармане брюк. Дрогнули и его приподнятые брови, и морщинки, разбегавшиеся от уголков глаз по широким скулам, и углы рта, скривившегося в насмешливой улыбке.

— Что с вами, дружище? — спросил он неожиданно тонким голосом.

— Да мало ли что, всякое бывает, сэр. Теперь вот дошел до ручки. Я знаю, где вы живете, и знаю вашу жену, но десять фунтов — и я буду молчать.

— О чем?

— О том, что вы ходите к той девице, от которой только сейчас вышли. Десять фунтов. Это ж немного, а я человек слова.

Все еще храня на лице улыбку, Грентер иронически хмыкнул.

Бог ты мой, шантаж!

— Слушайте, почтеннейший, я доведен до крайности и решил получить эти десять фунтов любой ценой. Если у вас нет при себе, отдадите на этом самом месте в шесть, сегодня же вечером. — Его глаза вдруг загорелись на голодном лице. — Но только без фокусов! Меня все равно не проведешь!

Какое-то мгновение Грентер разглядывал его, потом повернулся к нему спиной и стал смотреть на воду.

— Итак, сэр, в вашем распоряжении два часа: до шести. Смотрите же, без фокусов.

Хриплый голос смолк, шаги замерли в отдалении; Грентер остался один. Улыбка все еще блуждала на его

губах, но ему уже было не до смеха; его разбирала досада, законное негодование человека солидного, благопристойного и ни в чем не повинного. Откуда взялся этот проходимец? Так, значит, его выслеживали, а он об этом и не подозревал. У Грентера даже уши покраснели. Вот мерзавец!

Все казалось слишком нелепым, чтобы обращать на это внимание. И тем не менее его ум, искушенный в житейской мудрости, не мог успокоиться. Сколько раз заходил он к этой несчастной цветочнице? Три. А все потому, что он не пожелал передать этот случай Обществу, которое так любит копаться в чужой беде. Недаром говорят, что частная благотворительность чревата неприятностями. Выходит, так! Шантаж! В голове у него засела мысль, которую он никак не мог прогнать, точно ворону с высокой ветки: почему не рассказал он об этой цветочнице своей жене и не сделал так, чтобы она навещала ее? Почему? Да потому, что Ольга назвала бы эту девушку притворщицей. Что ж, возможно, так оно и есть. Дело темное! И вообще, разве этот негодяй осмелился бы угрожать ему, если б сама девица не была в этом замешана? Теперь она, конечно, будет врать, чтобы помочь своему сообщнику. А жена, чего доброго, поверит им... Она как-то... как-то слишком уж цинична! Все это так грязно, так неприятно в семейных отношениях!

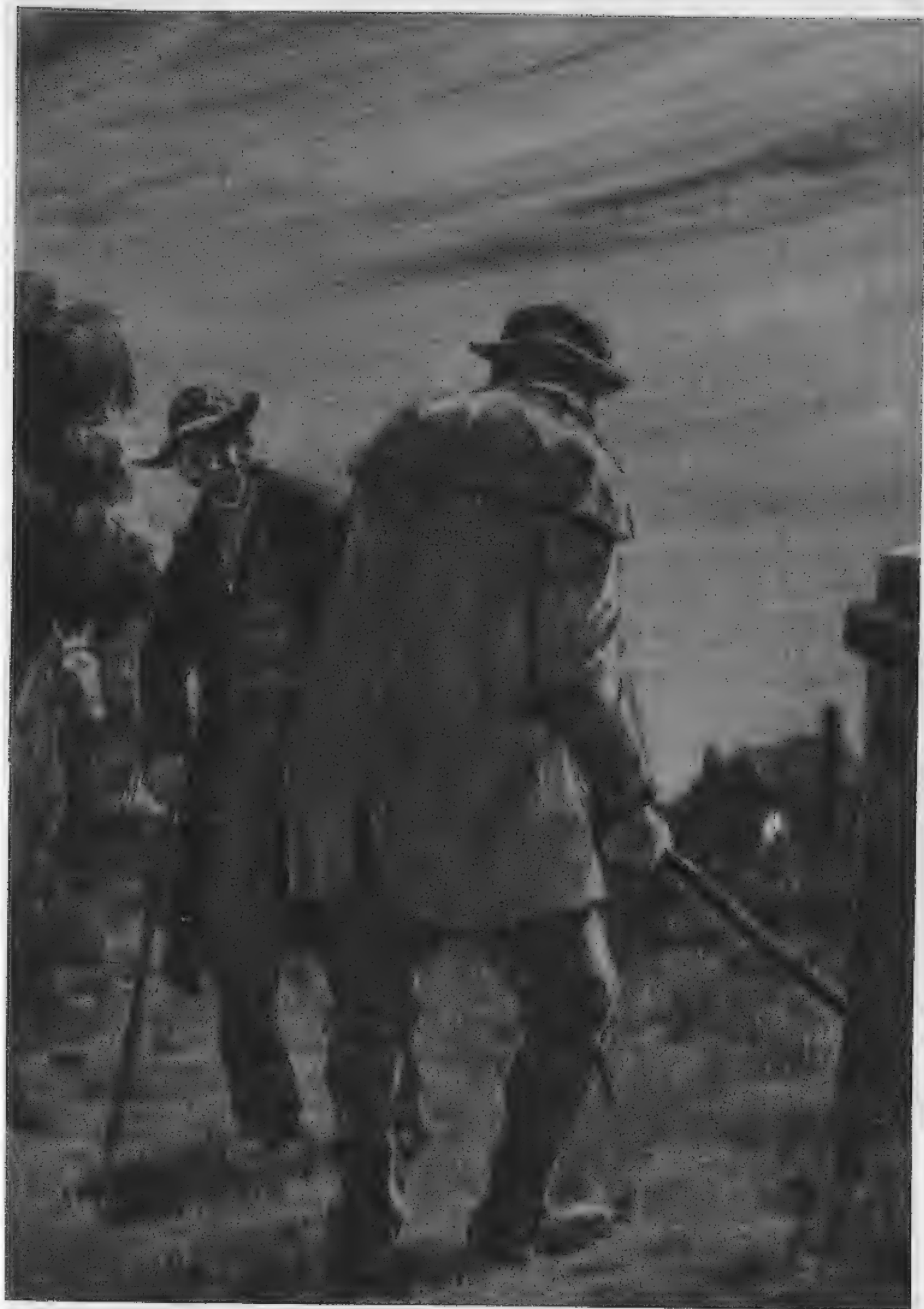
Грентер почувствовал себя совсем скверно. Он вдруг потерял веру в людскую порядочность. А тут еще закаркала вторая «ворона». Допустимо ли, чтобы какой-то негодяй безнаказанно проделывал подобные штуки? Не заявить ли в полицию? Грентер стоял как вкопанный; с платана упал пестрый лист и опустился на его котелок, а у ног пристроился маленький щенок, который, видимо, принял его за фонарный столб. Нет, этот случай не пустяк! Для его репутации человека гуманного, честного и здравомыслящего — совсем не пустяк! Если заявить в полицию, они начнут преследовать этого бродягу и, возможно, дадут ему год тюрьмы, а ведь он, Грентер, всегда считал, что наказание, как правило, не соответствует совершенному преступлению. Глядя на реку, он словно видел жестокую силу, нависшую над ним, над его женой, над Обществом, над девушкой-цветочницей и даже над

этим негодяем, — силу, которая вот-вот обрушится на одного из них или на всех вместе. Как ни кинь, а дело дрянь, хуже некуда. Не удивительно, что шантаж считается таким омерзительным преступлением. Это самый бессердечный и скользкий из всех человеческих проступков — так паук оплетает паутиной свою жертву, так убивается всякое чувство сострадания, так возникает опустошенность, гибнет вера! Но все обернулось бы еще хуже, будь его совесть не чиста. А так ли уж она чиста? Стал бы он разве ходить к этой молоденькой цветочнице, да не один раз, а три, если б она не была такой хорошенькой, с такими красивыми темно-кариими глазами, с грубоватым, но таким проникновенным голосом? Стал бы он разве навещать старую, неряшливую цветочницу, что сидит вон на том углу, хоть и ей живется не легче? Честность в нем ответила: нет. Но чувство справедливости внесло поправку: если ему и нравится глядеть на хорошенькое личико, что ж в этом дурного — он был требователен к себе и уверток не терпел. Зато Ольга так цинична; она непременно спросила бы его, отчего он не навестил и эту старуху цветочницу, и того хромого, что продает спички, и вообще всех несчастных в квартале. Но что сделано, то сделано — надо смело идти навстречу опасности. Только вот куда идти? В полицию? К жене? Или к самой девушке, чтобы выяснить, причастна ли она к этому вымогательству? А может, дожидаться шести часов, встретиться с тем подлецом и показать ему, где раки зимуют? Грентер ни на что не мог решиться. Все казалось ему равно смелым — и так и этак будет правильно. Но еще смелее пренебречь этим!

Волны уgomонились, и полноводная река внизу под ним мирно серебрилась на солнце. Эта умиротворенность вернула ему то безмятежное настроение, в каком он пребывал лишь недавно, когда переходил набережную, чтобы взглянуть на воду. Вот он здесь, у реки, на которой стоит этот огромный город, — он, Грентер, высокий, сильный, сытый и, если и не богатый, то вполне благополучный; а рядом — сотни тысяч таких, как та бедная девушка-цветочница или этот мрачный бродяга, которые скользят по краю пропасти, именуемой нуждой. Для него эта река — источник эстетического наслаждения, для них — быть может, последнее прибежище.



«У НЕГО БЫЛА ЛОШАДЬ»



«РАСПРЯ»

Она так и сказала, но нищие, вероятно, всегда так говорят, чтобы разжалобить, вот и этот проходимец тоже: «Рассчитывать не на что... дошел до ручки».

И все же хотелось быть справедливым! Если бы только он мог узнать о них все... Но, увы, он не знал ничего!

«Нет, не могу поверить, что она такое неблагодарное, жалкое создание! — думал он. — Надо вернуться и поговорить с ней еще раз...»

И он пошел назад по Окли-стрит до самого ее дома и, поднявшись по лестнице, пропахшей керосином, постучал в приотворенную дверь, за которой ему виден был ее ребенок, прижатый неизвестно с кем; видимо, его только что покормили, и теперь он, сидя в корзине из-под цветов, невозмутимо глазел на Грентера. Взгляд этот словно предупреждал его: «Смотри, как бы тебя не приняли за моего отца. Сможешь ли ты доказать свое алиби, старина?» И Грентер почти бессознательно начал припоминать, где он был месяцев четырнадцать — шестнадцать назад. Не в Лондоне — благодарение богу! С женой в Бретани — весь прошлый июль, август и сентябрь. Позвякивая в кармане монетами, Грентер разглядывал ребенка. Этот малыш вполне мог быть четырехмесячным, хоть и выглядел старше! Ребенок улыбнулся беззубым ртом. «Дя!» — сказал он и протянул свою крошечную ручонку. Грентер перестал звенеть монетами и оглядел комнату. Когда он впервые пришел сюда месяц назад, чтобы проверить, правду ли рассказала ему эта девушка, которую он случайно встретил на улице, комната была в самом плачевном виде. Убеждение, что людей портят условия, в которых они живут, заставило его прийти еще раз, а сегодня он пришел снова. Ему хотелось убедиться, говорил он себе, что он не бросает деньги на ветер. И действительно, в комнате, такой крохотной, что кровать и корзина с ребенком заполняли ее почти всю и ему повернуться было негде, как будто появились какие-то признаки уюта. Однако чем дольше он осматривал комнату, тем глупее себя чувствовал, досадуя, что вообще явился сюда, хотя бы и с самыми благими намерениями, которые, собственно, и были всему виной. Но, повернувшись, чтобы уйти, он увидел девушку, поднимающуюся по лестнице с пакетом в руках и, судя по запаху

мяты, с конфетой за щекой. Ну, конечно, она очень уж скуластая, как он этого раньше не заметил, да и брови у нее чересчур крутые — настоящая цыганка! Она улыбнулась ему темными, блестящими, как у щенка, глазами, а он сказал своим тонким голосом:

— Я вернулся, чтобы спросить вас кое о чем.

— Пожалуйста.

— Знаете вы мужчину, смуглого, с худым лицом, немного косоного, который прежде служил в армии?

— А как его зовут, сэр?

— Не знаю; он шел за мной от самого вашего дома до набережной, а там попытался меня шантажировать. Вам известно, что такое шантаж?

— Нет, сэр.

Крадучись, по-кошачьи, она быстро шмыгнула мимо него, подхватила на руки ребенка и, спрятав за него лицо, искоса глянула на Грентера своими темными глазами. У Грентера вздернулись брови, уголки рта опустились. Самое невероятное чувство охватило его. Хоть он и не терпел поэтической напыщенности, ему показалось, словно... ну, словно бы что-то доисторическое, первобытное, змеиное, кошачье и вместе с тем обезьянье промелькнуло в этом диком, беспокойном взгляде и в желтом личике ребенка. Конечно, без нее дело не обошлось, это так же верно, как то, что он стоит сейчас здесь; и уж, во всяком случае, она знает обо всем!

— Это опасная игра, — бросил он. — Скажите ему, пусть прекратит ее, не то ему же хуже будет.

Спускаясь по лестнице, он размышлял: «Вот самый удобный случай, какой только мог представиться, чтобы заглянуть в душу человеческую, а ты бежишь от него». Мысль эта так взволновала его, что, уже выйдя на улицу, он остановился в нерешительности. Шофер, мывший машину, с любопытством поглядел на него. И Чарлз Грентер двинулся прочь.

II

Когда он вошел в свою квартиру, жена его готовила чай в маленькой гостиной. Она была невысокая, но хорошо сложенная, с карими глазами на несколько плоском лице, сильно напудренном и довольно миловидном. В жи-

лах ее текла польская кровь; Грентер теперь никогда не поверял ей свои сокровенные мысли, так как давно признался себе, что в вопросах морали он выше нее. Он не имел ни малейшего желания считать себя выше нее — часто это было просто неловко, но что поделаешь. Сегодня же, когда его пытались шантажировать, он чувствовал себя даже более чем неловко. Очень уж неприятно падать с пьедестала, на который ты вовсе и не хотел взбираться.

Усевшись в полированное кресло с черными подушками, он принялся было толковать о желтеющих листьях, но, перехватив ее взгляд и улыбку, почувствовал, что она догадывается о его беспокойстве.

— Тебя когда-нибудь интересовало, как живут другие люди? — спросил он, позвякивая чайной ложкой.

— Какие люди, Чарлз?

— Конечно, не такие, как мы; ну, знаешь, продавцы спичек, цветочницы — словом, люди, которые, так сказать, дошли до ручки.

— Пожалуй, нет.

Если б только он мог рассказать ей об этой ужасной встрече — и при этом не упасть со своего пьедестала!

— А меня это занимает чрезвычайно. Представляешь, такая бездна любопытного может открыться тебе.

Ее улыбка, казалось, говорила: «Бездна... моя душа и та для тебя закрыта». И в самом деле, слишком много в ней было славянского, и в мягких блестящих глазах, и в матовой коже ее плоского, миловидного лица. Загадка, совершеннейшая загадка! У самого подножия пьедестала разверзалась бездна, будто... будто у острова Филэ среди древнего Нила, где еще сохранились древние колонны¹. Как глупо!

— Я часто думаю, — продолжал он, — каково было бы мне, если б я сам оказался на их месте.

— Ты? Ну нет, ведь ты такой большой и величественный, дорогой; не успеешь и оглянуться, как сам король назначит тебе пенсию.

¹ Ф и л э — остров на Ниле в Египте, на котором сохранилось множество древних храмов и колоннад; с начала XX века остров этот затоплен, и видеть его можно только с июля по октябрь, когда открыты шлюзы Асуанской плотины,

Грентер, бренча в кармане монетами, встал с полированного кресла. В его воображении одна за другой, словно кадры кинофильма, возникали живые картины: серебристая, залитая солнцем река, и этот мерзавец с перекошенной, мрачной физиономией — вот он открыл рот и что-то хрипит; и этот ребенок с желтым личиком, и девица с черными цыганскими глазами; а потом — полицейский суд и, наконец, он сам, там, на суде, заставляет их отвечать по всей строгости закона. И вдруг он выпалил:

— Сегодня на набережной меня пытались шантажировать.

Она не ответила, а когда он в раздражении обернулся, то увидел, что она заткнула уши.

— Да перестанешь ли ты наконец бренчать! — сказала она.

Проклятье! Она ничего не слышала.

— Со мной произошло целое приключение, — снова начал он. — Знаешь девушку-цветочницу, что стоит на углу Тайт-стрит?

— Да. Такая нахальная цыганка.

— Гм! Так вот, я как-то купил у нее цветы, и она мне рассказала о себе такую душещипательную историю, что я зашел к ней, желая проверить, правда это или нет. Оказалось, все правда, и я, понимаешь, дал ей денег. Потом я решил, что хорошо бы поглядеть, как она их тратит, и, понимаешь, зашел к ней опять...

Жена прошептала: «О Чарлз!» — и он поспешил закончить:

— А сегодня, подумай только, за мной увязался какой-то мерзавец и пытался меня шантажировать — вымогал десять фунтов.

Он услышал какие-то странные звуки и оглянулся. Откинувшись на спинку кресла, жена его давилась от смеха.

И тут Грентер понял, что именно этого он боялся больше всего. Он боялся, что жена будет смеяться над ним, когда он падет с пьедестала! Да! Именно это страшило его, а вовсе не то, что она усомнится в его верности. Он слишком большой, думалось ему, чтобы позволить смеяться над собой. Он и в самом деле был слишком

большим. Природа установила предел, который не должны превышать мужа...

— Не вижу, что тут смешного! — холодно заметил он. — Нет более гнусного преступления, чем шантаж.

Его жена перестала смеяться; две слезы скатились по ее щекам.

— Ты дал ему деньги? — спросила она уже спокойно.

— Конечно, нет.

— А чем он угрожал?

— Угрожал рассказать тебе.

— Но что же?

— Свои грязные выдумки о моих невинных визитах. — От слез в пудре образовалось два ручейка, и он добавил со злостью: — Ну, конечно, он ведь с тобой не знаком.

Жена вытерла платком глаза, и по комнате распространился запах герани.

— Мне кажется, — продолжал Грентер, — что ты бы еще больше развеселилась, если б за всем этим действительно крылось что-то!

— О нет, Чарлз! А может... тут и в самом деле что-то кроется?

Грентер посмотрел на нее в упор.

— К сожалению, должен огорчить тебя: нет.

Он увидел, как она прикрыла рот платком, и, резко повернувшись, вышел из комнаты.

Он ушел к себе в кабинет и сел у камина. Так, значит, это смешно быть верным мужем? И вдруг у него мелькнула мысль: «Если моя жена могла обратить все это в шутку, как же... как же она сама?...» Гадкая мысль! Несправедливая мысль! Словно этот негодяй, шантажируя его, в самом деле осквернил его душу, и в ней остались лишь низкие побуждения. Пробили часы на соседней церкви. Уже шесть! Этот проходимец придет на набережную и будет ждать своих десяти фунтов. Грентер поднялся. Его долг пойти и передать этого человека в руки полиции.

«Ну, уж нет! — подумал он со злобой. — Пусть придет сюда! Я очень хочу, чтобы он пришел сюда! Я его проучу!»

Но какой-то стыд остановил его. Подобно большому

ству крупных людей, он не привык применять силу — в жизни пальцем никого не тронул, даже в детстве — ни разу случая не представилось. Он подошел к окну. Отсюда сквозь деревья ему был виден в надвигающихся сумерках парапет набережной, и сразу же — так и есть! — он разглядел этого человека, который, словно голодный пес, сновал взад-вперед. Грентер стоял у окна и смотрел, позвякивая монетами, — взволнованный, торжествующий, злой, снедаемый любопытством. Что этот негодяй станет делать дальше? Начнет обходить все квартиры подряд в этом огромном доме? А эта девица тоже там — эта цветочница со своим желтолицым ребенком? Он увидел, как человек, за которым он наблюдал, крадучись, пересек улицу и скрылся в тени домов. В этот волнующий миг Грентер прорвал карман брюк: монеты со звоном покатались по полу. Он еще искал последнюю монету, когда раздался звонок, — до этого он все-таки не верил, что проходимец осмелится прийти к нему домой! Он резко выпрямился и вышел в прихожую. Прислуги они не держали, поэтому в квартире не было никого, кроме него и жены. Снова раздался звонок, и жена тоже вышла в прихожую.

— Это мой приятель с набережной, который так тебя развеселил. Я хочу, чтобы ты его увидела, — сказал он мрачно.

Заметив на ее лице виноватое и вместе с тем насмешливое выражение, он отворил входную дверь.

Ну, конечно! Перед ним стоял этот человек. При электрическом свете, на фоне драпировок вид у него был особенно жалкий. Скверный тип, но все-таки бедный и несчастный, в драных башмаках, худое, перекошенное лицо дергается, сам весь какой-то ошипанный, и только в голодных глазах затаилась угроза.

— Входите, — сказал Грентер. — Полагаю, вы хотите видеть мою жену.

Человек подался назад.

— Я вовсе не хочу ее видеть, — зашептал он, — если вы сами меня к этому не вынудите. Дайте нам пять фунтов, господин, и я отстану от вас. Разве я хочу ссорить мужа с женой?

— Входите, — повторил Грентер. — Она ждет вас.

Человек не двигался с места, молча облизывая бес-

кровные губы, словно прикидывал, как ему теперь выпутаться из этой истории.

— Ну, смотрите,— вдруг сказал он.— Вы еще пожалеете.

— Я пожалею, если ты не войдешь. Очень уж ты занятый парень и к тому же отъявленный негодяй.

— А кто меня сделал таким? — вырвалось у того.— Как, по-вашему?

— Войдете вы наконец?

— Да.

Он вошел, и Грентер запер за ним дверь. Это было все равно, что впустить в дом змею или бешеную собаку, но он испытывал почти удовольствие: слишком свежо было воспоминание о том, как его высмеяли.

— А теперь,— сказал он,— прошу вас! — И распахнул дверь гостиной.

Оборванец робко проскользнул в дверь, щурясь от яркого света.

Грентер подошел к жене, стоявшей у камина.

— У этого господина, кажется, к тебе важное дело.

Его вдруг поразило выражение ее лица: неужели она испугалась? И он почувствовал какую-то радость, видя, что им обоим сильно не по себе.

— Что ж,— произнес он иронически.— Быть может, мне лучше не слушать?

Отойдя, он прислонился к двери и заткнул пальцами уши. Он заметил, что оборванец, бросив украдкой взгляд в его сторону, подошел к его жене; губы его быстро зашевелились, потом она что-то ответила, и он подумал: «Какого черта я заткнул себе уши?» Он опустил руки, и в это время человек обернулся и сказал:

— Я ухожу, сэр; ошибка вышла, очень сожалею, что беспокоил вас.

Жена снова повернулась к камину; Грентер с чувством некоторого замешательства отворил дверь. Когда оборванец проходил мимо, он схватил его за руку и втащил к себе в кабинет, потом запер дверь и положил ключ в карман.

— Ну-с! Попался, подлец! — сказал он.

Человек переминался с ноги на ногу, шаркая по полу драными башмаками.

— Не бейте меня, господин. А не то, глядите, у меня нож.

— Я не собираюсь тебя бить. Я отправлю тебя в полицию.

У того забежали глаза в поисках спасения, потом он, словно замороженный, уставился на пылающий камин.

— Что для вас десять фунтов? — вдруг заговорил он. — Вы б и не заметили.

Грентер улыбнулся.

— Как видно, голубчик, ты не отдаешь себе отчета в том, что шантаж — самое гнусное из всех преступлений, какие только способен совершить человек.

И он подошел к телефону.

Глаза оборванца, темные, бегающие, наглые и голодные, шарили по комнате.

— Нет, — сказал он с какой-то неожиданной решимостью. — Вы не сделаете этого, сэр!

То ли его взгляд, то ли тон его голоса остановили Грентера.

— Но ведь если я не позвоню в полицию, ты опять станешь шантажировать первого встречного. Ты опаснее гадюки!

У оборванца задрожали губы, он прикрыл рот рукой и проговорил:

— Я такой же человек, как и вы. Просто дошел до крайности — вот и все. Поглядите на меня!

Грентер скользнул взглядом по его дрожащей руке.

— Да, но такие, как ты, убивают всякую веру в человека, — возразил он горячо.

— Пойдите, сэр! Вот вы побыли бы в моей шкуре, только б попробовали! О господи! Попробовали бы пожить, как я жил эти полгода — кланчил и унижался, чтоб получить работу! — Он глубоко вздохнул. — Конечный человек никому не нужен! Что это за жизнь? Собачья жизнь, будь она проклята. И когда я увидел вас, такого здоровяка, — простите меня, сэр, — сытого, довольного, я не удержался и попросил у вас денег. Просто не мог совладать с собой, да, да.

— Нет, — отрезал Грентер сурово. — Не выйдет. Это не могло произойти случайно. Вы все взвесили, все обдумали заранее. Шантаж — самый грязный и подлый поступок, его совершают только с холодным сердцем. Вам

нет никакого дела до ваших жертв, чью жизнь вы разбиваете, чью веру в людей губите.— С этими словами он взялся за телефонную трубку.

Оборванец задрожал.

— Пойдите! Ведь нужно же мне есть. И одеваться. Не могу ведь я жить святым духом. И ходить раздетым.

И пока голос оборванца звучал в этой уютной комнате, Грентер не шевелился.

— Пощадите нас, сэр! Пощадите! Вам не понять, сколько соблазнов меня окружает. Не зовите полицию. Больше это никогда не повторится... даю слово... пожалейте меня! Я и так уже хлебнул горя. Отпустите меня, сэр!

Грентер застыл на месте, неподвижный, словно стены его квартиры, но внутри него шла тяжкая борьба — не между жалостью и чувством долга, а между жаждой мести и каким-то ужасом, — ему, преуспевающему человеку, страшно было использовать свою власть против жалкого оборванца.

— Отпустите меня, сэр, — опять донесся до него хриплый голос. — Будьте человеком!

Грентер повесил трубку и отпер дверь.

— Ладно, ступай!

Оборванец поспешно выбежал из комнаты.

— Ну, слава богу! — сказал он. — Счастливо оставаться! А что касается вашей супруги, так я беру свои слова назад. Я ее и не видел ни разу. Все, что я ей сказал, ерунда.

Он прошел через прихожую и, прежде чем Грентер успел сказать хоть слово, скрылся за дверью; его торопливые, шаркающие шаги замерли на лестнице. «А что касается вашей супруги — беру свои слова назад. Я ее и не видел ни разу. Все это ерунда!» Боже мой! Этому негодяю не удалось шантажировать его, и тогда он попытался шантажировать его жену — его жену, которая еще совсем недавно смеялась над его верностью! И она, кажется, испугалась! «Все это ерунда!» Ее напудренное лицо дрогнуло под его взглядом, и на мгновение сквозь маску проглянул страх. А он дал этому негодяю уйти! Страх! Так вот где собака зарыта!.. Шантаж — самый омерзительный из всех человеческих проступков!.. Его жена!... Но... как же теперь?..

ГЕДОНИСТ

Я хорошо помню Руперта К. Ванесса потому, что он был очень красивый и видный мужчина, и еще потому, что в характере его и поведении сказывалась та философия, которая, зародившись до войны, была забыта в пережитые нами тревожные годы, а сейчас снова расцвела пышным цветом.

Руперт К. Ванесс был коренной житель Нью-Йорка, но страстно любил Италию. Знакомые терялись в догадках насчет его происхождения. Во внешности этого человека чувствовалась родовитость, о ней свидетельствовало и его имя. Мне, однако, так и не удалось узнать, что означала буква «К» перед его фамилией. Три предположения равно возбуждали любопытство: уж не были ли его отдаленные предки шотландскими горцами, и «К» означает «Кеннет» или «Кейт»? Или в его жилах текла германская либо скандинавская кровь — и тогда это могло быть «Курт» или «Кнут»? И наконец не было ли у него в роду выходцев из Сирии либо Армении, и отсюда — Калил или Кассим? Голубизна его красивых глаз исключала, казалось, последнее предположение, но в его пользу говорил изгиб ноздрей и черноватый отлив каштановых волос, которые, кстати сказать, начинали уже редеть и серебриться в то время, когда я познакомился с Рупертом. Иногда лицо у него бывало утомленное и обрюзгшее, а тело не желало, казалось, уместиться в отлично сшитом костюме — но, как-никак, ему уже стукнуло пятьдесят пять.

В Ванессе нетрудно было угадать человека, склонно-

го к философическим размышлениям, хотя он никогда не утомлял собеседника изложением своих взглядов, предоставляя судить о них по тому, что он ел и пил, какие предпочитал сигары и костюмы и какими окружал себя красивыми вещами и людьми. Его считали богатым, ибо в его присутствии никогда не возникала мысль о деньгах. Поток жизни мягко и бесшумно обтекал этого человека или застывал на месте при идеальной температуре, подобно воздуху в оранжерее, где малейший сквознячок может погубить редкое растение.

Сравнение Руперта К. Ванесса с цветком кажется мне особенно удачным, когда я вспоминаю один незначительный случай в Саду Магнолий, близ Чарльстона, в штате Южная Каролина.

Ванесс принадлежал к тому типу мужчин, о которых нельзя с уверенностью сказать, увиваются ли они за хорошенькими молодыми женщинами, или хорошенькие молодые женщины увиваются за ними. Внешность, богатство, вкусы и репутация Ванесса делали его центром общего внимания, однако возраст, редющие волосы и округлившееся брюшко несколько затемняли блеск этого светила, так что решить, был ли Руперт мотыльком или свечой, было нелегко. Нелегко даже мне, хотя я в течение всего марта наблюдал за ним и мисс Сабиной Монрой в Чарльстоне. Случайный наблюдатель сказал бы, что она «играет им», как выразился знакомый мне молодой поэт, но я не был случайным наблюдателем. Для меня Ванесс обладал притягательностью сложной теоремы, и я старался понять его и мисс Монрой, поглубже заглянуть в их сердца. Эта очаровательная девушка была, кажется, уроженкой Балтимора, и говорили, что в жилах ее есть капля креольской крови. Высокая, гибкая, с темно-каштановыми волосами и густыми черными бровями, с кроткими живыми глазами и прелестным ртом (когда она не подчеркивала его линий помадой), мисс Монрой, более всех девушек, каких я знал, поражала своей энергией, полнотой жизненных сил. Приятно было смотреть, как она танцует, ездит верхом, играет в теннис. Глаза ее всегда смеялись, болтала она с заразной живостью и никогда не казалась усталой или скучающей. Словом, мисс Монрой была весьма «привлекательна», если употребить это избитое выражение. И великий знаток жен-

щин, Ванесс, был явно увлечен ею. О присяжном поклоннике женской красоты не скажешь сразу, сознательно ли он решил добавить к своей коллекции еще одну хорошенькую женщину, или ухаживание стало для него просто привычкой. Как бы то ни было, Ванесс не отходил от мисс Монрой ни на шаг: он отправлялся с нею на прогулки в экипаже или верхом, ездил в концерты, играл в карты и единственно не танцевал с ней, хотя иногда был готов решиться и на это. И все время он не сводил с нее своих красивых, лучистых глаз.

Почему мисс Монрой до двадцати шести лет не вышла замуж, оставалось загадкой для окружающих, пока кто-то из них не сообразил, что, обладая редкой способностью наслаждаться жизнью, мисс Монрой попросту не нашла времени для замужества. Исключительное здоровье позволяло ей находиться в движении восемнадцать часов в сутки. Спала она, должно быть, сладко, как ребенок. Легко было себе представить, что мисс Монрой погружалась в сон без сновидений, как только голова ее касалась подушки, и спала безмятежно до тех пор, пока не наступало время вставать и бежать под душ.

Как я уже сказал, Ванесс, вернее, его философия была для меня *erat demonstrandum*¹. В ту пору я был в несколько подавленном настроении. Микроб фатализма, проникший в умы художников и писателей еще до войны, в это тяжелое время распространился еще шире. Способна ли цивилизация, основанная единственно на создании материальных благ, дать человеку нечто большее, чем простое стремление накапливать все больше и больше этих благ? Может ли она способствовать прогрессу, пусть даже материальному, не только в тех странах, где ресурсы пока сильно превышают потребности населения? Война убедила меня, что люди слишком драчливы, чтобы понять, что счастье личности заключено в общем счастье. Люди жестокие, грубые, воинственные, своекорыстные всегда, думалось мне, будут брать верх над кроткими и благородными. Словом, в мире не было и половины, не было и сотой доли того альтруизма, которого могло бы хватить на всех. Простой человеческий героизм, который выявила или подчеркнула война, не внушал надежд:

¹ То, что требуется доказать (лат.).

слишком легко играли на нем высокопоставленные хищники. Развитие науки в целом как будто толкало человечество назад. Я сильно подозревал, что было время, когда население нашей планеты, хотя и не такое малочисленное и менее приспособленное к жизни, обладало лучшим здоровьем, чем сейчас. Ну, а если говорить о религии, я никогда не верил, что Провидение вознаграждает достойных жалости несчастных людей блаженством на том свете. Эта доктрина представлялась мне совершенно нелогичной, ибо еще более достойны жалости толстокожие и преуспевающие на этом свете, те, кого, как известно из изречения о верблюде и игольном ушке, наша религия всех оптом отправляет в ад. Успех, власть, богатство, все то, к чему стремятся спекулянты, премьеры, педагоги, все, кому не дано в капле росы увидеть Всевышнего, услышать его в пастушьем колокольчике и чуют в свежем благоухании мяты, казалось мне чем-то вроде гнили. И тем не менее с каждым днем становилось очевиднее, что именно эти люди были победителями в игре, называемой жизнью, были осью вселенной, той вселенной, которую они, с одобрения представляемого ими большинства, успешно превращали в место, где невозможно жить. Казалось почти бесполезным помогать ближнему, ибо такого рода попытки лишь золотили пилюлю и давали повод нашим упорствующим в своих распрях вожакам снова и снова ввергать нас в пучину бедствий. Оттого и искал я повсюду чего-нибудь, во что можно было бы верить, и готов был принять даже Руперта К. Ванесса с его проповедью жизни для наслаждений. Но может ли человек жить только для наслаждения? Способны ли прекрасные картины, редкие фрукты и вина, хорошая музыка, аромат азалий и дорогой табак, а главное, общество красивых женщин давать постоянно пищу уму и сердцу, быть идеалом жизни для человека? Это-то мне и хотелось выяснить.

Всякий, кто приезжает весной в Чарльстон, не преминет, рано или поздно, побывать в Саду Магнолий. Поскольку я художник и пишу только цветы и деревья, я провожу много времени в парках и смею утверждать, что нет в мире уголка более восхитительного, чем Сад Магнолий. Даже до того, как расцветают магнолии, он так хорош, что по сравнению с ним флорентийские сады Бобо-

ли, коричные сады Коломбо, Консепсион в Малаге, Версаль, Хэмптон Корт, Дженералиф в Гранаде и Ля Мортола кажутся второсортными.

Никогда еще рука человека не создавала такой буйной и щедрой растительности, таких ярких красок, но вместе с тем что-то меланхолическое и призрачное есть в этом саду. Словно среди пустыни как по волшебству возник земной рай, заколдованное царство. Сияющий цветами азалий и магнолий, он расположен вокруг небольшого озера, над которым склоняются поросшие серым флоридским мхом высокие деревья. Какое-то нездешнее очарование этого места влекло меня, как влекут к себе юношу берега Ионийского моря, неведомый Восток или далекие тихоокеанские острова. Я часами сидел подле сказочного озера, остро ощущая невозможность перенести эту красоту кистью на полотно. А мне так хотелось написать картину, подобную «Фонтану» Эллё — она висит в Люксембургском музее. Но я знал, что не сумею.

Однажды в солнечный полдень, сидя у кустов азалий и наблюдая, как чернокожий садовник — настолько старый, что, как мне рассказывали, он начал жизнь рабом и по сей день сохранил приветливость и учтивость негров тех времен — подрезает ветви, я услышал совсем близко голос Руперта К. Ванесса. Он говорил: «Мисс Монрой, для меня не существует ничего, кроме красоты».

Оба стояли, по-видимому, за купой азалий, ярдах в четырех, но видеть их я не мог.

— Красота — это очень широкое понятие. Скажите точнее, мистер Ванесс.

— Один пример дороже целой тонны теоретических рассуждений. Сейчас красота передо мной.

— Вы уклоняетесь от ответа. О какой красоте вы говорили — красоте плоти или духа?

— Что вы называете духом? Я ведь язычник.

— Да? Я тоже. Однако и греки были язычниками.

— Дух всего лишь сублимация чувственных ощущений.

— Вот как?

— Да, мне понадобилась целая жизнь, чтобы убедиться в этом.

— Значит, то настроение, которое навевает на меня этот сад, — чисто чувственное по своей природе?

— Разумеется. Если бы вы были слепы и глухи, не могли бы обонять и осязать, разве оно возникло бы, это настроение?

— Ваши слова приводят меня в уныние, мистер Ванесс.

— Что поделаешь, сударыня, такова действительность. И я в юности строил воздушные замки, мечтал бог весть о чем. Даже писал стихи.

— Правда? И хорошие, мистер Ванесс?

— Плохие. И очень скоро я понял, подлинные ощущения дороже всех возвышенных грез и стремлений.

— Но что с вами будет, когда все ощущения притупятся?

— Буду греться на солнышке и медленно угасать.

— Мне нравится ваша откровенность.

— Вы, разумеется, считаете меня циником. Но я не такое ничтожество, мисс Сабина. Циник — это осел и позер, щеголяющий своим цинизмом. А мне гордиться нечем: не вижу оснований гордиться тем, что вижу правду человеческой жизни.

— А что, если бы вы были бедны?

— Тогда мои органы чувств функционировали бы дольше. А когда они бы в конце концов притупились, я бы умер быстрее от недостатка еды и тепла. Вот и все.

— Вы когда-нибудь были влюблены, мистер Ванесс?

— Я сейчас влюблен.

— И что же, в вашей любви нет преданности, нет ничего возвышенного?

— Нет. Она стремится к обладанию.

— Я никогда не любила. Но мне кажется, если бы любила, я хотела бы отдать всю себя, а не только завладеть любимым человеком.

— Вы в этом уверены? Сабина, а ведь я люблю вас.

— О! Ну что, пойдём дальше?

Я услышал их удаляющиеся шаги и снова остался один; только неподалеку у кустов возился садовник.

«Какая исчерпывающая декларация гедонизма! — думал я. — Как проста и убедительна философия Ванесса! Философия почти ассирийская, достойная и Людовика Пятнадцатого!»

Подошел старик негр.

— Хороший закат,— сказал он учтиво хрипловатым полупшепотом.— И мух нет.

— Да, Ричард, очень хороший. Вообще здесь чудесное место, лучшее в мире.

— Самое лучшее,— отозвался негр, растягивая слова.— Когда была война, янки хотели сжечь дом. Те, что пришли с Шерманом. Конечно, они сильно рассердились на хозяина за то, что он перед отъездом спрятал столовое серебро. Мой старик отец был у него вроде управляющего. Так вот, янки забрали его. Майор приказывает моему старику: покажи, где серебро. А мой старик посмотрел на него и говорит: «За кого вы меня принимаете? За черномазого труса, за доносчика? Нет, сэр, делайте что хотите со мной и моим сыном, но я не Иуда, и он тоже. Нет, сэр!» А майор велел поставить его у того высокого дуба, вон там, и говорит: «Ах ты, неблагодарный! Ради тебя мы пришли сюда. Пришли, чтобы освободить вас, негров, а ты не хочешь говорить. Отвечай, где серебро, не то, ей-богу, застрелю!» «Стреляйте, сэр,— говорит мой старик,— но я не скажу». Тогда они начали стрелять так, что пули ложились совсем близко от него: хотели запугать. Я тогда был мальчонкой и собственными глазами видел, сэр, как стоял мой старик, храбро этак, как герой. Они не вытянули из него ни слова, сэр. Потому что он любил своих хозяев, очень любил.

Негр улыбнулся, и по его блаженной улыбке видно было, что он не только рад вспомнить еще раз эту семейную легенду, но что он сам встал бы под пули, но не предал бы людей, которых любил.

— Интересная история, Ричард. Вот только... Упрямый был чудака, твой отец, не так ли?

Негр посмотрел на меня ошеломленно и с явным негодованием, но затем лицо его снова расплылось в широкой улыбке, и он засмеялся хрипло и негромко.

— Конечно, сэр, конечно! Упрямый чудака был мой старик! Да, да! — И он ушел, посмеиваясь.

Не успел садовник отойти, как снова послышались шаги за кустами азалий и голос мисс Монрой:

— Значит, согласно вашей философии, любящие — это фавн и нимфа? А вы сумели бы сыграть такую роль?

— Дайте мне только возможность...

Голос Ванесса прозвучал так горячо, что я отчетливо представил себе, как вспыхнуло его лицо, как заблестели красивые глаза и задрожали выхоленные руки.

За кустом раздался звонкий, задорный смех.

— Ну что ж! Тогда поймайте меня!

Я услышал, как, шурша платьем и задевая им за ветви, побежала мисс Монрой, затем удивленное восклицание Ванесса и его топание по тропинке среди гущи азалий. Я молил небо, чтобы они не повернули назад и не увидели меня. Напряженно вслушиваясь, я услышал снова смех девушки, затем шумное пыхтение Ванесса, проклятье вполголоса... Издалека донеслось призывное «ау!». Спустя несколько минут появился Ванесс. Он шел, пошатываясь, еле переводя дух, бледный от жары и досады. Грудь его тяжело вздымалась и опускалась, рукой он держался за бок, по лицу градом катился пот. Жалкое зрелище представлял этот побежденный охотник за любовью! Увидев меня, он остановился, пробормотал что-то и, резко повернувшись, пошел прочь. А я смотрел ему вслед и дивился: куда девались его утонченность и щегольство, все то, за что он ратовал?

Я не знаю, как он и мисс Монрой добирались до Чарльстона; полагаю, что не в одном вагоне. Я же всю дорогу был погружен в глубокое раздумье. Я понимал, что стал свидетелем трагедии, и не хотелось мне встретиться снова с Ванессом.

Он не вышел к обеду, а мисс Монрой сидела за столом веселая, как всегда. И хотя я был рад, что он не мог догнать ее, я в глубине души все же досадовал на то, как откровенно молодость торжествует победу. На Сабине было черное платье, в волосах и на груди красные цветы. Никогда еще она не выглядела такой хорошенькой и жизнерадостной.

После обеда, вместо того, чтобы наслаждаться сигарой в прохладной тени у фонтана, я вышел в парк и присел подле памятника какому-то знаменитому в этих местах общественному деятелю. Вечер был чудесный, нежно благоухало неподалеку какое-то дерево или кустарник, а листья акации, озаренные белым электрическим светом, ясно вырисовывались на густой синеве неба. И светлячки. Если бы не было на земле этих жучков,

то их, право же, стоило бы выдумать. Словом, вечер был точно предназначен для гедонистов!

И вдруг перед моим мысленным взором предстал Ванесс, одетый, как всегда, с иголочки, но бледный, задыхающийся, растерянный; затем благодаря странной игре зрения я увидел подле него отца старого негра: он был привязан к дубу, вокруг свистели пули, но лицо его было преображено высоким чувством. Так они и стояли рядом — глашатай наслаждений, зависящих от размера талии, и олицетворение верной любви, которой не страшна смерть!

«Ага,— подумал я.— Так кто же из вас посмеется последним?»

А затем и в самом деле у фонаря появился Ванесс с сигарой в зубах и в плаще, распахнутом так, что виднелась его шелковая подкладка. Беспощадный свет фонаря упал на его бледное, обрюзгшее лицо с горькими складками у рта. И в тот миг мне стало жаль, очень жаль Руперта К. Ванесса.

ДОБРОДЕТЕЛЬ

Гарольд Мелеш, мелкий служащий страхового общества, вызванный в полицейский суд в качестве свидетеля по делу о разбитом автомобиле, впервые столкнулся с тем, как применяются законы, и это его ошеломило. Его детски-наивные, голубые глаза широко раскрылись, на гладком лбу внезапно появились морщины, кудрявые волосы зашевелились на голове, руки невольно сжали соломенную шляпу. В суде слушалось дело четырех девиц легкого поведения; трех девиц приговорили к тюремному заключению, а одну — к штрафу, и вот тут-то Гарольд разволновался не на шутку. Быть может, его волнение объяснялось тем, что эта девушка была внешне интереснее и явно моложе других, а также тем, что она плакала.

— Для первого раза — два фунта десять шиллингов.

— Но у меня нет денег, сэр.

— Что ж, в таком случае — две недели тюрьмы.

Слезы оставляли дорожки на ее напудренных щеках, горлом она издавала какие-то странные звуки — все это в конце концов довело молодого Мелеша до точки кипения. Он взял полицейского за рукав.

— Вот! Возьмите! — сказал он. — Я плачу за нее штраф.

В эту минуту он почувствовал, что холодный взгляд полицейского пробежал по его лицу, как отвратительное насекомое.

— А это кто? Ваша подружка?

— Нет.

— Тогда я не приму у вас денег. Все равно через месяц она опять попадется.

Девушка прошла мимо Гарольда, и, увидев, как она судорожно глотает слезы, он твердо заявил:

— Это меня не касается. Я плачу штраф.

Он снова ощутил на себе липкий взгляд полицейского.

— Тогда пойдете со мной.

Мелеш последовал за ним.

— Послушайте,— сказал полицейский одной из подчиненных ему девиц,— этот господин уплатит штраф.

Покраснев от смущавших его взглядов, молодой человек вытащил все свои деньги — два фунта пятнадцать шиллингов — и, протянув в уплату два фунта десять шиллингов, подумал: «Боже мой! Что скажет Алиса?»

Но тут девушка дрожащим от волнения голосом сказала ему: «Спасибо», — затем полицейский пробормотал: «Хоть вы и даром потратили деньги, а все-таки это хороший поступок», — и Мелеш вышел на улицу. Настроение у него внезапно испортилось; он впал в уныние, как будто, уплатив эти два фунта десять шиллингов, утратил свою добродетель.

— Огромное спасибо! Вы так добры!.. — слышался сзади голос девушки.

Мелеш приподнял соломенную шляпу и, уступая дорогу девушке, неловко посторонился. Девушка сунула ему в руку свой адрес.

— Будете поблизости — заходите в любое время, я буду рада. Я вам так благодарна!

— Не за что!

Смущенный, как и она, Мелеш отправился в контору. Весь день он чувствовал себя не в своей тарелке. Он не мог решить, как он поступил: как дурак или как герой? Временами он возмущался: «До чего полицейские грубы с этими девушками!», — но тут же возражал себе: «Не знаю. Должны же они как-то с этим бороться». И Мелеш старался не думать, как он объяснит Алисе исчезновение двух фунтов десяти шиллингов, на которые она очень рассчитывала. Душа его была столь же

бесхитростна, сколь бесхитростно было выражение его лица.

Он пришел домой в обычное время — в половине седьмого. Он жил в ветхом сером домишке, но здесь было немного зелени, и метро доходило и до этой окраины. Жена только что уложила дочку и теперь сидела в гостиной и штопала его носки. Она подняла голову — лоб у нее был гладкий, как колено, без единой морщинки.

— Ты ужасно рвешь носки, Гарольд, — сказала она. — Вот все, что мне удалось сделать с этой парой.

Глаза у Алисы были голубые и круглые, как фарфоровые блюда, голос монотонный, невыразительный. Отец ее был фермер. Мелеш проводил свой очередной отпуск в Сомерсете и тогда же сделал ей предложение. Сейчас, устав после целого дня работы и изнемогая от жары, он прежде всего подумал: «Как плохо выглядит Алиса!»

— Ну и жара! Я иногда жалею, что у нас ребенок, — сказала она. — Он связывает меня по вечерам. Жду не дождусь Троицы!

Мелеш, высокий и нескладный, наклонился и поцеловал ее в лоб. Черт возьми! Как сказать ей, что он лишил их обоих праздничного отдыха? Он понимал, что сделал ужасную вещь. Но, может быть, она поймет, что он не мог спокойно смотреть, как девушку уводят в тюрьму у него на глазах. И, не доев своего скудного ужина, он вдруг сказал:

— Сегодня утром я так расстроился! Меня вызвали в суд по делу о разбитом автомобиле, — помнишь, я тебе говорил? — и там я увидел девушек с Пикадилли. Полицейские обращаются с ними возмутительно!

Жена подняла голову, выражение лица у нее было детски-наивное.

— Что же они с ними сделали?

— Посадили в тюрьму за то, что те заговаривали с мужчинами на улице.

— А ведь это и правда нехорошо.

Раздраженный равнодушным тоном жены, Мелеш продолжал:

— Полицейские обращались с ними, точно с какой-то мразью.

— А разве они не мразь?

— Может быть, они и распутные, но ведь и мужчины не лучше.

— Мужчины не были бы такими, если бы не было этих девушек.

— Что называется — порочный круг, — заметил Мелеш и, довольный своим каламбуром, добавил: — Две из них прехорошенькие.

Жена насмешливо улыбнулась.

— Надеюсь, с ними полицейские обращались мягче?

Это было чересчур цинично, и Гарольд выпалил:

— Одна совсем молоденькая, никогда не бывала прежде в полиции; дали ей две недели только за то, что у нее не оказалось денег, — я не мог этого вынести и заплатил за нее штраф.

На лбу у него выступил пот. Лицо жены поровело.

— Заплатил? Сколько?

Он хотел было сказать: «Десять шиллингов», — но что-то в душе у него воспротивилось этому.

— Обычный грабеж — два фунта десять шиллингов, — ответил Мелеш и подумал мрачно: «Каким же я был дураком!»

И зачем у Алисы открылся рот, и зачем у нее такое глупое выражение лица? Но лицо ее вдруг сморщилось и побелело; ему стало стыдно так, как будто он ударил ее.

— Прости, Алиса, — пробормотал он. — Я не хотел за нее платить, но она плакала.

— Как же ей не плакать? Дурак ты, Гарольд!

Мелеш, очень расстроенный, встал.

— Ну, а как бы ты поступила на моем месте?

— Я? Конечно, не мешала бы ей развратничать. Не твое это дело.

Алиса тоже встала. Мелеш запустил пальцы в волосы. Он вспомнил хорошенькое смущенное лицо девушки со следами слез, тот мягкий, приветливый, естественный тон, каким она заговорила с ним.

Жена повернулась к нему спиной. Так! На него рассердились и долго будут дуться. Ну, что ж, он это заслужил.

— Я признаю, что вел себя как дурак,— пробормотал он. — Но я надеялся,— ты поймешь, что я почувствовал, когда увидел ее слезы. Поставь себя на ее место.

По тому, как жена вскинула голову, он понял, что сказал какую-то чудовищную глупость.

— А, так вот какого мнения ты обо мне!

Он схватил ее за плечо.

— Перестань, Алиса! Что за чепуха!

Она сбросила его руку.

— Ты понимаешь, какие это деньги? Ты лишил отдыха и меня и ребенка. А все из-за того, что увидел слезы этой девки.

Не дав ему возразить, Алиса вышла из комнаты. В душе у него остался неприятный осадок, как будто он совершил несправедливость. В самом деле, пожертвовать ее отдыхом, пожертвовать отдыхом жены ради уличной девчонки!.. Да, но и себя он тоже лишил отдыха, и деньги эти достались ему нелегко. Когда он явился в суд, у него и в мыслях не было, что он отдаст их девушке, и отдал он их, не рассчитывая на вознаграждение. А что, если бы он пожертвовал эти деньги на бедных — рассердилась бы тогда Алиса, хотя это и лишило бы их отдыха? Большой разницы сам Мелеш в этом не видел.

Мелеш сел и, поставив локти на колени, принялся разглядывать пионы на брюссельском ковре, купленном в кредит. Мысли, всегда возникающие у живущих вместе людей, когда они не согласны друг с другом, роились теперь в его кудрявой голове, а глаза у него были испуганные и чистые, как у ребенка. Если бы полицейские не обращались с девушками, как с мразью! И если бы она не плакала! Дело даже не в ее слезах, а в том, как она плакала. А сам-то судья — святой, что ли? Кто же имеет право так с ней обращаться? Может быть, Алиса? Ну, нет! Но тут он снова представил себе Алису, бледную, задыхающуюся от жары: она штопает его носки, она все время что-то делает для него или для ребенка, а он пустил на ветер ее отдых! Да, он вино-

ват! Его мучили угрызения совести. Он должен подняться к ней и попытаться помириться, он заложит свой велосипед, и Алиса отдохнет. Да, так он и делает!

Он отворил дверь и прислушался. В домике царила зловещая тишина, только с улицы доносились грохот автобусов, голоса детей, игравших на тротуаре, да крики торговца, развозившего бананы в ручной тележке.

Алиса, по всей вероятности, была наверху, в спальне, с ребенком. Он поднялся по чисто вымытой лестнице. Алисе хотелось, чтобы на лестнице был постлан ковер, чтобы лестница была покрашена, и еще ей хотелось многого, но всего нельзя было приобрести на четыре фунта десять шиллингов в неделю — его жалованья хватало только на пропитание. Она должна помнить, что и ему тоже кое-чего хочется, но чтобы приобрести — об этом он и не мечтает.

Дверь спальни была заперта. Он подергал ручку. Дверь внезапно отворилась, и на площадку вышла Алиса.

— Я не хочу тебя видеть.

— Послушай, Алиса! Так нехорошо!

Она притворила дверь и загородила ему дорогу.

— Что нехорошо? Уходи, я не желаю тебя видеть. Так я и поверила, что ты отдал ей деньги из-за того, что она плакала! Как тебе не стыдно!

Стыдно! Пожалуй, он проявил излишнее мягкосердечие, но стыдиться ему нечего.

— Думаешь, я не знаю, что мужчинам нужно? Ну так и беги к своей бесстыднице, если она тебе приглянулась.

Алиса стояла у двери, суровая и непреклонная, с красными пятнами на щеках. Он уже готов был признать себя негодяем — такое осуждение выражала вся ее фигура.

— Алиса! Ради бога! Не сходи с ума! Я же ничего плохого не сделал!

— Не сделал, так еще сделаешь. Убирайся! Видеть тебя не могу!

Осуждающий взгляд ее голубых глаз, злобный голос,

горечь, кривившая ее рот,— все это заставило его почувствовать, что он плохо знал свою жену.

Он прислонился к стене.

— Будь я проклят! — Больше он ничего не мог выговорить.

— Ты хочешь сказать, что она тебя ни о чем не просила?

Ладони у Мелеша вспотели. Ведь у него в кармане лежит адрес девушки!

— Если тебе доставляет удовольствие со мной ссориться, то я умываю руки. Что я такого сделал?

— Отдал деньги, отложенные на отдых ребенка, грязной девке! Ты был должен ей — вот в чем дело, или еще будешь должен. Что ж, действуй в том же духе, только убирайся отсюда вон!

У него появилось отвратительное желание ударить ее по губам — ведь рот у нее был такой жестокий!

— Да, теперь я понял,— сказал он раздельно.

Что же он понял? Он улавливал в ней нечто общее с полицейским судом, с самими полицейскими, со всем тем беспощадным, неумолимым, хотя и справедливым, что иногда обрушивается на людей.

— Я думал... я думаю... ты могла бы...

Он запнулся.

— Ах, вот оно что!

Этот возглас довел его до белого каления. Он стал спускаться с лестницы.

— Лицемер!

Мелеш только хотел было ответить на новое оскорбление, но Алиса хлопнула дверью и заперлась на ключ.

«Идиотка!» Лестничная площадка была слишком мала, чтобы вместить его чувства. Разве стал бы он все рассказывать Алисе, если бы хоть что-нибудь за собой знал? Но у него даже мыслей таких не было.

От досады у него кружилась голова. Он сбежал по лестнице, схватил с вешалки соломенную шляпу и вышел из дому. На улице пахло лондонским туманом, жареной рыбой, бензином, человеческим потом. Мелеш от волнения делал огромные шаги; он испытывал физическую боль, и выражение лица у него было страдальческое. И он женился на такой женщине! Это все равно, что же-

ниться на полицейском суде! Это бесчеловечно! Надо быть таким подозрительным и добродетельным, как все! Какая польза в скромности и прямоте, если за них получаешь такую награду?

Кто-то тронул его за плечо.

— Сударь! У вас вся спина белая. Позвольте, я вас почищу.

Мелеш, смущенный, стоял, а в это время полный белокурый мужчина чистил его своей большой плоской ладонью. «Лицемер!» От возмущения на губах у Мелеша выступила пена. Ну хорошо! Он ей покажет! Мелеш нащупал адрес девушки и внезапно был поражен тем, что ему не нужно читать адрес, — он помнит его наизусть: недалеко отсюда — на той стороне Юстон-Род. Чудно! Может быть, он тогда машинально посмотрел на адрес? Говорят, будто есть подсознательный ум. Пусть так. Но у него есть еще и сознательный ум, и этот сознательный ум намерен проучить Алису. Вот и Юстон-Род. Переходя улицу, Мелеш почувствовал странную и приятную слабость в ногах. Теперь он понимал, что собирается сделать нечто нехорошее. Он идет к девушке не только для того, чтобы проучить жену, но и потому, что надеется... А это дурно, очень дурно, и выходит, что Алиса права.

Мелеш стоял на углу узкой площади, возле садовой ограды. Он облокотился на ограду и заглянул в сад. Он всегда был откровенен с женой, и это она виновата, что у него возникли такие желания. А вместе с тем приятная слабость в ногах как бы доказывала, что она права. У него появилось сомнение: а может быть, он испытывал то же ощущение и в суде? Как должен был бы поступить на его месте любой другой человек, не считая Алисы и полицейских? Отрешиться от добродетели, совершенно отрешиться от добродетели. В саду заворковал голубь. «Будете поблизости — заходите в любое время, я буду рада». Слова эти девушка произнесла с неподдельной искренностью. Да и сама она была ничуть не хуже других. Тем не менее, если бы Алиса отнеслась к происшествию в суде спокойно, он бы и не вспомнил о девушке. Ну, ладно!.. В конце концов он решил уйти отсюда. Он человек женатый, в этом все дело. А на номера домов он, однако, смотрел. Двадцать семь!

Вот он, этот дом! Мелеш густо покраснел. Ветка сирени хлестнула его по лицу. Ее аромат напомнил ему ферму в Сомерсете, где он ухаживал за Алисой. За другой Алисой — не за той, которая бранилась сегодня на лестнице! Он внимательно осмотрел запущенный дом, и вдруг его бросило в жар. Положим, он войдет. Что подумает девушка? Что он потому заплатил штраф... Но ведь он заплатил его не потому! Не такая же он дрянь! Мелеш повернулся и быстрыми шагами пошел прочь.

Зажглись театральные рекламы. Движение здесь было небольшое — медленно ехал в экипажах или прогуливался пешком праздный люд. Мелеш дошел до Лейстер-сквер и сел на скамейку. Вокруг него в сгущавшихся сумерках все ярче горели огни реклам и уличные фонари. Сидя на скамейке, Мелеш размышлял о ничтожности жизни. Так много всего на свете, а достается на твою долю так мало! Целый день возиться с цифрами, потом идти домой, к Алисе, и это жизнь! Все казалось ему еще не таким плохим, пока Алиса была с ним ласкова. Подумать только, что он упустил! Он вспомнил книгу об островах Южного моря, о природе, о людях, о достопримечательностях, о звуках, о запахах всего мира. А взамен — четыре фунта десять шиллингов в неделю, жена, ребенок! Всего не совместишь, но выбрал ли он лучший вариант? Нет, если представить себе Алису на лестничной площадке!

А все-таки — бедная Алиса! Что значит для нее лишиться отдыха! Но если бы она не прерывала Мелеша, он бы сказал, что заложит велосипед. А может быть, все это дурной сон? Наяву ли был он в суде и видел девиц, которых собирались посадить в тюрьму и которые занимались этим ремеслом оттого, что, как и он, слишком многое упустили в жизни? Они все равно пойдут сегодня вечером той же дорожкой. Каким он был дураком, что уплатил штраф!

«Хорошо, что я не пошел к этой девушке, — подумал он. — У меня остался бы неприятный осадок!» Во всей этой истории единственно отрадным был ее взгляд, когда она сказала: «Спасибо!» Теплое чувство к девушке долго еще сохранялось в его душе, но потом и оно исчезло. Не стоит об этом вспоминать! Чего он сидит, ко-

гда нужно идти домой? Если Алиса и раньше думала о нем плохо, то что она подумает, когда он вернется?

Потерянного не вернуть! Что случилось, то случилось. Единственно, чего ему теперь хотелось,— это чтобы Алиса не была такой добродетельной.

Небо стало выше и темнее, огни — ярче, деревья и клумбы Сквер-Гардена казались искусственными и неподвижными, как декорация. Нужно идти домой и все терпеливо сносить! Зачем мучиться понапрасну?

Мелеш встал со скамейки и потянулся всем телом. Глаза его, смотревшие на огни «Альгамбры», были круглые, бесхитростные и чистые, как у ребенка.

ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ

Как-то летом 1921 года пейзажисту Губерту Марсленду, возвращавшемуся с реки, где он целый день писал этюды, километрах в десяти от Лондона пришлось остановить свою двухместную машину для небольшого ремонта. Пока ее чинили, Марсленд пошел взглянуть на стоявший неподалеку дом, где он в юные годы часто проводил школьные каникулы.

Войдя в ворота и оставив слева каменоломню, он вскоре очутился против дома, стоявшего в глубине участка. Как же изменился старый дом! Он стал вычурнее, но был уже далеко не таким уютным, как в те годы, когда тут жили дядюшка с тетушкой и он, Губерт, играл в крикет на лужайке; теперь ее, видно, приспособили для гольфа. Был поздний час — время обеда; на площадке никто не играл. Марсленд подошел к ней и остановился, припоминая. Вот тут, кажется, стояла старая беседка, а вон там, где еще сохранился дерн, ему так ловко удалось ударить по мячу, когда он в последний раз взял лапту и продержался тринадцать забегов. Это было тридцать девять лет назад — в день его шестнадцатилетия. Как ясно ему вспомнились его новые наколенники! Тогда против него играл Лукас. А ведь в те времена все подражали Лукасу: ноги выставлены вперед, легкий наклон туловища, — эффектно, ничего не скажешь! Теперь этого не увидишь — и слава богу: иначе слишком многое приносилось бы в жертву эффектности. Правда, сейчас впадают, пожалуй, в другую крайность и совсем утрачен «стиль» в игре.

Марсленд вернулся на солнечную сторону и присел на траву. Какой покой, какая тишина! Между домом дяди и соседним были видны холмы, далекие, окутанные легкой дымкой; вдали, за купой вязов, совсем как тогда, заходило солнце. Он прижал ладони к дерну. Великолепное лето — совсем как то, давно прошедшее! И тепло, исходившее от дерна, или, может быть, от этого прошлого, проникало в его сердце, вызывая легкую боль. Как раз здесь он, наверно, отдыхал после подач, сидя у ног миссис Монтейт, выглядывавших из-под ее платья с оборками. Боже! Как глупы были тогда юнцы! Как безмерна и нерасчетлива была их преданность! Ласка в голосе и взгляде, улыбка, одно-другое прикосновение — и они становились рабами. Глупцы, да, но какие хорошие мальчики! У стула миссис Монтейт часто стоял другой кумир его, Губерта, — капитан Маккей. Живо вспомнилось Марсленду его лицо цвета потемневшей слоновой кости (такого же цвета был бивень, что хранился у дядюшки), красивые черные усы, его белый галстук, клетчатый костюм и гетры, красная гвоздика в петлице — все это так нравилось юному Губерту! А миссис Монтейт, «соломенная вдова», как ее называли... Он помнил, как люди смотрели на нее, каким тоном с ней говорили. Очаровательная женщина! И он, Губерт, как говорится, «втюрился» в нее с первого взгляда, — в ни с чем не сравнимый аромат ее духов, ее изящество, ее голос. Любопытное было время! Тогда употребляли слово «ухаживание», женщины носили пышные юбки и высокие корсеты; а он ходил в белом фланелевом костюме с голубым поясом. После случая в оранжерее тетушка сказала ему вечером, лукаво улыбаясь: «Спокойной ночи, глупыш!» Да, он действительно был глупым мальчишкой. Ночью лежал, прижав щекой к подушке цветок, оброненный соломенной вдовой. Какое безумие! А в следующее воскресенье снова дожидаться не мог того часа, когда увидит ее в церкви, и энергично чистил свою шляпу; и все время, пока шла служба, поглядывал тайком на ее милый профиль там, на два ряда впереди, между Холлгрейвом, ее дядей, стариком с козлиной бородкой, и тетушкой, седой, розовощекой и полной; сидел и придумывал способ приблизиться к ней, когда она будет уходить, — и все только для того, чтобы увидеть ее улыбку, услышать ше-

лест ее платья. Ах, как мало ему нужно было для счастья в ту пору! И наконец последний день его каникул и тот вечер, когда он впервые столкнулся с жестокой действительностью. Кто это сказал, что викторианский век был невинным?

Марсленд провел ладонью по лицу. Нет, роса еще не выпала. Он перебирал в памяти женщин, которых знал, ворошил воспоминания, как сено, когда его сушат. Но ничто из того, что он вспомнил, не вызывало в нем такого волнения, как та первая любовь.

А бал у тетушки! Первая белая жилетка, купленная по случаю у местного портного, галстук, тщательно подобранный под тот, что носил его кумир, капитан Маккей! Все вспомнилось так живо здесь, в тишине лужайки,— ожидание, стыдливое и робкое волнение, незабываемая минута, когда он пригласил ее танцевать; и ее имя «миссис Монтейт», дважды записанное белым с кисточкой карандашиком в его записной книжечке с золотым обрезом; тихое колыхание ее веера, ее улыбка. И, наконец, первый танец. Как он старался не наступить на ее белые атласные туфли; какой трепет его охватывал, когда ее рука в тесноте прижималась к его руке, а потом исполненный блаженства перерыв, длившийся всю первую половину вечера, в ожидании следующего танца! Если бы только он умел так кружить и повертывать ее в вальсе, как это делал капитан Маккей! И все возрастающий экстаз по мере того, как приближалось время второго танца. А потом темная терраса, прохладный, пахнувший травой воздух, жужжанье майских жуков и тополи, казавшиеся необычайно высокими в лунном свете. Он тщательно поправляет галстук и жилет, утирает разгоряченное лицо. Глубокий вздох—и обратно в дом, искать ее! Бальный зал, затем столовая, лестница, библиотека, бильярдная—все словно в тумане,— и этот бесконечно звучащий мотив, а он в своем белом жилете бродит по дому, как привидение. Вот и оранжерея—он спешит туда. И, наконец, то мгновение, от которого у него надолго, вплоть до настоящего времени, сохранилось какое-то смутное, загадочное впечатление. Приглушенные голоса за клумбой цветов: «Я видел ее», «А кто был с нею?» Мгновенно промелькнувшее лицо цвета слоновой кости, черные усы. И затем ее голос: «Губерт!»

Ее горячая рука сжала его руку, притянула его... знакомый аромат, ее смеющееся, решительное лицо... и снова шорох за цветами, там, где шпионили за ней—и вдруг ее губы коснулись его щеки... поцелуй, от которого у него зазвенело в ушах, ее голос, такой тихий: «Губерт, милый мой мальчик!» Шорох стих, замер вдали. Как долго длилась минута молчания в сумраке среди цветов и папоротников! Ее лицо, бледное, было так близко! А потом она вела его в ярко освещенный зал, и пока они шли, он начинал медленно догадываться, что она его лишь использовала как ширму. Для нее он был мальчик, не настолько еще взрослый, чтобы стать ее возлюбленным, но достаточно взрослый для того, чтобы спасти репутацию ее и капитана Маккея! Ее поцелуй, последний из многих, предназначался не для его губ, не для его щек. Нелегко заставить себя поверить этому. Мальчик, которого еще не принимают всерьез, который через день вернется в школу и которого она целовала лишь для того, чтобы ее любовник и она могли возобновить свою связь, оставаясь вне подозрений. Как он вел себя остаток вечера, после того, как его романтическая влюбленность была втоптана в грязь? Едва ли он сознавал это. Предательский поцелуй! Оба кумира повержены в прах! Подумали ли они о его чувствах? Нет! Они заботились лишь о том, чтобы при его помощи замести следы. И все же он почему-то ни тогда, ни после не дал ей понять, что все это ему ясно. И только когда танец кончился и кто-то пригласил ее на новый тур, он убежал в свою комнатную, сорвал с себя жилет и перчатки и долго лежал на кровати, одолеваемый горькими мыслями. Ребенок! И так он лежал до тех пор, пока доносившаяся туда музыка не смолкла; кареты уехали, и наступила тихая ночь.

Сидя на корточках в траве, все еще теплой и сухой, Марсленд потирал колени. Великодушие — только в юности человек способен на подлинное великодушие! С легкой улыбкой вспомнил он, как на следующее утро тетужка лукаво и вместе с тем озабоченно говорила ему: «Нехорошо, дорогой мой, прятаться по темным углам, пожалуй, это была не твоя вина, но все-таки нехорошо... не совсем прилично...» И неожиданно умолкла, заметив, что его губы впервые в жизни искривились в иронической



«ШАНТАЖ»



«УДАР МОЛНИИ»

усмешке. Она так никогда и не простила ему этой улыбки, мысленно называя его юным Лотарио.

«Век живи, век учись,— подумал Марсленд.— Интересно, что случилось с теми двумя? Ох, этот викторианский век! Ни перед чем тогда не останавливались. И все-таки недаром его называют невинным и глупым, ей-богу!»

Солнце заходило, начинала выпадать роса. Он встал, растирая затекшие колени. В лесу ворковали голуби. В последних лучах солнца, пробившихся сквозь листву тополей, подобно драгоценному камню, сверкало окно старого дядюшкиного дома.

Да, какая это все-таки давняя история!

ЧЕЛОВЕК С ВЫДЕРЖКОЙ

В наше время каждая вежа на жизненном пути похожа на Фламинго Крокетный Молоток из «Алисы в Стране чудес»: только повернешься к ней, как она тут же изогнется вопросительным знаком. А всякий красугольный камень смахивает на Алисиного Дикобраза Крокетный Шар — не успеешь нацелиться, как его уж и след простыл. То, в чем раньше заключалась самая соль жизни, нынче вышло из моды; старинные ароматы выдохлись; слово «джентльмен» вызывает насмешливые улыбки, а выдержка почитается признаком слабоумия.

А все-таки есть на Британских островах семейства, которые вопреки всему из века в век сохраняют выдержку и чувство собственного достоинства. И пусть меня сочтут романтиком, потерявшим ощущение действительности — я все равно убежден, что такие люди нередко обладают особым и вовсе не заслуживающим презрения качеством: врожденным мужеством, своеобразной внутренней отвагой.

Это и заставляет меня поделиться с вами воспоминаниями о Майлсе Рудинге.

Увидел я его впервые — если вообще допустить, что новичок смеет поднять глаза на старосту — на второй день моего пребывания в закрытой мужской школе, когда на душе у меня было еще достаточно скверно. Три других «сосунка» — мои соседи по мансарде — куда-то ушли, а я предавался горестным размышлениям о том, вправе ли я занять кусочек стены и повесить две ма-

ленькие олеографии, на которых были изображены ядовито-алые всадники, перелетающие через ядовито-желтую изгородь на ядовито-гнедых лошадях. Картинки эти купила мне мать, полагая, что они проникнуты тем именно мужественным духом, которым славятся закрытые школы. Я вытащил их из коробки для игрушек вместе с фотографиями моих родителей и старшей сестры, разложил на скамеечке у окна и печально рассматривал эту маленькую выставку. Внезапно дверь отворилась, и на пороге показался какой-то мальчик в длинных брюках.

— Привет! — сказал он. — Новенький?

— Да, — пискнул я не громче мышонка.

— Я — Рудинг. Старший по общежитию. Карманных денег будешь получать два шиллинга в неделю, если не проштрафишься. Списки «рабов» найдешь на доске объявлений. Первые две недели «рабствовать» не будешь. Как фамилия?

— Бартлет.

— Так, — он пробежал глазами листок бумаги, который держал в руке. — Ага! Мой! Ну, как тебе здесь?

— Да неплохо.

— Вот и отлично. — Он, видимо, собрался уходить, и я поспешно спросил:

— Скажите, пожалуйста, можно я повешу вот эти картинки?

— Само собой — вешай, какие хочешь. Ну-ка, посмотрим. — Он шагнул ближе и увидел мои экспонаты.

— Ох, извини! — Он взял олеографии и поспешно отвернулся.

Новичок в школе — всегда немножко психолог, и когда этот Рудинг извинился только за то, что случайно взглянул на карточки моих родных, я как-то сразу почувствовал, что уж он-то, во всяком случае, не скотина.

— Наверно, у Томпкинса купил. У меня были такие же в первом классе. Ничего себе. Я бы повесил вот тут.

Он приложил их к стене, а я, воспользовавшись моментом, украдкой поглядел на него. Он был высокого

роста — футов пять с лишком (мне он показался сказочным великаном) — тонкий и прямой, как стрела. На нем был стоячий воротничок, — какие носили в то время, — правда, не очень высокий. Шея у него была длинная, волосы — какие-то особенные: темные, вьющиеся, с рыжеватым оттенком; глаза — темно-серые, небольшие, глубоко посаженные; скулы довольно высокие, щеки худые, тронутые веснушками. Нос, скулы, подбородок — все это, казалось, было чуть великовато, не по лицу. Не совсем законченная отделка, если можно так выразиться. Зато улыбка у него была хорошая; похоже было, что этот парень — человек правильный.

— Ну, что ж, Бартлетенок, — сказал он, возвращая мне олеографии, — выше нос, и все будет в порядке.

Я спрятал фотографии родных, а картинки повесил на стену.

Рудинг! Знакомая фамилия. В родословной книге моего семейства среди брачных записей вроде «дочь Фицгерберта» или «дочь Тастборо» как-то незадолго до гражданской войны появилась запись «дочь Рудинга». Дочь Рудинга! Может быть, этот полубог какой-нибудь мой дальний родственник! И я тут же понял, что никогда не осмелюсь заговорить с ним об этом.

Майлс Рудинг не блистал особенными талантами, но по всем предметам успевал одинаково хорошо. Нельзя сказать, чтобы он изысканно одевался — как-то даже не приходило в голову, хорошо ли он одет или плохо. Он не был, собственно говоря, одним из школьных вожаков: он был небогат, не гонялся за дешевой славой, ни перед кем не заискивал, зато в нем не было и тени высокомерия и никогда он не относился к младшим покровительственно или оскорбительно. Он не потакал слабостям ни своим, ни чужим, но был справедлив и в отличие от многих старост не любил давать тумаки. На состязаниях в конце семестра он ни разу не «выдохся» и с первой до последней минуты сохранял отличный темп. Его можно было бы назвать человеком удивительно совестливым, хотя сам он, разумеется, ни за что и не заикнулся бы об этом. Он никогда не выставлял напоказ свои чувства, однако незаметно было, чтобы он старался их скрывать — не то, что я. Он пользовался в школе огромным уважением, но это, судя по всему, было ему глубоко

безразлично. Независимый, самостоятельный, он мог бы стать героем школы, но не было в нем, как говорится, настоящего размаха. За целых два года я поговорил с ним по душам один-единственный раз, да и то мне еще повезло больше других, учитывая разницу в возрасте.

Я был в пятом классе, а Рудинг в предпоследнем, когда в нашем общежитии разразился скандал, задевший честь и достоинство капитана нашей футбольной команды. Капитан был ирландец, здоровенный малый, который умел дать отпор противнику и был главной опорой своей команды. Случилось это накануне нашего первого футбольного состязания. Можете представить себе, что началось, когда столь важная персона отказалась участвовать в игре! Потерпев моральный и физический урон, он последовал примеру Ахиллеса в Троянской войне и удалился в свой боевой шатер. Стены нашего дома дрожали от ожесточенных споров. Я, как и все младшие, был на стороне Донелли, против шестого класса. После того, как он дезертировал, капитаном стал я, и от меня теперь зависело, будем ли мы вообще играть. Если бы я объявил забастовку в знак сочувствия, остальные последовали бы моему примеру. Вечером, после многочасовой «фронды», я сидел один, так и не решившись еще, что предпринять. В комнату вошел Рудинг, прислонился к дверному косяку и сказал:

— Ну как, Бартлет, ты-то не подкачаешь?

— По... по-моему, Донелли зря надавали... зря... — запинаясь пробормотал я.

— Может, это и так, — сказал он, — но интересы команды — превыше всего. Сам знаешь.

Кому сохранить верность? Раздираемый противоречивыми чувствами, я смолчал.

— Слушай, Бартлетенок, — сказал он вдруг, — ведь всем нам будет позор. Все зависит от тебя.

— Ладно, — хмуро отозвался я. — Буду играть.

— Молодчина!

— А все равно, по-моему, нечего было трогать Донелли, — бессмысленно повторил я. — Он... он ведь такой большой.

Рудинг подошел почти вплотную к старому скрипучему креслу, в котором я сидел.

— Когда-нибудь,— медленно проговорил он,— ты сам станешь старостой. Придется и тебе заботиться о престиже шестого класса. И если ты позволишь всякой неотесанной дубине вроде этого Донелли безнаказанно (помню, меня просто потрясло тогда это слово), безнаказанно хамить ребятам, тем, что поменьше ростом и послабее,— все пропало. Мой старик заправляет одним округом в Бенгалии — примерно с наш Уэльс. И все на одном престиже. Он часто говорил со мной об этом. Бить противно кого бы то ни было, но лучше уж вздуть грубого верзилу, чем малыша из новеньких. Тем более, что этот Донелли вообще свинья: подвел всех нас — у него, видите ли, спинка болит!

— Не в том дело,— сказал я.— Это... это было несправедливо.

— Если это несправедливо,— сказал Рудинг кротко (просто удивительно кротко, как мне теперь кажется), значит вся система никуда не годится, а это большой вопрос, Бартлетенок. Во всяком случае, не мне его решать. Мое дело — управлять тем, что есть. Давай лапу и завтра жми так, чтобы чертям стало тошно, договорились?

С притворной неохотой я протянул ему руку, чувствуя, однако, что он окончательно перетянул меня на свою сторону.

Нашу команду разделили под орех, но до сих пор у меня в ушах стоит громкий крик Рудинга:

— Что надо играешь, Бартлет! Что на-а-а-до!

Со школьных времен мне запомнился еще лишь один случай, по которому можно судить, что он был за человек, этот Майлс Рудинг. В тот день он навсегда распрощался со школой, и мы с ним ехали в город в одном вагоне. Он сидел и смотрел в окошко назад, на холм, где стояла наша старая школа, и я ясно увидел, как по щеке у него проползла слезинка. Должно быть, от него не укрылось, что я заметил это, потому что он вдруг сказал:

— А, черт! Соринка попала в глаз,— и стал оттягивать вниз веко с усердием, нисколько меня не обманувшим.

Потом я совершенно потерял его из виду на несколько лет. Дела у его родителей шли не блестяще, так что он не мог поступить в университет. Как-то еще в школе он признался:

— Родичи у меня отчаянно старые. И бедные — тоже отчаянно.

Во время одного из моих странствий, предпринятых ради спорта, я снова встретился с ним на острове Ванкувер. Он выращивал фрукты на ранчо. Молодого англичанина в колониях ничто не поражает так сильно, как несходство между тем, что он видит и что рассчитывал увидеть, начитавшись книг. Когда я случайно встретил Рудинга в клубе в городе Виктория и он пригласил меня погостить, я ждал, что увижу ряды великолепных деревьев, увешанных огромными грушами и яблоками, двухэтажный просторный дом с широкой верандой, ружья, рыболовные снасти, горячих скакунов и среди всего этого — Рудинга в белоснежных брюках. В действительности я увидел вырубленный в дремучем лесу участок и на нем — новый деревянный дом, совершенно пустой и даже еще не покрашенный. Фруктовые деревья были только что посажены, и в лучшем случае можно было надеяться снять урожай года через три. На хозяине были не белые брюки, а синие джинсы, и работал он по двенадцати часов в сутки: валил деревья, расчищал новые участки. У него была одна-единственная лошадь, которая ходила и под седлом и в упряжи, а на рыбную ловлю или охоту он ездил не чаще раза в месяц. Он держал трех работников-китайцев и жил почти так же скудно, как и они. Вот уже восемь лет, как он уехал из Англии. Это была вторая его затея — в первый раз он попытал счастья в Южной Калифорнии, но потерпел неудачу: выдались подряд три засушливых лета. Зато здесь, как он мне сказал, с водой все благополучно, и он, по-видимому, не ошибался — в этих местах дождей выпадает даже больше, чем в Англии.

— Черт, как ты выносишь это одиночество? — спросил я.

— Ну! Привыкаешь. А потом, здесь ведь не одиноко. Совсем нет! Посмотрел бы ты, какие тут есть места!

И при эдакой-то жизни он все-таки ничуть не изме-

нился — те же манеры, то же достоинство, та же выдержка. К обеду он, правда, не переодевался, но умывался непременно. Он выписывал английские газеты и вечерами, покуривая трубку, читал викторианских поэтов, читал естественную историю — и не только естественную. Он ежедневно брился, каждое утро обливался холодной водой и обращался со своими китайцами точно так же, как, бывало, в школе с нами, новенькими. И у них, насколько я понимаю, он вызывал почти те же чувства, что и у нас: уважение, без малейшей примеси страха и не то чтобы любовь, но горячую симпатию.

— Я бы не прожил здесь без женщины, — признался я как-то вечером.

Он вздохнул.

— Не хочу ни с кем связываться. Жена — другое дело, но нельзя же делать девушке предложение, пока здесь все не устроено. Фрукты выращивать — всегда рискованно на первых порах.

— Ты идеалист, — сказал я.

Он весь будто сжался, и мне вдруг подумалось, что, вероятно, единственное, чего он по-настоящему не переносит, так это подобных обобщений. Но на меня нашел озорной стих.

— Заботишься о престиже английского джентльмена!

Рудинг крепко закусил мундштук трубки.

— Забочусь о том, как бы продержаться — и только. Хватит с меня.

— Так ведь это то же самое, — негромко сказал я.

Он отвернулся. Я почувствовал, что не на шутку раздосадовал его, заставляя копаться в себе. И он был прав! Это действует угнетающе, а его и без того многое угнетало: и тишина, и одиночество, и разлука с родиной, и ежедневное общение с этими людьми — представителями восточной расы. Я не раз наблюдал, какие лица у его китайцев: какие-то точеные, не молодые и не старые, замкнутые, и было в них что-то непроницаемое, кошачье. Теперь-то мне понятно, сколько нужно было самому Рудингу сдержанности и непроницаемости, чтобы жить одному из года в год и не опуститься. Неделю пробыл я у него и все время с каким-то дьявольским любопыт-

ством искал в нем признаки того, что он начал сдавать — ожесточился или размяк, ведь это было бы естественно при таком образе жизни. Честно говоря, ничего подобного я не нашел. Вот разве что к виски он не притрагивался, как будто боялся его, и уходил в себя, стоило только завести разговор о женщинах.

— Неужели ты совсем не вернешься домой? — спросил я накануне отъезда.

— Когда здесь дела пойдут на лад, я приеду в Англию и женюсь, — сказал он.

— А потом снова сюда?

— Вероятно. Денег-то у меня нет, сам знаешь.

Через четыре года я прочел в «Таймсе» такое объявление: «Рудинг — Фулджемб. — В церкви Св. Томаса, Маркет Харборо. Майлс Рудинг с Бир Рэнч (О-в Ванкувер) женится на Бланш, дочери Чарлза Фулджемба, мирового судьи, Маркет Харборо». Оказывается, дела все-таки пошли на лад! Впрочем, нужно еще посмотреть, как приживется «дочь Фулджемба» на ранчо.

Случилось так, что в то же лето я встретил Рудинга с женой в Истбурне, где они проводили последние дни своего долгого медового месяца. Она была очень мила: хорошенькая, живая — чересчур живая, подумалось мне, когда я представил себе Бир Рэнч. Сам Рудинг был радостно возбужден своей новой «затеей», у него даже появился какой-то размах. Мы вместе обедали, вместе купались, играли в теннис и ездили верхом по меловым холмам. Дочь Фулджемба была, что называется, «славный малый», — впрочем, в 1899 году это выражение, разумеется, еще не было в таком ходу, как сейчас. Я, признаюсь, не раз удивлялся, отчего она вышла замуж именно за моего приятеля. Но однажды вечером она мне рассказала, как это произошло. Оказывается, их семьи издавна жили по соседству, и когда Рудинг, прожив двенадцать лет в Новом Свете, вернулся домой, он стал героем дня, а может быть, и вообще героем. Когда она была еще девочкой, он часто брал ее с собой на охоту, так что она по старой памяти относилась к нему с благоговением. Не терпящий пустой болтовни, чуждый всякого чванства, Рудинг казался куда значительнее окружающих ее пустоголовых юнцов, и — тут дочь Фулджемба

искоса взглянула на меня — в один прекрасный день он совершил поступок, после которого ей не оставалось ничего другого, как броситься в его объятия. Как-то вечером ей предстояло отправиться в костюме китаянки на бал-маскарад. А утром кошка опрокинула пузырек с чернилами и залила весь наряд. Костюм погиб. Что было делать? Грим, прическа — как тщательно она их готовила! И все зря, только потому, что нет платья! Впервые в жизни охваченный настоящим порывом, Рудинг поспешно покинул эту обитель скорби и запустения. Оказывается, у него в Лондоне был национальный женский китайский костюм, привезенный из Сан-Франциско. Пospеть в Лондон и обратно на поезде из Маркет Харборо было невозможно, и Рудинг, не теряя ни минуты, нанял единственную во всей округе машину, помчался с неслыханной в те дни скоростью на узловую станцию, где останавливались экспрессы, приехал в Лондон, схватил костюм, отправил дочери Фулджемба телеграмму, с той же головокружительной быстротой приехал назад и в без четверги девять уже стоял у ее дверей с костюмом в руках. Дочь Фулджемба вышла к нему в халате, великолепно загримированная, с высоко зачесанными наверх волосами.

— Вот, возьми. Настоящий китайский, — спокойно сказал Рудинг и ушел; она не успела даже сказать спасибо.

Костюм оказался гораздо лучше того, который испортила кошка. В тот же вечер она согласилась стать его женой.

— Майлс мне и предложения-то не сделал по-настоящему, — сказала она. — Я видела, что для него это просто невысказанно, после того, как он меня выручил. Пришлось ему сказать, чтобы он хоть на минутку расстался со своим невозможным благородством. Ну и вот! Правда, он милый?

Милый? По отношению к ней — бесспорно; а эта дамочка была эгоцентрическим существом.

В сентябре они уехали на Ванкувер, а в январе следующего года я узнал, что он поступил в армию и отправился воевать с бурами. Желену он оставил в Англии у ее родителей. Вскоре его привезли назад с брюшным тифом, но еще раньше я два раза виделся с нею. Она рас-

сказала, что не соглашалась его отпустить, пока не поняла, что отравляет ему этим жизнь.

— А между тем,— сказала она,— он ведь, знаете, действительно очень ко мне привязан.

Когда он поправился, они вернулись на Ванкувер и застали ранчо в таком запущенном виде, что ему пришлось все начинать почти сначала. Могу себе представить, каково ему там пришлось с его изнеженной и требовательной подругой. В 1904 году она приехала домой, чтобы прийти в себя, и я снова встретился с нею на охоте.

— Майлс слишком уж хорош для меня,— сказала она мне на второй день, когда мы рысцой ехали к дому.— До того стойкий человек, что просто страшно. Если бы он только был способен хоть ненадолго забыть про свои моральные устои! Ох, мистер Бартлет, не хочется мне туда возвращаться, честное слово! Это ведь ужас что такое. А он говорит так: ну, брошу ранчо, а ведь мне тридцать восемь лет, и я ничего не добился. Значит, придется кланчить у кого-то работу? На это он не пойдет. А так я, наверное, долго не выдержу.

Я написал Рудингу. Ответ пришел сухой и сдержанный. Смысл его был таков: боже упаси, чтобы он стал насильно тащить жену к себе. Но сам он вынужден еще года два просидеть на острове. Потом, возможно, удастся продать ранчо и купить ферму в Англии. Уехать отсюда сейчас — значит разориться. Он страшно скучает по жене, но каждый должен делать свое дело. Он считает, что ей лучше пожить у родителей и не подвергать себя здесь вместе с ним лишениям.

Ну, а потом, естественно, произошло то, что меньше всего могло прийти в голову такому человеку, как Рудинг, с его понятиями о верности и долге. Дочь Фулджемба встретила с молодым мужчиной и, безусловно, не без внутренней борьбы — она была, в сущности, неплохой человек — ушла к нему. Случилось это в начале 1906 года — как раз когда главные трудности на Бир Рэнч близились к концу. Жалко мне его было очень, и все-таки сами собой напрашивались слова: «Милый мой, где же у тебя были глаза? Неужели ты не понимал, что если отпустишь от себя «дочь Фулджемба», с ней обяза-

тельно произойдет нечто подобное?» А впрочем, что он мог поделать, бедняга?

Он проделал шесть тысяч миль пути, чтобы дать ей развод. Низменное любопытство привело меня в зал суда. Никогда я так чистосердечно не восхищался Рудингом, как в тот день, наблюдая, как он спокойно дает показания в этом претенциозном и двуличном суде, среди хитрых и ловких законников.

Прямой и тонкий, с худым загорелым лицом, с ранней сединой в шевелюре редкостного оттенка, с твердым взглядом, он говорил негромко, и вся его одинокая фигура дышала печальным и сдержанным упреком. И не меня одного тронула короткая речь, с которой он обратился к судье: «Милорд, мне бы хотелось сказать, что у меня ни к кому нет недобрых чувств. Я считаю, что виноват сам. Я не должен был просить женщину разделить со мной одиночество и трудности суровой жизни в такой дали от дома». С каким-то удовольствием увидел я, как судья ответил ему легким поклоном, будто говоря: «Отдаю вам должное как джентльмен джентльмену, сэр». Я хотел было подойти к Рудингу после суда, но в последнюю секунду почувствовал, что это ему сейчас нужно меньше всего на свете.

Прямо, можно сказать, из зала суда он отправился назад, за шесть тысяч миль, и продал ранчо. Наш частый гость Каннингэм, занимавший в Эскваймолте какой-то государственный пост, рассказывал, что Рудинг из-за этой сделки очень проиграл в общественном мнении. Некие предприимчивые люди, заинтересованные в торговле недвижимым имуществом, объявили, что на Ванкувере обнаружены угольные пласты, отчего Бир Рэнч и несколько соседних участков сразу значительно повысились в цене. Рудингу предложили крупную сумму денег, и он согласился. Он уже уехал с ранчо, когда поступили неопровержимые доказательства того, что сообщение об угольных залежах — ложь. Рудинг немедленно предложил сбавить цену, оставив себе лишь стоимость земельного участка. Его предложение было, естественно, принято, и можно легко представить себе негодование тех, кто продал свои участки по высокой цене. Эти верные сторонники собственнических законов не изме-

нили принципу «*cavéat emptor*»¹ и в собственное оправдание ругали моего приятеля последними словами. На вырученные деньги он купил другое ранчо — на материке.

Как он провел следующие восемь лет, я знаю очень приблизительно. На родину он, кажется, так и не возвратился. По словам Каннингэма, он «все такой же уравновешенный, пользуется огромным уважением, но близко ни с кем не дружит. С виду почти не изменился, только поседел».

А потом, точно гром среди ясного неба, грянула мировая война. Рудинг, я думаю, почти что обрадовался ей. Вряд ли он представлял себе, что за кошмар принесет она с собою. Ему казалось, что это неизбежная схватка, долгожданная возможность показать, из какого он теста сделан и на что способна его страна. И нужно признаться, что он-то оказался способен на большее. Начал он с того, что покрасил волосы. На вопрос: «Возраст?» — он ответил четко: «Сорок», а «восемь» произнес невнятно, так что получилось как бы сорок с небольшим. Его взяли в армию и, учитывая опыт, приобретенный им в Трансваале, назначили офицером в армию Китченера. Но во Францию он попал только в начале 1916 года. Полковник, под командованием которого он служил, считал, что никто из офицеров не умеет лучше него обучать новобранцев, да и волосы у него, понятно, вскоре опять стали седыми. Говорят, он был невероятно раздражен тем, что его держат в тылу. Весной 1916 года его имя было упомянуто в сообщении с фронта, а летом он сильно пострадал от газовой атаки на Сомме. Я пошел в госпиталь проведать его. Он отпустил седые усики, но в остальном нисколько не изменился. С первого взгляда было ясно, что он из тех, кто до конца сохранит самообладание, что бы ни случилось. Чувствовалось, что это нечто само собой разумеющееся, что иная возможность ему и в голову не приходит. Он так беззаветно служил делу победы, что совершенно забыл о себе. Он стал таким же солдатом, как и самые лучшие, самые стойкие из кадровых военных, которые привыкли ни о чем не думать; стал солдатом совершенно естествен-

¹ Пусть остерегается покупатель (лат.).

но, как будто это было у него в крови. Со всех сторон окруженный смертью, он жил спокойно, ничем не выдавая своих чувств. Все это в порядке вещей, только бы его родина вышла победительницей из войны, а в том, что именно так и будет, он нисколько не сомневался. Что же касается меня, то я испытывал двойственное чувство: я и восхищался им и в то же время как будто презирал его как человека слишком прямодушного и бесхитростного.

Конечно, я был воспитан в том же духе, что и он: рыцарский герб, «дочь Рудинга» и все такое прочее, но вместе с тем меня уже коснулись новые веяния с их волнениями и тревогами.

Не один раз побывал я в этом Тинмутском госпитале, где медленно поправлялся Майлс Рудинг.

Однажды я напрямик спросил его: разве это не закон, что со временем человек все-таки сдает? Он как будто слегка удивился.

— Если ты настоящий человек, то нет,— довольно холодно ответил он.

Вот в этом и был он весь. Это был настоящий человек, и ничто внешнее не могло повлиять на него. Чтобы одолеть Рудинга, у него пришлось бы вырвать из груди сердце. Именно это я и имел в виду, говоря о его врожденных достоинствах — твердости духа и стойкости, на которую можно смело положиться. Я вовсе не хочу сказать, что этого качества не найти у рядовых солдат и у людей нового склада, но у них оно проявляется не так естественно. Такие люди гордятся этим качеством, ни на минуту о нем не забывают, или же это просто толстокожие и примитивные тупицы. Отсутствие этого качества не кажется им, как Рудингу, чем-то немыслимым, позорным, если хотите. Что увидели бы ученые, если бы могли исследовать строение нервных клеток у таких людей, как Рудинг? Может быть, они обнаружили бы некую неуловимую особенность в окраске или строении тканей? Усиленная нервная деятельность на протяжении многих поколений и вошедшая за сотни лет в плоть и кровь философия: «Страх — тягчайший из всех грехов», — неужели они не оставили следа?

В 1917 году он вернулся в действующую армию и пробыл там до конца войны. Он не совершил ничего из

ряда вон выходящего, ничего потрясающего, но, как и в школьные годы, держался молодцом до самого конца игры. Ко времени перемирия он командовал полком, а в отставку вышел в чине майора. Ему было тогда пятьдесят три года, он страдал множеством всяческих недугов: сказалась и газовая атака и долгие годы чрезмерного напряжения—он ведь был уже не мальчик. Но, чтобы получить пенсию, этого было недостаточно. Он снова поехал на Ванкувер. Всякий, кто имеет хотя бы отдаленное представление о садоводстве, знает, что это дело требует неусыпного внимания. Уходя в армию, Рудинг поневоле должен был оставить ранчо первому, кто попался. Точно так же вынуждены были поступить в те дни почти все садоводы, так что этот «первый попавшийся» оказался очень неважной заменой. Рудинг вернулся на ранчо, фактически обесцenenное. Здоровье уже не позволяло ему снова начать долгую борьбу, чтобы восстановить хозяйство, как когда-то, после Бурской войны. Продав землю, он вернулся на родину в полной уверенности, что человеку с таким прошлым, как у него, непременно дадут работу. Оказалось, что его ждала судьба многих тысяч таких же, как он. Обрато в армию его не взяли: «Очень сожалеем, но ничем не можем помочь». Попытки правительства дать ветеранам образование и работу тоже, видимо, касались лишь тех, кто помоложе. Имея в кармане гроши, вырученные за ранчо, и то немногое, что ему удалось сберечь из офицерского жалованья, Рудинг стал ждать ответа хотя бы на одно из тысячи поданных им прошений. Ответа он не дождался. Сбережения растаяли. Откуда мне это известно? Сейчас расскажу.

В январе прошлого года мне как-то понадобилось срочно добраться от ресторана в Сохо до моего клуба в Пэл-Мэл. Пришлось взять такси. Шел дождь, так что я поторопился сесть в машину. В сонном оцепенении после обильного обеда развалился я на подушках за спиной у шофера. И вдруг странное чувство овладело мной: спина эта показалась мне чем-то знакомой. Было в ней что-то — как бы это сказать — изысканное, пожалуй. Голова у шофера была седая. Я постарался вспомнить его лицо — я мельком взглянул на него сбоку, когда садился в машину. И вдруг с чувством,

близким к ужасу, я понял: ведь это Майлс Рундинг!

Да, это был он!

Когда я вышел из такси и мы поглядели друг на друга, он улыбнулся.

— Отведи машину на стоянку, старина,— сказал я.— И давай сядем рядом.

Мы забрались в машину, закурили и по крайней мере с минуту не могли сказать ни слова.

Потом я заговорил:

— Послушай, что это значит?

— Нужно же как-то зарабатывать на хлеб.

— Господи! Так вот как поступает наша страна...

— Бартлет,— сказал он, и странная, как бы застывшая усмешка притаилась в углах его плотно сжатого рта.— Оставь в покое страну. Лучше так, чем опять выпрашивать место — вот и все.

Я онемел. Какой позор! Наконец я снова обрел дар речи.

— Ну, знаешь, дальше просто некуда. А как же правительство со своими хваленными планами?

— Ничего не вышло. Это все для молодых.

— Эх, милый ты мой! — только и нашелся я сказать.

— В хорошую погоду это совсем неплохо,— продолжал он все с той же странной усмешкой.— Ведь легкие у меня еще не в порядке.

— Неужели ты думаешь и дальше так жить?

— Да, пока не подвернется что-нибудь другое. Только просить я не умею, Бартлет. Просто не получается.

— А твоя родня?

— Кто умер, кто разорился.

— Слушай, живи у меня, пока тебе не посчастливится!

Он стиснул мне локоть и покачал головой. Прямо беда с этими «благородными»! Если б мне только удалось доказать, что мы с ним в родстве! От родственника Рундинг принял бы и помощь и деньги, не колеблясь согласился бы стать наследником какого-нибудь троюродного брата, которого и в глаза никогда не видел. Но от чужого — нет: ведь это благотворительность! Сидя в своем такси, он без тени горечи рассказал мне свою историю — историю сотен таких же, как он, ветеранов

войны. Рудингу нельзя сказать прямо в глаза, что тебе жаль его. Это просто невозможно! Когда он кончил, я пробормотал только:

— По-моему, это чудовищно. Страна перед тобой в таком долгу — и вот...

Он не ответил. Что-что, а сохранять выдержку Майлс Рудинг был приучен с колыбели.

Прощаясь, я едва не вывихнул ему руку, и было видно, что ему не нравится это слишком горячее проявление чувств. Стоя на пороге клуба, я видел, как он с сигаретой в зубах снова сел за руль. В свете уличного фонаря мне было видно в профиль его осунувшееся лицо. Он сидел, не шевелясь,—последний из могикан гиблого дела, имя которому — благородство.

УДАР МОЛНИИ

Это случилось до войны, когда трагедии и комедии личной жизни еще казались важными событиями.

Я не виделся с моим другом Фрэнком Уэймаусом несколько лет, и вот в то памятное рождество судьба неожиданно свела меня с ним и его женой в одном из больших отелей Гелиополиса. Он всегда был жизнерадостный малый, весь как бы обрызган солнцем и пенился, как вино, и даже преподавание в средней школе не могло его изменить. А вот жена его, которую я видел прежде только два раза, немного меня удивила. Я помнил маленькое, несколько угрюмое создание, тихое, с недоверчивым взглядом. Теперь же эта женщина была сущим котенком, очень подвижная, говорливая, полная веселого задора,— вероятно, это был как бы протест против принудительных порядков того заведения, где она состояла воспитательницей сорока мальчиков и чувствовала себя словно под стеклянным колпаком, окруженная атмосферой строжайшей благопристойности. А здесь, в нашем египетском отеле, были приятные, расторопные слуги-берберийцы, большой холл, пальмовый сад и постояльцы, понаехавшие со всего света, была площадка для гольфа, где подавали мяч смуглые и быстроногие мальчишки-арабы, за дверями отеля расстилалась пустыня — и вот Джесси Уэймаус резвилась, сверкала большими темными глазами, и то царапала, то ласкала нас своими лапками. В ней вдруг пробудилась жизнь, и она играла, как котенок, который ловит собственный хвост. В эту веселую игру она вовлекала всех. Уэймаус с улыбкой тер-

пел ее неистовые проказы. Я думаю, он был уверен в ее привязанности и считал, что все это не всерьез. Учебный год выдался для него тяжелый; он устал физически и душевно, хотелось отдохнуть,—предаться ленивой истоме, и впитывать в себя солнце, казалось, было его единственным желанием.

Не помню, кому первому пришла мысль о поездке в пустыню, но Джесси Уэймаус ухватила за нее. Уэймаусы были небогаты, а поездка в пустыню стоит дорого. Они, я и супруги Брэконридж сговорились ехать вместе, но Брэконриджей неожиданно вызвали домой,—заболела их дочь. Джесси Уэймаус из себя выходила от досады.

— Я умру, если мы не поедем! — восклицала она. — Надо подыскать кого-нибудь другого, вот и все!

Мы подыскали чету Радолинов — австрийцев, с которыми иногда встречались после обеда. Он был граф, член правления константинопольского банка, а она, помнится, дочь венского художника. Эта пара заинтересовала меня тем, что являла собою полную противоположность Уэймаусам. Муж наслаждался своим отпуском вовсю: танцевал, играл в гольф, ездил верхом, а жена казалась до странности безразличной ко всему, вялой и словно нехотя участвовала в развлечениях своего жизнерадостного мужа. Я не раз замечал, как она скучала в одиночестве, сидя в роскошном холле и устремив в пространство невидящий взгляд. Я не мог решить, красива она или нет. Фигура у нее была восхитительная, да и глаза тоже, зеленоватые, с темными ресницами. Однако выражение усталого безразличия портило ее лицо. Помню, я даже опасался, как бы такое ее настроение не испортило нашу поездку. Но с Джесси Уэймаус трудно было спорить, а Радолин, по нашему общему мнению, был приятным спутником.

И вот в день Нового года мы двинулись в путь из Мэна-Хауса, отправного пункта всех экскурсий в пустыню. В нашем распоряжении было всего две недели — к двадцатому января Уэймаусам нужно было вернуться в Англию.

Наш переводчик был веселый плут по натуре и алжирский бедуин по происхождению. Кроме него, у нас было двенадцать арабов, повар-грек, семь верблюдов, че-

тыре осла и пять палаток. Мы направились по обычной дороге — на Фаюм. Я прекрасно помню наш отъезд. Впереди Джесси Уэймаус на серебристо-сером осле и наш прощелыга-переводчик на своем любимом верблюде. За ними я, Радолин и Уэймаус на трех других ослах, а на втором ездовом верблюде покачивалась от всего отрешенная Элен Радолин. Верблюды с кладью ушли вперед. Мы тащились весь день вдоль реки, пока не достигли Самара, где и расположились лагерем, на приличном расстоянии от этой зловонной деревушки. Моя палатка была посередине, палатка Уэймаусов справа от меня, а Радолинов — слева. Все было прекрасно устроено трудами нашего веселого переводчика, и обед, благодаря ему, Джесси Уэймаус и Радолину, прошел очень весело. И все же первые три дня, пока мы находились еще на окраине цивилизации, были не так уж увлекательны. Но на четвертый день мы оказались наконец среди совершенно безлюдных песков, и воздух пустыни начал кружить нам головы. В тот вечер мы устроили стоянку среди голых холмов, под изумительным звездным небом, холодным и чистым, как кристалл. За обедом наш переводчик превзошел себя; Джесси Уэймаус и Радолин сумасбродствовали вовсю, в Уэймаусе воскрес прежний весельчак. Одна только Элен Радолин сохраняла свой обычный скучающий вид; она не то, чтобы осуждала нас, а словно разучилась веселиться. В этот вечер я пришел все-таки к выводу, что она действительно красива. Ее лицо, целыми днями открытое солнцу, обрело живые краски и утратило обычное усталое выражение; раза два в тот вечер я перехватил устремленный на нее взгляд Уэймауса, словно и он, подобно мне, сделал такое открытие.

Бесшабашная веселость Джесси Уэймаус и Радолина достигла высшей степени во время обеда и кончилась тем, что они выскочили из палатки в ночную темноту и побежали на вершину соседнего холма.

Когда я сидел у входа в свою палатку, считая звезды, ко мне подошел наш переводчик. Он побывал в Англии и знал, какие свободные нравы на Западе и как держат себя наши женщины.

— Миссис Уэймут, конечно, славная женщина, — сказал он. — А мистер Уэймут человек очень спокойный. Я

думаю, ему не нравится ее кокетство, но он никогда ничего не скажет, характер у него слишком мягкий. И граф мне тоже нравится, но графиня — о, настоящая ледышка!.. Завтра в Фаюме мы получим свежие фрукты.

Поболтав, он ушел к своим арабам, расположившимся вместе с верблюдами в двухстах ярдах от наших палаток.

Стояла удивительная тишина. Звезды и серп луны серебрили песок; ни ветерка, но воздух был восхитительно прохладен. Когда пустыня в милостивом настроении, ничто не может так волновать кровь и вместе с тем успокаивать лихорадочное возбуждение! Вокруг все было безмолвно и неподвижно.

— Как здесь божественно, правда? Спокойной ночи!

Элен Радолин, кутаясь в мех, прошла мимо меня к себе в палатку. Я сидел и курил. И вот у палатки, где мы обедали, я увидел Уэймауса; он стоял, запрокинув голову, глубоко вдыхая ночной воздух. При свете фонаря, висевшего над входом в палатку, видно было его лицо — оно выражало восторг, словно перед неожиданным чудом. Потом и он ушел к себе. Через десять минут вернулись наши сумасброды, — впереди миссис Уэймаус, совсем притихшая; она казалась даже несколько огорченной, словно уронила себя в собственных глазах. Они разошлись по своим палаткам, справа и слева минуту слышались голоса; потом серебристая тишина окутала все вокруг.

На следующий день, устав трястись на осле, я пошел пешком вместе с арабами и спутников своих видел мало. Уэймаус и графиня ехали, помнится, на верблюдах, а Радолин и миссис Уэймаус — на ослах. Часов около пяти мы достигли окраины Фаюма. Место для стоянки здесь было небольшое. Палатки пришлось ставить так тесно рядом, что хочешь не хочешь, а слышны были разговоры соседей, и меня порастил доносившийся из палатки Уэймаусов раздраженный голос, — Джесси, по-видимому, упрекала Фрэнка в том, что за весь день он не сказал ей ни слова.

— Ты, вероятно, сердишься на меня за то, что вчера вечером мы с этим графчиком вздумали пройтись? В ответ послышался благодушный голос Уэймауса: — Да нет же, чего ради я стал бы сердиться!

Наступило молчание; казалось, ответ мужа не понравился Джесси Уэймаус.

С того дня меня томило какое-то внутреннее беспокойство,—может быть, тогда я и не отдавал себе в этом отчета, но сейчас, мне кажется, что это было так. За обедом разговор не клеился: Джесси была расстроена и всем дерзила; Уэймаус и графиня казались подавленными, в веселости Радолина чувствовалось что-то напускное, и поддерживать беседу выпало на долю мне и нашему переводчику. Этот плут отличался большой наблюдательностью, но не всегда его выводы бывали правильными.

— Миссис Уэймут, верно, какая-то муха укусила,—сказал он мне, когда я очутился с ним рядом.— Но я завтра все улажу. В Сеннуресе будет для нас танцовщица. Ого, какая! Она супругов делает счастливыми. Там же я достану свежие яйца.

Этой ночью в палатке направо и в палатке налево царило суровое молчание.

Весь следующий день мы ехали вперед и вперед, среди фаюмских полей, и наконец расположились стоянкой под Сеннуресом, в пальмовой роще,—это был прелестный уголок, но лишенный той одухотворенности, которой полна ясная и прохладная ночь в пустыне.

Танцовщица и в самом деле оказалась «ого, какая!» Ну и бесенок! Что за гибкие, вкрадчиво соблазнительные движения, сопровождаемые позвякиванием бус! Восторг арабов, смущение в широко открытых, изумленных глазах Джесси Уэймаус, которая на поверку оказалась пуританкой, смех нашего проводника, отчужденный вид Элен Радолин, который сдерживал даже пылкую дочь Египта,— вот что запечатлелось у меня в памяти во время этого выступления.

Под конец египтянка предприняла энергичную атаку на Уэймауса, но, не добившись ничего, кроме улыбки, была сильно раздосадована. Наклонясь к нашему переводчику и покосившись на графиню, она отпустила шепотом какое-то ехидное замечание, а наш веселый прощельга дал ей шлепка, и мы разошлись по палаткам. Через десять минут стоянка опустела — танцовщица и арабы ушли в деревню. Я вышел на воздух и стоял в темноте под пальмами, слушая, как шелестят листья.

В нашей обеденной палатке Радолин играл на гитаре,—какие успокоительные звуки в сравнении с возбуждающей арабской музыкой! И тут я увидел, как вышел Уэймаус, остановился под фонарем у входа и, обернувшись, стал глядеть внутрь палатки. Я хорошо различал его ярко освещенное лицо, а те, кто оставался внутри, его, вероятно, не видели. Как сейчас помню выражение его лица. Какое в нем читалось безмерное обожание!

«Что это значит?» — подумал я. И вдруг Элен Радолин тоже вышла из палатки. Она молча прошла мимо него; он не сделал попытки заговорить с нею или последовать за ней. Но она *видела!*

О да, она видела то же, что и я. Потом опять скрылась в своей палатке. Уэймаус стоял все так же, не двигаясь, словно пораженный молнией, а за его спиной все громче брнчала гитара, и от порывов ветра шелестели листья пальм.

Знаю, в наши дни принято смеяться над всем этим — над внезапными вспышками безумной страсти; принято считать их старомодными, нелепыми — словом, сплошной выдумкой литераторов. Говорят, равноправие женщин, их стремление заниматься умственным трудом и носить брюки нанесли немалый ущерб Венере. А мне все-таки думается, — то, что случилось с моим другом Уэймаусом, может случиться и с любым молодым человеком, который утверждает, что в любви якобы нет лихорадочного пыла и собственнических инстинктов и что, воспылав страстью к женщине, можно спокойно уступить ее другому или делить с ним ее любовь. Есть, разумеется, мужчины, у которых в жилах течет вода вместо крови, но, к несчастью, друг мой Уэймаус к ним не принадлежал: достаточно было посмотреть на это лицо, на волосы, словно искрящиеся солнцем и вином, на эти темно-серые глаза.

Да к тому же все обстоятельства нашего путешествия по пустыне роковым образом благоприятствовали развитию этого чувства. Маленькая Джесси Уэймаус словно нарочно делала все, чтобы этому помочь. Она одна не видела того, что происходило. Дело в том, что ее внимание было усыплено, так как в учебное время они с мужем вели напряженную трудовую жизнь, а во время каникул сказывалась усталость. Она и представить себе не

могла, что он может изменить своему обычному благоразумию. А теперь... о, мало сказать, что он опьянел! И это стало настолько явным, что слепота его жены просто внушала жалость. Только к концу следующего дня, на закате солнца, когда остался позади Фаум и мы уже устроили привал на границе пустыни, она постигла наконец всю глубину трагедии, которая произошла в ее жизни.

Те двое сидели рядышком на складных стульях, глядя на заходящее солнце. Наши арабы, огорченные необходимостью проститься с радостями Фаума, получили в утешение барана и шумно суетились вокруг него, словно готовили животное к мысли быть съеденным. Наш плут-переводчик и Радолин отсутствовали; я делал зарисовки, а Джесси Уэймаус лежала в своей палатке. Те двое теперь сидели, повернувшись лицом друг к другу и, вероятно, взявшись за руки, как будто они были здесь совсем одни. Станный сиреневый свет разливался над голыми холмами; я не знаю, видели ли они его и о чем они разговаривали, когда из палатки, зевая и потягиваясь, вышла Джесси Уэймаус и стала подкрадываться к ним сзади, чтобы их напугать. Я видел, как, незаметно и бесшумно приблизившись к ним, она в трех ярдах от них внезапно остановилась. Ее губы приоткрылись, глаза расширились от удивления. Вдруг она прикрыла глаза руками, повернулась и крадучись ускользнула к себе в палатку.

Через пять минут она снова вышла с красными пятнами на щеках. Я видел, как она подбежала к ним, видел ее лихорадочную, деланную веселость и видел также, что для них она попросту не существовала. Никто из нас для них не существовал. Они нашли свой собственный особый мир, а мы были лишь тенями в том нереальном мире, который они покинули. Вы, вероятно, знаете розовые цветы лаврика с их тяжелым, сладким и одуряющим ароматом. Вдохните его поглубже — и вас охватит какой-то лихорадочный жар. Те двое словно понюхали эти цветы.

В жизни цивилизованных людей огромное значение имеют стены. В моей легкой палатке, стоявшей между такими же легкими палатками, где жили обе четы, лишенные из-за отсутствия стен всякой возможности

выражать свои чувства, мне как будто слышались затаенные упреки, приглушенные мольбы,— так волновало меня молчание тех двух, пораженных молнией любви. Я буквально не отваживался заговорить с Уэймаусом среди всеобщей неразберихи. Этот английский учитель, словно по волшебству, утратил всякую способность видеть себя со стороны. То, что переживали эти двое, не было обычным увлечением; для них, казалось, наступило полное забвение всего окружающего,— они помнили только друг о друге.

Даже наш веселый плут был озадачен. «У меня дома, когда моя жена плохо себя ведет, я ее колочу,— сказал он мне,— а когда я плохо себя веду, она царапает мне лицо». Но что поделаешь, у нас не было стен. И Элен Радолин нельзя было поколотить, а Уэймаусу нельзя было исцарапать лицо — большое неудобство!

Наконец наше путешествие закончилось, и я почувствовал небывалое облегчение, когда Мэна-Хаус избавил нас от опасной необходимости так тесно общаться друг с другом.

Словно по молчаливому уговору, мы обедали за разными столами. После обеда я сказал Уэймаусу:

— Пойдем посмотрим на сфинкса при лунном свете.

Он пошел со мною, но все еще был как во сне. В полном молчании мы пришли к сфинксу и сели против него на песке. Наконец я сказал:

— Что ж ты намерен теперь делать, старина?

— Я не могу с нею расстаться.— Он говорил так, словно мы уже много раз обсуждали эту тему.

— Но ведь двадцатого тебе возвращаться.

— Знаю.

— Дорогой мой, ведь ты всю жизнь себе испортишь. Что будет с Джесси?

— Пусть делает, что хочет.

— Это безумие, Фрэнк.

— Возможно. Но уйти от нее я не могу, вот и все.

— А как она?

— Не знаю. Знаю только, что я должен быть там, где она.

Я сидел, задумчиво глядя на резкую тень от изломанного профиля сфинкса на залитом лунным светом песке. Пришел конец бездейственности странного любовного

сна в пустыне! Теперь должно было произойти что-то определенное, может быть, страшное. Я, запинаясь, проговорил:

— Ради бога, старина, подумай о своей жене, о работе, о себе самом,— будь благоразумен! Стоит ли всем этим жертвовать?

— Может быть, ты и прав. Но разум здесь ни при чем.

В устах учителя английской средней школы подобный ответ показался мне просто невероятным. Вдруг Уэймаус вскочил, как ужаленный. Он внезапно осознал все значение стен. Его лицо приняло страдальческое выражение. Женщина, которую он любит, отгорожена от него стенами вместе со своим мужем! Позади нас пустыня, сотни миль нетронутых, диких песков, и среди них мы — люди мыслящие и покорные. Но вот перед нами стены, и мы — вновь люди дикие и чувственные. Как странно! Не знаю, почувствовал ли он эту иронию, но он оставил меня и поспешил в отель.

Я посидел еще немного наедине с загадкой древности, чувствуя, что она гораздо проще, чем загадка, которая представилась сейчас всем нам. Потом я пошел за Уэймаусом. Может быть, материальные соображения сыграют свою роль? В конце концов эти четверо должны жить — смогут ли они не считаться с реальными условиями? Элен Радолин не имеет никаких средств; у Уэймауса есть его должность школьного учителя и сбережения в несколько сот фунтов; у Джесси Уэймаус отец — отставной полковник, а у Радолина — акции в банке.

Ночь, проведенная за стенами, имела свои последствия. На следующий день Радолин увез жену в Гелиополис. Уэймаусы остались в Мэна-Хаусе; через три дня они должны были отплыть в Англию.

Помню, я думал тогда: «Ну вот, дело и не дошло до крайности. То был мираж в пустыне, и он рассеется, как мираж, никакой любви-молнии не бывает». Однако я ехал в Гелиополис, снедаемый каким-то болезненным любопытством.

По дороге я испытывал что-то вроде разочарования. Элен Радолин — католичка, а Фрэнк Уэймаус — английский джентльмен. Эти два обстоятельства должны были

пресечь то, что мне и хотелось бы предотвратить. И все-таки во всех нас таится любовь к романтическому или, скорее, к трагическому.

Потом Радолины уехали. Утром они отбыли в Константинополь. Я сидел в восточном холле, где началась эта история, и попивал турецкий кофе, а перед глазами вставали они все — мой приятель Уэймаус, вялый и инертный, его веселенькая, кокетливая жена, этот славный малый Радолин, Элен, молчаливая, с прозрачно-зелеными глазами, слегка воспаленными, словно от слез. А мимо меня сновали берберийцы в белых одеждах; какие-то греки разговаривали с подозрительного вида дамами; слышался гортанный говор немцев; оркестр тянул модное танго. Ничто здесь не изменилось, перемена коснулась лишь тех, кто вставал в моей памяти.

И вдруг Уэймаус возник передо мной воочию. Он остановился с каким-то растерянным видом в дверях холла. По его лицу я догадался, что он знает об отъезде Радолинов. Прежде чем я успел подойти к нему, он стремительно вышел. Позднее я пожалел, что не последовал за ним.

В тот вечер в Мэна-Хаусе, когда я уже собирался лечь спать и стал раздеваться, ко мне постучалась Джесси Уэймаус.

— Вы не видели Фрэнка?

Я сказал, что видел его днем.

— Я знаю, это она! — воскликнула Джесси. — Ведь Фрэнк до сих пор не вернулся.

Я стал уверять ее, что Радолины уехали. Она посмотрела на меня невидящим взглядом и заплакала. Она плакала, плакала, и я не пытался ее успокоить. Она казалась не только покинутой и несчастной, но ожесточенной и злой. «Раз она злится, — подумал я, — она это переживет. Человек не может злиться, получив смертельный удар».

Наконец она выплакала горе, но не свою обиду и страх. Что ей было делать? Я старался убедить ее, что Фрэнк непременно вернется к вечеру следующего дня, когда им надо будет уезжать. Он, наверное, борется с собой, и она должна смотреть на это, как на лихорадку, своего рода болезнь. Джесси как-то дико, презрительно засмеялась и вышла из комнаты.

Уэймаус не вернулся, но утром я получил от него письмо, в котором лежали чек на триста фунтов, записка к жене и запечатанный конверт на имя директора школы, где он преподавал.

Письмо, адресованное мне, гласило:

«Друг мой, признаю, что я веду себя недостойно. Но у меня только два выхода: или это, или пресные воды забвения, к тому же так будет меньше сплетен. Я придумал подходящую версию для моего шефа,— пожалуйста, отправь это письмо. Посылаю чек на всю сумму, какая у меня имеется, кроме пятидесяти фунтов; передай его моей жене. Продажа нашего дома даст ей еще около пятисот фунтов. Джесси, вероятно, вернется к отцу и, надеюсь, забудет меня. Прошу тебя, как друга, проводи ее и посади на пароход. В Англию я, вероятно, никогда не вернусь. Что ждет меня в будущем — неизвестно, но я должен быть там, где она. Единственный адрес, какой я могу сейчас указать,— Константинополь, до востребования. Всего хорошего. Прощай. Твой Ф. У.».

Я проводил Джесси Уэймаус на пароход — нечего сказать, приятная была обязанность!

Неделей позже я тоже уехал в Константинополь, потому что обещал это миссис Уэймаус, отчасти же потому, что меня не покидала мысль о друге, одержимом своей любовью, оставшемся без работы и почти без денег.

Радолины жили в старом доме на берегу, почти напротив Румели Хиссара. Я пришел к ним без предупреждения и застал Элен одну. В комнате с разбросанными повсюду турецкими подушками, с мягким светом она казалась совсем другой, чем в пустыне. К ней вернулась ее томная бледность, но лицо выражало живость и воодушевление, какого я не заметил при первом знакомстве. Она говорила со мной совершенно откровенно:

— Я люблю его. Но это безумие. Я пыталась отослать его — он не хочет меня оставить. Ведь вы понимаете, я католичка, религия очень много для меня значит. Она запрещает мне уйти к нему. Увезите его в Англию. Я не могу видеть, как он из-за меня губит свою жизнь.

Признаюсь, я смотрел на нее и задавал себе вопрос,

что движет ею: религиозные или материальные соображения.

— Ах, вы ничего не понимаете! — сказала она. — Вы думаете, я боюсь бедности. Нет! Я боюсь погубить свою душу, да и его душу тоже.

Она сказала это с какой-то необычайной убежденностью. Я спросил, встречается ли она с ним.

— Да, он приходит. И я не могу ему это запретить. Я не в силах видеть его лицо, когда я говорю ему «нельзя».

Она дала мне его адрес.

Уэймаус жил в мансарде маленькой греческой гостиницы неподалеку от Галаты — убогое пристанище, выбранное единственно из-за доступной цены. Он как будто не удивился, увидев меня. Я же был поражен переменой в нем. Его лицо, осунувшееся, с резкими морщинами, имело горькое и безнадежное выражение, глаза так запали и потемнели, что казались почти черными. Он словно перенес тяжелую болезнь.

— Если б она меня не любила, — сказал он, — я бы мог это перенести. Но она любит меня. Любит! И пока я могу видеть ее, я все готов терпеть. Когда-нибудь она придет ко мне, придет!

Я повторил ему то, что она мне сказала. Я заговорил о его жене, об Англии, но никакие воспоминания, доводы или призывы не трогали его.

Я оставался в Константинополе целый месяц и встречался с Уэймаусом почти каждый день. Однако я ничего не добился. К концу месяца никто не узнал бы в нем того Фрэнка Уэймауса, который в день Нового года отправился вместе с нами в путешествие из Мэна-Хауса. Боже, как он переменился! Через знакомого в посольстве мне удалось достать ему уроки — жалкую работенку, — чтобы он мог кое-как прокормиться. Изо дня в день наблюдая своего друга, я начинал ненавидеть эту женщину. Правда, я знал, что ее отказ от любви был вызван религиозностью. Она в самом деле представляла себе, что их души, если она уступит страсти, будут кружиться в чистилище, подобно душам Паоло и Франчески на картине Уотса. Назовите это суеверием или как хотите, но ее нравственная щепетильность была искренней и, с известной точки зрения, даже весьма похвальной.

Что касается Радолина, то он воспринимал все так, словно и воспринимать-то было нечего. Он сохранял обычное спокойствие и добродушие — только у рта и у глаз затаилась какая-то жесткость.

Утром, накануне своего отъезда, я еще раз поднялся по зловонной лестнице в мансарду к моему другу. Он стоял у окна и смотрел куда-то за мост, этот трагический Галатский мост, где несчастные калеки обычно промышляли (а быть может, и сейчас промышляют) своим убожеством. Я тоже подошел к окну.

— Фрэнк, так больше нельзя! — сказал я. — Ты только посмотри на себя в зеркало.

Когда солнечная улыбка становится горькой, то нет горше ее на свете.

— Пока у меня есть возможность видеть ее, я как-нибудь продержусь.

— Ведь не хочешь же ты, чтобы эта женщина мучилась, воображая, что погубила свою душу и губит твою? Ведь она искренне верит в это.

— Знаю. Я уже ничего не добиваюсь. Только видеть ее — вот все, что мне нужно.

Да, это была настоящая одержимость!

Днем я нанял лодку и отправился к Радолинам. Стоял апрельский день, первый по-настоящему весенний день, теплый и мягкий. На багряниках в Румели Хиссаре уже появились почки, солнце бросало на воду опаловые блики; и весь этот необычайный город, город мечетей и минаретов, западной торговли и восточного нищенства, чудесно ожил при первых лучах весеннего солнца. Я велел подвести лодку к причалу Радолинов, вышел на берег и поднялся по ступеням, позеленевшим от сырости, в маленький садик. Никогда прежде я не входил в их дом с этой стороны и потому остановился, вглядываясь сквозь ветви мимоз и бугенвилей, нет ли тут какой-нибудь двери. Слева была решетка, но пройти к ней можно было только мимо большого окна, из которого я не раз смотрел через водную гладь Босфора на Румели Хиссар. Я бесшумно ступал по мраморным плитам и вдруг в окне увидел такое, что невольно остановился.

Элен Радолин совершенно неподвижно сидела в кресле боком к окну, сложив руки на коленях и не под-

нимая глаз от изразцового пола, на который падал косо́й луч солнца. У рояля, опершись на него локтями, стоял Уэймаус и смотрел на нее не отрываясь. Вот и все. Но впечатление от этой остановившейся жизни, от этой застывшей лавы было страшным. Я тихонько спустился к лодке и выплыл на опаловый водный простор.

Мне больше нечего добавить к моему рассказу. Скоро на нас обрушилась война. До меня доходили кое-какие слухи, но, как говорится, из вторых рук. Все же мне казалось, что подобный «удар молнии» стоит описать в наши дни, когда люди смеются над такими нелепостями.

SALTA PRO NOBIS¹

Вариация

— Мать-игуменья, танцовщица очень печальна. Она сидит, подперев лицо ладонями, и глядит в пустоту. На нее страшно смотреть. Я пробовала уговорить ее помолиться, но бедняжка не умеет молиться. У нее нет веры. Она отказывается даже исповедаться. Это язычница, совершенная язычница. Что можно сделать для нее, мать моя, как поддержать ее в эти тяжкие часы? Я просила ее рассказать мне свою жизнь. Она не отзывается. Она сидит и смотрит — смотрит в пустоту. Сердцу больно, когда глядишь на нее. Неужели нельзя ничем хоть немного утешить ее перед смертью? Умереть такой юной — полной жизни! Умереть, не имея веры! Под расстрел — такую молодую, такую красивую. Это ужасно!

Монахиня, маленькая, увядшая, в сером облачении, подняла руки и скрестила их на груди. Кроткие карие глаза ее вопросительно остановились на той, что стояла перед нею, — на восковом лице, на гладких седых волосах, выбившихся из-под клобука. Прямая, тонкая, словно бестелесная, стояла в раздумье мать-игуменья. Лазутчица, вверенная ее попечению! Танцовщица. Говорят, в жилах у нее есть цыганская кровь — а может быть, мавританская? Она выведала секретные сведения у своего любовника — французского морского офицера — и продала немцам, засевшим в Испании. Суд показал, что улики бесспорны. Танцовщицу привели сюда.

¹ Прыгай перед нами (лат.).

в монастырь: «Подержите ее здесь до пятнадцатого. У вас ей будет лучше, чем в тюрьме». К расстрелу — женщину! При этой мысли кидает в дрожь. Но что делаешь — война! Это ведь ради Франции!

И, взглянув на маленькую немолодую монахиню, мать-игуменья сказала:

— Посмотрим, дочь моя. Проводите меня к ней в келью.

Они вошли неслышно. Танцовщица сидела на кровати. Ни кровинки в удлинённом восточном лице, отливающим шафраном. Брови — вразлет к вискам, черные волосы спадают на лоб, губы, чувственные, резко очерченные, открывают ряд ослепительных зубов. Она сидела, обхватив себя руками, как бы для того, чтобы сдержать огонь, пылавший в гибком теле. Красноватые, как вино, глаза, казалось, смотрели сквозь монахинь, сквозь белёные стены, вдаль — как у леопарда в клетке были у нее глаза.

Мать-игуменья заговорила:

— Что можем мы сделать для тебя, дочь моя?

Танцовщица пожала плечами.

— Дочь моя, ты страдаешь. Мне сказали, что ты не умеешь молиться. Жаль.

Танцовщица улыбнулась, и ее мимолетная улыбка была сладостной, как мед, как красивая мелодия, как долгий поцелуй. Она покачала головой.

— Я не хочу смущать тебя, дочь моя. Твое страдание будит жалость в душе. Как не понять тебя? Быть может, тебе хотелось бы почитать книгу? Не прислать ли тебе вина или еще чего-нибудь, чтобы ты могла немного отвлечься?

Танцовщица сплела пальцы на затылке. Какое плавное, прелестное движение — в ней все было прелестно. На восковых щеках матери-игуменьи выступил едва заметный румянец.

— А не хочешь ли ты станцевать для нас, дочь моя?

Улыбка снова тронула губы танцовщицы и не исчезла на этот раз.

— Хочу. С большим удовольствием, мадам!

— Прекрасно. Тебе принесут твои одежды. Ты станцуешь нам сегодня вечером в трапезной. Если понадо-

биться музыка, можно распорядиться, чтобы принесли пианино. Сестра Матильда — искусная музыкантша.

— Музыка... Да, несколько простеньких танцев. Можно мне курить, мадам?

— Разумеется, дочь моя. Тебе принесут сигареты. Танцовщица протянула руку, и мать-игуменья ощутила ее мягкое тепло в своих исхудалых руках. Завтра эта рука будет костяной, холодной!

— Прощай же, дочь моя...

«Перед нами выступит танцовщица! Какая новость!» Все ждали этого нетерпеливо, как чуда. Поставили пианино, достали ноты. За вечерней трапезой монахини перешептывались. Как это необычно! Какое трагическое, какое удивительное событие вторглось в их тихую жизнь! Ах! Воспоминания — как веселые эльфы! Трапеза быстро закончена, убрана посуда, вытерты столы. На длинных скамьях у стены сидят шестьдесят серых фигур в белых клобуках. Они ждут. Посередине — мать-игуменья, сестра Матильда — у рояля.

Первой вошла немолодая маленькая монахиня, за ней — танцовщица; она шла, покачиваясь, медленно ступая по темному дубовому полу трапезной. Все разом повернулись к ней — лишь мать-игуменья продолжала сидеть неподвижно. Только бы им не запало что-нибудь в легкомысленные головы!

На танцовщице была пышная юбка черного шелка, серебристые туфельки и чулки. Широкий плетеный золотой пояс охватывал ее талию; грудь была туго обтянута серебристой тканью, прикрытой сверху складками черного кружева. За ухом в смоляных волосах алел цветок; в обнаженных руках танцовщицы держала веер из слоновой кости. Губы ее были едва подкрашены, глаза чуть-чуть подведены. Напудренное лицо походило на маску. Опустив глаза, она остановилась посреди трапезной. Сестра Матильда заиграла. Танцовщица раскрыла веер. Она начала танцевать испанский танец, почти не двигаясь с места, покачиваясь, играя плечами, кружась, замирая. Только глаза ее перебегали с одного лица на другое, а на лицах этих отражалось такое множество чувств — любопытство, недоверие, застенчивость, удовольствие, ужас, сострадание. Сестра Матильда перестала играть. Ропот прошел по рядам монахинь, и тан-

цовщица усмехнулась. Сестра Матильда заиграла опять — мгновение танцовщица прислушивалась, как бы стараясь уловить ритм незнакомой мелодии; потом ноги ее задвигались, губы приоткрылись, и она вся засветилась сладостным весельем, беззаботная, как мотылек, и заулыбались лица зрительниц, и зажурчал шепот удовольствия.

Неподвижно сидела мать-игуменья, плотно сжав тонкие губы, стиснув руки. Видения прошлого одно за другим выглядывали из тьмы и снова прятались, словно фигурки в старинной и замысловатой музыкальной шкапулке. Она вспомнила своего возлюбленного, убитого во время франко-прусской войны, вспомнила, как посвятила себя богу — давным-давно. Эта язычница с красным цветком в волосах, с набеленным лицом, с подведенными глазами разбудила в ней смутную тоску по радостным ритмам, бившимся в ней, прежде чем они замерли, как ей казалось, навсегда, и она принесла их в монастырь, чтобы здесь похоронить.

Вот музыка смолкла; вот зазвучала опять. Теперь это хабанера, этот танец тоже будит воспоминания о радостных ритмах, которые она, казалось, похоронила, — о запретной музыке, страстной, призывной. Мать-игуменья повернула голову вправо, потом влево. Мудро ли она поступила? Здесь столько ветреных голов, столько юных сердец! И все-таки, как не скрасить последние часы бедной язычницы — считанные часы! Танцуя, она счастлива. Да, счастлива! Какая сила! И какое самозабвение! Это страшно. Она приковала к себе взгляды всех — даже взгляд сестры Луизы, — как удав приковывает взгляд кролика. Мать-игуменья едва не улыбнулась. Ах, эта бедняжка сестра Луиза! И тут рядом с этим замороженным и испуганным лицом она увидела лицо молоденькой сестры Марии. Ах, как смотрит это дитя — и что за глаза, что за губы! Сестра Мария такая юная, ей только-только исполнилось двадцать лет... Ее жених убит на войне всего год тому назад! Сестра Мария, самая красивая в монастыре! Как крепко сжала она руки у себя на коленях! И — да, да, конечно — на нее-то и смотрит танцовщица, для нее извивается и кружится это гибкое тело. Для сестры Марии вспыхивает и гаснет на ярких губах странная и пленительная улыбка.

ка. Снова и снова порхала танцовщица вокруг сестры Марии, как порхает пчела вокруг излюбленного цветка. И мать-игуменья думала: «Что же это? Акт милосердия? Или уступка сатане?»

Совсем близко от монашек пронеслась танцовщица — с сияющими глазами, с гордым лицом. Для сестры Марии — взгляд, прикосновение веером, воздушный поцелуй!

— Gracias, señoras! Adios¹.

И опять, покачиваясь, она выскользнула из трапезной, а за нею — старенькая сестра.

По длинному ряду монашек пролетел вздох и послышалось... Неужели? Да, одинокое рыдание.

— Ступайте по кельям, дочери мои. Сестра Мария!

Молодая монахиня выступила вперед, на глазах у нее были слезы.

— Сестра Мария, помолитесь за то, чтобы этой несчастной душе простились ее грехи. Да, дитя мое — это очень печально. Идите в свою келью и помолитесь!

Как грациозна эта девочка! И в ее фигуре — такая красота! Мать-игуменья вздохнула...

Утро — холодное, серое, легкий снежок на земле. За танцовщицей пришли во время мессы. А немного погодя раздались выстрелы. Дрожащими губами шептала мать-игуменья молитвы за упокой души, танцующей теперь перед своим создателем...

В тот вечер повсюду искали сестру Марию и нигде не могли найти. Через два дня пришло письмо:

«Простите меня, мать моя. Я возвратилась к жизни.

Мария».

Жизнь, возникшая из смерти! Мать-игуменья долго сидела не шевелясь. Вот к ней опять неслышно подкрались призраки прошлого, а потом лицо танцовщицы с красным цветком в волосах, с темными подкрашенными глазами. Вот ее палец порхнул к губам, раскрывшимся в поцелуй!

1920—1923 гг.

¹ Благодарю вас, сеньоры! Прощайте (исп.).

ОРСАЙТЫ,
ПЕНДАЙСЫ И ДРУГИЕ

ВОДА

I

Немыслимый лабиринт улиц лондонского Сити был погружен в густой желтый туман; струйки его протискивались сквозь закрытые окна и штопором ввинчивались в души людей. Однако Генри Керситер, размышляя о необходимости снять с мели корабль с новыми акциями «Рангунского Треста Ирригационных Сооружений», весь день упорно сопротивлялся воздействию тумана. Быть может, он находил поддержку в небе Бирмы, окрашенном в розовые тона сиянием его неистребимого оптимизма. Времена сейчас хоть и скверные, но деньги он так или иначе найдет. Ведь от этого некоторым образом зависит положение всей Британской империи или, точнее, если не Британской империи, то уж, во всяком случае, положение Генри Керситера. Оба эти понятия безнадежно перепутались в его голове — не потому, что он был отравлен слабым раствором идеализма, а просто из-за привычки мыслить категориями промышленного развития, без которого его собственная деятельность стала бы вообще ненужной. Генри Керситеру внушали отвращение субъекты, которые, задрав нос и высоко подняв голову, смотрят на мир ясными голубыми глазами — в своем оптимизме они лишились ощущения потребностей сегодняшнего дня, что, как он знал по опыту, было единственным реальным препятствием на пути ко всякому прогрессу, в том числе и к его собственному. Если у Генри Керситера был враг, то это был недостаток денег.

Но хотя деньгам давно пора бы понять, что в конце концов их так или иначе найдут, сердце просто разрывалось от того, насколько они близки и все же до смешного неуловимы. Казалось, деньгам доставляет удовольствие играть не только сердцами, но даже самой жизнью тех, кто желал лишь одного — напоить водою почву бизнеса, способствовать ровному течению потока промышленности. С тех пор, как двадцать пять лет назад Генри Керситеру, адвокату без практики, предоставили место в правлении отцовского предприятия по производству марганцовокислого калия, он крепко держался за Дирекцию, корабли которой один за другим шли ко дну исключительно из-за недостатка денег. Казалось, деньги ни за что не могут простить ему, что он так часто брал над ними верх, то и дело доставал их буквально со дна морского, смотрел, как они приносят потрясающие дивиденды, а потом потихоньку погружаются в пучину, после чего опять доставал их со дна и выходил в море на новом корабле.

Не то, чтобы «Рангунский Трест Ирригационных Сооружений» был совершенно новым кораблем — он, в сущности, потихоньку шел ко дну еще с войны; однако новые акции нужно было выпустить для того, чтобы законопатить его борта и еще раз снарядить его для похода в эмпирей. Разумеется, в подобных случаях всегда очень трудно составить проспект таким образом, чтобы найти деньги, не скрывая печальной истины, что без денег «Рангунский Т. И. С.» нырнет носом вниз, увлекая за собой Генри Керситера, причем на сей раз, возможно, навсегда.

Гладкие темные волосы, тонкий, слегка нависший над губами нос, задумчивые, черные, как смоль, глаза (мать его была урожденной Фергюсон), тщательно выбритый подбородок, щеки, казавшиеся румяными в желтом свете, — такова была наружность человека, который молча, с горечью в сердце сидел перед огромным листом бумаги.

Никто не считает большой заслугой, если человек делает свое дело и высоко держит знамя. Когда он вспоминал, сколько людей, не пошевелив пальцем, чтобы достать денег, словно крысы, бежали с кораблей, на которых он шел ко дну, ему казалось, что в его собственной

карьере было что-то сакраментальное. Он никогда не испытывал недостатка в ненадежных друзьях и фиктивных директорах — как только приходилось вступать в единоборство с бурей, они предоставляли это дело ему!

Тщательно и неторопливо он вывел слова: «Настоящий скромный выпуск акций — всего лишь завершающий штрих, необходимый для того, чтобы окончательно утвердить наше тщательно продуманное коммунальное предприятие на приносящей надежные дивиденды основе. Эти акции, выпущенные на льготных условиях, дающие семь процентов годовых и обеспеченные всею собственностью Треста, представляют собой исключительно выгодное капиталовложение. Директора Треста, заранее уверенные в успехе, обращаются...» Да, черт побери, если бы они и в самом деле обращались! Ему не удалось заставить их подписать это — зловещее предзнаменование! На секунду он мысленно представил себе провал этого обращения, — увидел «Рангунский Т. И. С.», беспорядочную грудку железного лома, бетона и бревен, под безжалостным синим небом, под безжалостным тропическим ливнем, отмахнулся от этого видения, как от дурного сна, добавил: «к публике» — и громко высморкался.

— Уотнот, — сказал он секретарю, — проспект необходимо опубликовать на этой неделе. В будущий понедельник ожидаются два больших выпуска акций.

— Да, сэр, я сегодня же отнесу его в типографию. Как вы думаете, мы получим деньги?

— Мы должны получить их, Уотнот.

— Да, сэр.

Ему стало жаль маленького Уотнота с его пятьюстами фунтами в год — ведь он женат и у него трое детей. И все же они получают деньги, они должны получить их, ибо сам он хоть и не женат, но ведь жить ему тоже надо. И он принялся перечитывать проспект, чтобы посмотреть, нельзя ли усилить впечатление, не греша против истины. Перечитав, он понял, что это невозможно; более того, один или два пункта довольно дерзко бросали вызов будущему. Но публика погружена в такую глубокую летаргию, что всегда нужно живо обрисовать ей все возможности. В такое время, как сейчас, очень трудно вы-

дойти что-нибудь из рынка. Он с тоской подумал об этой тонкой синеватой струйке и о своих собственных попытках увеличить ее, попытках, которые ему часто приходилось предпринимать по телефону или наведываясь в конторы банкиров и других денежных мешков. Вручив Уотноту проспект, он набил трубку и откинулся на спинку кресла, на мгновение погрузившись в мечты о том, как он удалится от дел,—когда ему надо было доставать деньги, эта перспектива неизменно казалась ему весьма заманчивой. Каким было бы облегчением отказаться от должности директора и заняться резьбой по дереву или разведением кроликов, переложить свое бремя на других и наблюдать, как они, шатаясь, падают под его тяжестью!.. В том-то вся и беда! Он знал по опыту, что если не сделаешь дело сам, его не сделает никто, и потому его вечно мучило желание со всем этим покончить. Втайне он этим даже гордился. Если бы он не был уверен, что он лучший из всех директоров, это значило бы, что он напрасно прожил свою жизнь. А поскольку он именно и есть лучший из всех директоров, ему остается только продолжать свою деятельность! Ах, если б только не нужно было вечно добывать деньги! Он вздохнул и выпустил облако дыма. Доставать деньги — не для себя, а для промышленности — в этом нет ничего низменного, но как это утомительно! Да, а порою и просто невозможно. Однако на сей раз тут не должно быть ничего невозможного. Ведь «Рангунский Т. И. С.» — последняя жердочка, отделяющая его от бездны банкротства. Никогда! Скорее... Нет, что-нибудь непременно подвернется! Он подошел к окну и вперил взгляд в туман. Позади него маленький Уотнот надевал пальто и шляпу, чтобы отнести в типографию проспект. Керситер услышал, как он закрыл дверь. Лондон! Все от начала до конца создано на деньги, которые кто-то доставал! Он смутился. Откуда, черт возьми, все они взялись? Мыслями его на минуту овладело ребяческое изумление, охватывающее порой человека, который столько времени доставал деньги, что перестал понимать, откуда они берутся. Разумеется, деньги делают деньги! То есть их получают те, кто вскапывает и пашет землю, ловит рыбу, разводит скот, сажает деревья, добывает полезные ископаемые и... э-э-э... тому подобное! А после уплаты

этим далеким людям остаются лишние деньги — в результате комбинаций с плодами их трудов; очевидно, это и есть те деньги, которые он доставал, чтобы делать из них деньги или... или наоборот.

Стук в дверь заставил его снова сесть в кресло.

— Войдите,— сказал он.

— Мистер Генри Керситер? — спросил вошедший.

— Да.

— Меня зовут Джерард Дикон. Я от мистера Маркема Мэйса.

— А! Садитесь, пожалуйста.

Пока посетитель присаживался на краешек стула, Керситер хладнокровно изучал его внешность. На вид ему можно было дать лет сорок; синий костюм его был какого-то колониального оттенка, в пришивном воротничке темно-синей рубашки было что-то еще более колониальное; красный шелковый галстук подчеркивал ровную желтизну лица, серые стальные глаза казались воспаленными; над чувственным ртом топорщились короткие, с проседью усы; борода не могла скрыть жесткие очертания энергичной нижней челюсти.

— Итак? — произнес Керситер.

— Из слов мистера Мэйса я заключил, что вы могли бы заинтересоваться созданием акционерного общества или, во всяком случае, достать денег для осуществления одного проекта в Австралии.

— Боюсь, что я слишком завален делами,— отвечал Керситер.— Почему вы не обратились непосредственно к Маркему Мэйсу?

Слабая улыбка появилась на лице, выражение которого уже начинало беспокоить Керситера — посетитель вел себя так, словно в комнате кроме него никого не было.

— Я так и сделал, но он слишком завален делами.— Голос, обличавший человека образованного, звучал, однако, невыразительно и слегка гнусаво, словно обладатель его не привык много разговаривать.— Похоже на то, что достать деньги очень трудно.

— Да,— подтвердил Керситер.

— Очень жаль. Это нечто совершенно исключительное.

Керситер слегка улыбнулся и только успел подумать: «Интересно, когда это было иначе», — как вдруг с удивлением заметил, что посетитель встает и идет к дверям. Он еще в жизни ничего подобного не видел, и поэтому проговорил несколько даже торопливо:

— А нельзя ли узнать, что это такое?

— Вода.

— Действительно, — сказал Керситер. — Вода сделала бы Австралию совершенно другой страной.

Его поразило впечатление, которое произвели эти слова. Посетитель вернулся к столу и, глядя прямо перед собой, произнес:

— Вы здесь понятия не имеете, что такое вода. Вы открываете кран, и эта благословенная жидкость начинает течь. Я раз десять чуть не погиб от жажды в стране, где могло бы расти все, все на свете, сэр, но не растет ничего — и только из-за отсутствия воды, которую я мог бы дать ей завтра, если б мне удалось достать денег. Там в пустыне я знаю одну долину, которая через десять лет превратится в земной рай. Под словом «долина» я подразумеваю нечто вроде огромной впадины ниже уровня пустыни. А вода там есть; нужны только деньги, чтобы вывести на поверхность подземную реку.

— Подземную реку?

— Вот именно.

Керситер пристально посмотрел на посетителя, у которого уже опять был такой вид, словно в комнате, кроме него, никого нет. Уж не мечтатель ли этот субъект с воспаленными глазами? Кого он терпеть не мог, так это именно мечтателей.

— Даже если вы правы, это очень долгая история, — сказал он. — Но, простите мое любопытство, как вы обнаружили свою реку?

Посетитель улыбнулся.

— Это проще простого, — отвечал он. — Как раз в том месте, где углубление, о котором я говорю, переходит в собственно пустыню, я однажды наткнулся на расселину в песке. Примерно на глубине пятнадцати футов песок превратился в камень, а расселина ушла вниз. У меня какой-то нюх на воду, и это не раз спасало мне жизнь. Я был совершенно уверен — как в том, что я сейчас нахожусь в этой комнате («В самом деле?» — поче-

му-то подумал Керситер), — что там внизу есть вода. Ну вот, сэр, я вернулся в свой лагерь, принес оттуда размеченную веревку с куском железа на конце и опустил ее вниз. Когда я вытравил 270 футов, натянутая веревка ослабла — кусок железа коснулся дна расселины. Я вытащил веревку наверх — железо и футов двенадцать веревки оказались мокрыми. Что там внизу — источник, подземное озеро или река? Я убрал железо, привязал вместо него кусок дерева и снова опустил веревку вниз. Через 260 футов она с быстротой молнии стала скользить у меня между пальцев. Значит, это река! Я выставил еще 50 футов веревки, а затем вытащил ее наверх. Когда я положил ее на землю, мокрым оказался кусок длиной в 60 футов: 10 футов за счет глубины и 50 — за счет течения. Я повторил опыт снова, и снова, раз десять подряд, результат был тот же. Затем я дал веревке свободно скользить у меня между пальцев. За десять секунд прошло 170 футов. 17 футов в секунду — это немного больше 12 миль в час. Подземная река от десяти до двенадцати футов глубиной и с таким быстрым течением! Ширину я, конечно, определить не мог, но при такой глубине она должна быть весьма значительной. Вы только подумайте, какая масса воды пропадает зря под землей, которую достаточно чуть-чуть побрызгать, чтобы на ней выросло все что угодно. Это моя тайна, сэр, и я вернулся домой, чтобы вывести на поверхность эту реку и превратить в райские кущи пустыню, где нет ничего, кроме песка и кустарника.

Произнеся эти слова, посетитель вернулся, так сказать, в свою пустыню. Он сидел так тихо и казался таким далеким, что Керситер мог спокойно кое о чем поразмыслить. Вполне возможно, что парень спятил, а может быть, и нет — ведь на его внешность определенно наложила отпечаток австралийская степь, своеобразная мощь ее бескрайних, таящих опасность просторов, ее бесконечное тоскливое одиночество. Керситер вспомнил своего двоюродного брата, который провел много лет в Западной Австралии, вспомнил его напряженное, застывшее лицо. Надо действовать осторожно! Эта мысль — первый признак того, что он обдумывает предложение, — показалась неожиданной даже ему самому. Райские кущи! Расскажите своей бабушке! И все же... С помощью воды де-

лают чудеса — эти грандиозные преобразования таят в себе что-то вдохновляющее, романтическое! В сущности, на них основана вся промышленность. На лбу у него начала биться жилка — не то, чтобы кровь ударила в голову, нет, это просто был голос надежды, которая вечно жила в его душе. Однако осторожность никогда не помешает.

— Простите, вы, кажется, назвались Дикон?

— Джерард Дикон.

— И вы могли бы сослаться на...

Посетитель улыбнулся.

— На кенгуру, на чернокожих. Я живу там с двадцатилетнего возраста. Вы можете обратиться к лавочнику в Барагавулле!

— Но у вас, вероятно, есть родственники?

— Мой отец был профессором в Оксфорде, но он умер. У меня есть брат, если не ошибаюсь, священник, но, живя в таких местах, куда почта приходит раз в год, теряешь всякие связи. Вы, вероятно, можете отыскать его в адресной книге, но мы не видались с тех пор, как мне исполнилось двадцать лет.

— Понятно,— сказал Керситер.— В наше время для того, чтобы достать денег, требуются чрезвычайно убедительные аргументы. Необходимо твердо знать все возможности. Желательно иметь мнение специалиста-гидролога, и, кроме всего прочего, следует выяснить, осуществим ли этот план в большом масштабе.

Посетитель продолжал глазеть на кенгуру или на что-то другое, что он там видел в тумане за окном.

— Понятно,— повторил он.— Пожалуй, я обращусь к правительству.— И он пошел к дверям.

— К правительству? — изумленно воскликнул Керситер.— Господи боже! Да ведь прежде чем с вами разговаривать, от вас потребуют два доклада по гидрологии и мнения десятка различных специалистов.

Посетитель обернулся снова.

— Но почему же? Ведь правительство заинтересовано в развитии Австралии, а стало быть, это для него очень важно.

— Разумеется, но оно не даст ни единого пенни на проверку. До тех пор, пока у вас нет доказательств, написанных черным по белому, туда вам обращаться не-зачем.

— Вот как! Я здесь всего неделю, но, судя по виду здешних жителей, я заключил, что вы не прочь кой от кого избавиться.

— Без сомнения; но нашему правительству нужно, чтобы на него работали. Вот тут-то мы и появляемся на сцене.

— Да, но сейчас вы не появляетесь на сцене. Всего.

— Постойте,— проговорил Керситер несколько даже поспешно.— Где вы остановились?

— В гостинице «Золотые Ворота» в Ковент-Гардене. Меня поразило ее название — в этом вашем климате.

— Я хотел бы обдумать это дело. Я поговорю с Маркемом Мэйсом и напишу вам.

Уже взявшись рукою за дверь, посетитель с минуту помолчал, а потом свирепым тоном произнес:

— Эта пустыня три раза чуть было меня не угробила, и я поклялся с ней рассчитаться.

Керситер, который опустил глаза, чтобы избежать зрелища столь неделовой свирепости, поднял их снова. Посетителя уже не было.

Он сидел, и воображение рисовало перед ним бесконечную желтую равнину, освещенную ярким солнцем, а на губах его, над которыми слегка нависал тонкий нос, играла слабая улыбка. На улице, где действительно сгущался желтый туман, только что зажгли фонари. Ему еще ни разу не делали столь несуразного предложения, и, однако, оно пробудило в нем какой-то скрытый инстинкт. Как все, кто имеет дело с акционерными обществами, он гордился своей практичностью и ничего не принимал за чистую монету. Наверное, именно поэтому он представил себе, как эта огромная желтая равнина зазеленела. Когда вернулся маленький Уотнот, он все еще не мог оторвать глаз от этого зрелища.

— Проспект в типографии, сэр; в четверг он будет готов.

— А! Да-да! — сказал Керситер с такой легкостью, словно «Рангунский Т. И. С.» вовсе и не был последней жердочкой, отделявшей его от бездны банкротства.

— Ужасный туман, Уотнот. Чего нам не хватает, так это... э-э-э... воды.

От неожиданности маленький Уотнот вздрогнул.

— Вы хотите сказать, дождя, сэр? — спросил он.

Как все, кто действительно способствует развитию промышленности, Керситер всегда смирялся перед неизбежностью. Развилось ли это свойство, подобно шкуре арктического животного, вследствие приспособления к среде, или просто люди, лишенные его, не способствуют развитию промышленности,— неизвестно. Так или иначе, оно оказалось весьма кстати. С деньгами было туго, выпуск акций провалился с таким треском, что «Рангунский Т. И. С.» начал тотчас же оседать; не пройдет и шести месяцев, как его останки погрузятся на дно морское, а среди шпангоутов деловито заснут рыбы. И все же, когда Керситер созерцал этот подводный пейзаж, ему то и дело мерещилась иссохшая земля, жаждущая воды. Вернувшись от маклеров, ведавших выпуском акций, с известием о том, что дело не сдвинулось ни на йоту, он почти машинально направился в контору Маркема Мэйса. Этот известный человек, председатель «Концессии Брисбейн и Перт Лимитед», только что закончил свои утренние дела. Проставив свою подпись четыреста раз подряд, он уже взялся за шляпу. Увидев Керситера, он ее надел.

— А, Керситер! А я как раз еду завтракать.

Глядя на это непроницаемое лицо с его наполеоновскими, хотя и мелкими чертами и слушая, как он растягивает слова, Керситер почувствовал нечто вроде зависти. Маркем Мэйс — такой счастливчик. Талантлив, что и говорить, но некоторым людям просто везет.

— Я вас не задержу. Я хотел только осведомиться об одном человеке, которого вы ко мне послали.

— А,— произнес Маркем Мэйс.— Поедемте завтракать. Я всегда завтракаю в Вест-энде—это отнимает не так уж много времени.

Керситер, принадлежавший к тем людям, которые стоя проглатывают чашку кофе и жуют бутерброд, выводя пером: «Я просмотрел ваш доклад о солончаках в Кохинхине», сказал, что у него нет времени и вскоре ехал в Вест-энд в автомобиле Маркема Мэйса.

На красивом фоне старомодного Бертоновского клуба Маркем Мэйс выглядел гораздо более естественно.

— Кофе по-турецки? — проговорил он наконец. — Так о чем вы, собственно, хотели у меня спросить?

— О человеке по имени Джерард Дикон, которого вы послали ко мне насчет предложения, связанного с водой в Австралии.

Маркем Мэйс лукаво усмехнулся.

— А, насчет того субъекта? Да он же полоумный.

— Зачем же вы тогда послали его ко мне? — спросил Керситер.

— Просто вы были первым, про кого я вспомнил.

— Вы хотели выставить его вон?

— Разумеется. Впрочем, он бы и так ушел. Нет, я пожалел этого несчастного попрошайку — у него водянка головного мозга. Обычная история с этими австралийцами — все они свихнулись в своей пустыне.

Керситер нахмурился.

— Что привело его к вам?

Маркем Мэйс снова благосклонно усмехнулся, словно оказывая ему огромное одолжение.

— Он сказал, что его внимание привлекли слова «Брисбейн и Перт» в справочнике.

В душе Керситера зашевелилась неприязнь.

— И поэтому вы напустили его на меня?

— Я хотел помочь бедняге. Странное совпадение: его отец был моим учителем в Оксфорде — чертовски славный малый был этот Джереми Дикон, хотя и фантазер, каких мало.

Это хотя бы в какой-то мере подтверждало рассказ Дикона. Однако осторожно, ведь и Маркем Мэйс может ошибаться. Его захлестнула жалость к этому неприкаянному человеку в темно-синей рубашке.

— Что ж, — сказал он, — я вовсе не уверен, что он сумасшедший.

Долгий насмешливый взгляд, следовавший за этими словами, изрядно его раздосадовал. Маркем Мэйс, быть может, и талантлив, но это уже граничит с наглостью.

— Ну, мне пора. Благодарю вас! — отрывисто произнес он и откланялся. — Нечего терять время на Дикона и его предложение насчет воды — он не станет больше об этом думать!

Гостиница «Золотые Ворота» в Ковент-Гардене — плоское желтоватое здание, внутри, как и снаружи, являло собою непревзойденный образчик унылого запустения. В ответ на просьбу вызвать «кого-нибудь вроде коридорного» последовало долгое молчание. Керситер остался стоять в небольшой унылой комнате, где висели красные суконные шторы, стояли три плевательницы, два столика с грязными мраморными досками, а над чугунной каминной решеткой красовалась картина, изображающая коронацию королевы Виктории. Он уже решил было уйти, как вдруг в дверях показалась голова «кого-то вроде коридорного», произнесла: «Джентльмен сейчас идет» — и снова скрылась. В эту минуту здравый смысл, воспитанный в Керситере двадцатипятилетним добыванием денег, приказал ему «убираться подобру-поздорову», и лишь уверенность в своей проницательности и самообладании да какой-то неосознанный инстинкт побуждали его остаться стоять спиной к дверям между красовавшимися у его ног плевательницами и висевшим над головой изображением коронации. Чей-то голос произнес:

— А! Это вы.

Изысканное произношение в нос звучало успокоительно; в конце концов Дикон — джентльмен. Он обернулся и протянул руку.

— Я только что был у Маркема Мэйса. Быть может, вам удалось заинтересовать кого-нибудь вашим предложением?

Слабая улыбка была ему ответом.

— У вас здесь слишком много воды.

Керситер утвердительно кивнул.

— Да,—сказал он.— Но я был в Аризоне. Там с водой делают чудеса.

— Я взял билет обратно. Почему бы вам не поехать и не убедиться самому?

— Поехать в Австралию? — засмеялся Керситер.— Что за фантазия! Боюсь, что я слишком занят.

Занят? Скорее наоборот, если принять во внимание безнадежно севший на мель «Рангунский Т. И. С.». Разве это не подходящий случай для того, чтобы, подобно Наполеону, одним ударом распахнуть готовые захлопнуться врата Судьбы? И он стоял, созерцая темно-си-

нюю рубашку и желтое лицо,— в ярком свете дня они казались синее и желтее прежнего.

— Сколько это займет времени? — спросил он вдруг.

— Если ехать поездом через Сицилию, вы сможете вернуться через пять месяцев. Песчаные бури кончатся до вашего приезда. Вот смотрите! — Он вытащил из нагрудного кармана старую карту и расстелил ее на покрытом кофейными пятнами мраморном столике. На его губах и бороде Керситер заметил маленькие пятнышки, тоже вроде пятен от кофе, а когда они оба плечом к плечу склонились над картой, он почувствовал какой-то тошнотворный запах.

— Вот Барагавулла,— сказал Дикон.— От нее до моего дома два дня пути, а до того места еще пять дней пути на юг. Это в ста пятидесяти милях от моря, примерно вот здесь.— Он ткнул пальцем в точку, возле которой не было никакого названия.— Кругом пустыня — ни единой фермы, ни единого дерева, ни единого колодца — ровно ничего. Чистый песок да кое-где низкорослый кустарник.

— И так все время?

— На сотни миль. Это в самом центре пустыни.

— Что за страна!

— Да, страна потрясающая.— Голос звучал словно откуда-то издалека.

Керситер поднял глаза. Собеседник его был до такой степени поглощен своей «потрясающей страной», что он едва осмелился задать вопрос:

— Вы пытались хоть раз подсчитать издержки?

— Нет,— отвечал тонкий невыразительный голос, звучавший слегка гнусаво.— Я не инженер.

— М-д-а-а,— протянул Керситер. Предложение казалось слишком уж несуразным; не было ни малейшего смысла над ним задумываться. А его собеседник продолжал:

— Я вижу, как эта проклятая страна зеленеет травой, вижу землю, текущую молоком и медом, вижу, как на терновнике зреют гроздья винограда, а на чертополохе — винные ягоды. Вот толкуют о всяких преобразованиях, но что такое преобразование человеческой души по сравнению с преобразованием земли? Душа проде-

лывает свои жалкие трюки и уходит, а земля остается и рождает тела, без которых нет никаких душ.

Керситер надел шляпу. Что за странный способ говорить о необходимости развития промышленности!

— До свидания,— сказал он.

— Всего! Мой пароход уходит тридцатого. Он называется «Олла Подрида». Вы можете сесть на него в Суэце.

Керситер вышел, бормоча себе под нос: «Как бы не так!»

Возвращаясь подземкой в Сити, он начал прикидывать. Общее собрание акционеров «Рангунского Т. И. С.» состоится только через семь месяцев; до этого ничего особенного не произойдет. «Если появятся деньги...— подумал он.— Впрочем, появятся они или не появятся, совершенно не зависит от того, буду ли я здесь или нет». Разумеется, он будет здесь.

Идя от станции подземки у Английского банка в свою контору, он почувствовал нечто вроде тошноты — столько людей, и все бегает взапуски, достают деньги! О! Он бы дорого дал за солнце, за близость к Природе! Солнце отсутствовало, но Природа была не так уж далеко.

Маленький Уотнот схватил насморк.

— Акции ни с места, сэр, ни с места,— сказал он.

— Знаю,— с досадой отвечал Керситер.— В этой стране нет денег. Я не собираюсь сидеть здесь и ждать, пока корабль пойдет ко дну, Уотнот. Я хочу попытаться достать денег в Австралии. Там у них лучше развито чувство воды.

Маленький Уотнот чихнул; этот человечек ни дать ни взять кролик! Керситер недолго оставался в конторе. Он нигде не оставался долго, и в последующие дни его охватило какое-то неуемное беспокойство. Где бы он ни был — на холостяцкой ли своей квартире в Вестминстере, в конторе или на поле для игры в гольф,— ему все время хотелось уйти куда-нибудь в другое место. Он страстно мечтал очутиться среди людей с широкими взглядами на жизнь или в одиночестве, чтобы кругом не было ни души. Он покупал книги о воде и ошарашивал своих знакомых вопросами вроде: «Допустим, что скорость течения составляет двенадцать миль в час. На

сколько футов вода поднимется вверх без применения посторонней силы, если опустить в нее девятидюймовую трубу?»

Когда они отвечали: «Фута на два», — он взглядывал на них с явным отвращением. Ему казалось, что его соотечественники достойным сожаления образом погружены в повседневную борьбу за свое неприятное существование. Британская империя никогда не представлялась ему такой огромной — и ведь вся она стоит на воде! Не то чтобы он хоть на минуту вспомнил об этом неприкаянном человеке и об его несуразном предложении. Нет, он думал о «Рангунском Т. И. С.» и все больше проникался уверенностью в том, что деньги для него можно достать в Мельбурне, Сиднее, Брисбейне, Аделаиде и Перте. Нет никакого смысла торчать здесь, ожидая конца!..

Он сел на «Оллу Подриду» в Суэце. Просматривая список пассажиров, он надеялся, что ему не придется увидеть того мечтателя. Он нашел его фамилию среди пассажиров второго класса. Итак, если немножко постараться, он его не увидит, ибо, как и подобает человеку, который занимается добыванием денег, сам он ехал первым классом, и в списке, составленном в Марселе, его фамилия не значилась. Яркий солнечный свет, масса воды кругом, рекомендательные письма в кармане — он чувствовал себя легко, беспечно, и все более твердо верил, что деньги будут — стоит лишь попросить. В Колombo он сошел на берег, гулял по Коричным Садам, смотрел, как прямо на глазах растет манговое дерево. В эту ночь Керситер не мог заснуть от жары, и когда он, слегка опьянев от доносившегося с берега пряного аромата, стоял на палубе, облокотившись о поручни, возле него раздался голос: «Вы впервые видите Южный Крест?» Желтое обычного и, пожалуй, столь же неприкаянный, в своей неизменной темно-синей рубашке, этот субъект облокотился о поручни рядом с ним. Это было похоже на конец или начало какого-то сна, и Керситер крепко закусил мундштук трубки.

— На него надо смотреть из пустыни — там с ним как-то веселее. Значит, вы все же решили поехать со мной взглянуть на воду?

— Едва ли! — резко отвечал Керситер.

— Стало быть, это увеселительная прогулка?—Изысканный голос звучал чуть гнусаво.

— Нет. Я еду по делам руководимого мною концерна в Рангуне.

— Понятно. Но ведь это австралийский пароход.

— Знаю,— раздраженно сказал Керситер.— Я еду в Мельбурн.

На мгновение у него мелькнула отчаянная мысль ворваться на мостик и потребовать, чтобы его отправили обратно на берег. Но пароход вдруг печально загудел.

— Поехали,— произнес голос.— Я как раз успею попасть на каботажное судно в Перте. Чувствую, что мне удастся разыскать место, где та река подходит к поверхности. Земля постепенно понижается; мили через три или четыре ее уровень будет по крайней мере на двести футов ниже.

— Вот как,— равнодушно отозвался Керситер.

В наступившем молчании он смотрел, как под яркими звездами постепенно исчезает берег, как сливаются в темное пятно тропические деревья, как угасают вдали зыбкие огни. Однако он все еще ощущал сладостное дыхание земли.

— В степи нет вони, воздух там чистый,— произнес голос.— Вам не мешало бы познакомиться с австралийской пустыней — это нечто необыкновенное. Но я прочу эту гадину!

Обернувшись, чтобы посмотреть, какое выражение сопровождает эти неторопливые мстительные слова, Керситер опять почувствовал характерный слабый запах, который он уже заметил раньше. От этого субъекта пахнет каким-то растением. Быть может, это результат жизни в степи?

Следующие десять дней Керситер все время жил двойной жизнью. Стоило ему встретить этого мечтателя, как у него начинался болезненный приступ здравого смысла, но бывали минуты, особенно под звездным ночным небом, когда его охватывала какая-то смутная тоска. Деньги, Британская империя, Генри Керситер и К°! Что может быть плохого, если он поедет и убедится собственными глазами? Это его ни к чему не обязывает и, по словам того субъекта, займет всего каких-нибудь

шесть недель. Следует ли упускать такой шанс? Допустим, что ту реку можно вывести на поверхность — какие это открывает огромные возможности! Чтобы использовать их, можно будет легко достать деньги. Так поступили в Аризоне, и необозримые тучные поля люцерны, хлопка, пшеницы, табака и фруктов, поля, окаймленные низкими насыпями и обсаженные тополями, золотятся под февральским солнцем! И все это сделала вода! Песчаная, заросшая кактусами, пропитанная сладким запахом можжевельника пустыня, где никогда еще не было воды, в туманном кольце сиреневых гор! Райские кущи, которые, подобно манговому дереву, растут прямо на глазах. Стать человеком, который создал еще одно такое чудо, человеком, который поил водою землю и промышленность до тех пор, пока они не привлекли сонмы людей и не начали приносить высокие дивиденды! Земля Керситера... Он увековечит свое имя на карте! Да ведь это... Взор его упал на мечтателя, который, перегнувшись через борт, смотрел на бескрайнюю водную гладь... Да ведь это же безумие!

Он сошел на берег в Перте.

На каботажном судне к нему просто невозможно было подступиться. Суденышко было такое маленькое, что они с Диконом заняли его почти целиком. Им отвели единственную каюту, но Керситер спал на длинном диване в салоне: его раздражала близость этого субъекта. Много дней подряд плыли они под медно-красным солнцем, и Керситер, обливаясь холодной водой, наблюдал за своим спутником. Как всегда неприкаянный, невозмутимый, в неизменной темно-синей рубашке, тот улыбался своим видениям. Мимо тянулось бесконечное австралийское побережье — песчаные предгорья и снова песчаные предгорья, то тут, то там несколько эвкалиптов, крыши из рифленого железа, наскоро сколоченные лачуги, унылые лодки, уходящие в море с унылыми людьми и тюками, выгрузка припасов и снова выгрузка припасов. А потом целых два дня подряд ничего, кроме пустого австралийского берега — слишком далекого, чтобы оценить его по достоинству. Все эти дни он терзался мучительной тревогой и горьким сознанием собственной глупости; перед его глазами все время стоял «Рангунский Т. И. С.» — он медленно погружался на дно, в то

время как много недель пути отделяло Керситера от возможности достать деньги, от маленького Уотнота, от уютной конторы и от денег — денег — денег — всюду и везде, кругом. Какого же он свалил дурака!

Барагавулла! Вот она — рифленое железо и эвкалипты, маленький одинокий бугорок, темнеющий в белой прибрежной дымке, словно блошиный укус на боку у пойнтера. И Генри Керситер, который собирается сойти здесь на берег с вещевым мешком и с каким-то мечтателем. Барагавулла — Цивилизация! Еще два дня пути, а потом еще пять! «Ну и болван же я!» — подумалось ему.

На берег их доставил лихтер¹. Весь следующий день и еще один день они ехали сквозь летний зной в фургоне, запряженном мулами. Колеса глубоко погружались в изрезанный колеями песок. Нигде ни клочка тени.

Дикон показывал ему приметы местности. Керситер не мог их разглядеть и буквально через каждые десять минут думал: «Я спятил». Ночевали они на овцеводческих фермах. У владельцев этих ферм Керситер заметил тот же неподвижный, упорно погруженный в пустоту взгляд, что и у Дикона. Бурная веселость их приветственных возгласов очень скоро испарялась, и глаза их тотчас же снова принимались искать что-то вдали. «Очевидно, они ищут воду», — подумал он. С чувством отчаяния смотрел он на колодцы и небольшие ирригационные сооружения. Это было похоже на то, как если бы кто-нибудь пытался выстирать одеяло, сморкаясь в его уголок. На второй день появилась скудная трава; на ней паслись овцы. Утром и вечером Керситер неизменно ел баранину с помидорами и пил чай со сгущенным молоком. Интересно, сколько времени потребуется для того, чтобы рубашка его посинела, а глаза неподвижно уставились в пустоту.

К концу второго дня, когда уже спустились сумерки, они доехали до диконовской «усады». Четверо чернокожих и один шотландец встретили их с интересом, который, впрочем, сразу же сосредоточился на содержимом фургона. Вокруг дома росли пять развесистых эвка-

¹ Л и х т е р — небольшое плоскодонное парусное судно.

липтов. Было почти прохладно, и, войдя в гостиную, Керситер впервые после выезда из Перта почувствовал себя уютно. Здесь были плетеные кресла и книги; желтый ирландский терьер с длинным хвостом подошел к нему и лизнул ему руку. Туземная женщина принесла какой-то желтый напиток — смесь виски с лимоном и сахаром.

— Вот мы и дома, — сказал Дикон. — Располагайтесь, как вам нравится. Это очень удобное кресло. Ужин будет готов через час.

Сидя в большом кресле наедине с собакой, Керситер посмотрел на звезды, поблескивавшие сквозь листву эвкалиптов, и странное чувство умиротворения снизошло в его душу. Итак, он достиг края земли! Дальше, как говорил Дикон, простирается «ничто» — безграничная безводная пустыня, песок и звезды. И «этот субъект» прожил здесь двадцать лет! В эту минуту Керситера охватил какой-то благоговейный трепет — такое настроение навевают пейзажи старинных итальянских мастеров. Сколько в нем мужества и уверенности в себе! Но, быть может, в этом холодном спокойствии звезд есть какие-то колдовские чары, а человек этот зачарован, законсервирован среди песка и пустого пространства? Интересно, через сколько времени можно будет законсервировать Генри Керситера, чтобы он отряхнул прах добывания денег с ног своих и спокойно уселся на краю пустоты? Что за вздор! За домом, наверное, взошла луна, потому что листья эвкалиптов, изогнутые, словно сарацинские сабли, переливались серебряным блеском, овеваемые легким ветерком. Кто-то вырезал из небесного свода звезды, размельчил их в порошок, и от этого небо стало белесовато-синим, а земля казалась припорошенной звездною пылью. И по этой посыпанной пудрой поверхности, словно глубокие синие реки, струились тени эвкалиптов.

«Я проучу эту гадину». Мстительные слова никак не вязались с этим законсервированным покоем. Нет, этим субъектом все еще владеет страсть, которая двадцать лет назад привела его сюда, на край земли, страсть, которая гнала его вперед, заставляя источать кровь из камней и воду из песка. Именно эта вдохновенная страсть населяет людьми иссохшую пустыню, создает промышлен-

ность, словно воду из колодца, добывает деньги. До его слуха донеслось тихое, сладостное посвистывание чернокожего, который играл на дудочке, сделанной из раковины; слышался жесткий, металлический шорох листьев эвкалипта, где-то вдали затихал жуткий вой динго. Ирландский терьер, которого томила жажда, лизал Керситеру руку сухим языком. Было по-домашнему уютно; ему вспомнился маленький Уотнот. Дня через два субъект в темно-синей рубашке поведет его к воде, скрытой в туманной дали, а пока — сон, грезы.

III

От последней овцы, которую они видели три дня назад возле усадьбы Дикона, теперь осталось одно воспоминание; травы уже не было; не было и никакой тени, кроме той, что отбрасывали они сами. Они выходили в сумерках и шли всю ночь, а когда поднимавшееся солнце укорачивало их тени, укладывались под навесом из тонкой в желтую и красную полоску парусины, натянутой на две тонкие стальные стойки, косо забитые в песок. Когда солнце поднималось выше, чернокожий вылезал из-под своего мула и передвигал одну из стоек таким образом, чтобы между ними и виновником всех этих бедствий все время оставалась рассеивающая лучи парусина. Задыхаясь от зноя, они понемножку спали, понемножку ели, неторопливо посасывали лимон, маленькими глотками пили свои порции воды, а их лошади, чернокожий и вьючные мулы, освобожденные от сбруи, дремали под палящим солнцем. Пройдет еще один день, и чернокожий, вьючные мулы, кожаные мехи с водой и все прочее останутся позади, а они двое с мехом воды на каждого совершат бросок вперед. Керситер испытывал муки немолодого горожанина, но был охвачен необычайным воодушевлением. Ночной воздух был прохладен, и мысль о приближении к воде действовала не менее возбуждающе, чем слова любого из когда-либо изданных им проспектов. Прислушиваясь к шороху шагов в безмолвии пустыни, глядя на безобразные тени, плывущие по освещенному луною песку, он то и дело принимался сочинять обращения к публике: «Эта приятная сельская местность, с ее превосходным климатом и неслыханно

плодородным... э-э-э... песком, нуждается лишь в воде, чтобы сравниться с Месопотамией времен халдеев... Здесь, в... э-э-э... в каком-нибудь месяце езды от Лондона, мы имеем возможный район колонизации для нашего избыточного населения, новую область, которая по своей продуктивности может соперничать с любой равной ей по размерам полосой земли в Британской империи. Одни только помидоры... Мы обращаемся с этим призывом не столько из коммерческих, сколько из патриотических соображений...» Нет, от этого отдает сантиментами; держись ближе к карману — даже во время войны акционеры требовали дивидендов. Капиталовложение есть капиталовложение. «Тщательные изыскания, — мысленно продолжал он, — убедительно показали, что при надлежащей обработке земли возможности беспредельны. Узкоколейная железная дорога к замечательной естественной гавани Барагабулла...» Тут его лошадь вдруг резко нагнула голову, и Керситера бросило вперед к ней на шею; раньше она ничего подобного не делала, — может быть, она прислушивается? Выпрямившись в седле, Керситер, несколько взволнованный, вперил взор в Южный Крест. Просто удивительно, как Дикон вглядывается в эту пустоту, где нет ни единой тропинки, ни единого деревца, ни единого холма! Быть может, он чует эту далекую воду? С тех пор как они выехали, он почти не раскрывал рта, и Керситер вспомнил, как его словоохотливый проводник в Аризоне говорил: «Когда я прокладываю путь в пустыне, мне не до разговоров, нет, сэр». Странно, что молчание укрепляло в Керситере уверенность, хотя до сих пор ему было известно, что в промышленности уверенность зависит от потока слов.

На четвертое утро песок стал серее и показались редкие заросли кустарника. Они раскинули лагерь возле небольшого источника солоноватой воды, от которого во все стороны расходились следы динго.

— Отсюда мы начнем свой поход, — сказал Дикон, когда они остановились. — Постарайтесь хорошенько выспаться, это будет вам полезно. Стойки мы возьмем с собой, а веревки я оставил там. Ночь проведем в пути, днем будем работать, а на вторую ночь поедem обратно. Воды, которую мы можем увезти с собой, нам хватит

только-только. Ровно тридцать одна миля на юго — юго-восток.

Керситер спал мало — кустарник кишел мухами, муравьями, даже бабочками, и ему было страшно. Углубиться в пустыню с запасом воды, едва достаточным, чтобы не умереть от жажды! Допустим, что он отстанет от Дикона, или чернокожий во время их отсутствия снимется с лагеря со всем снаряжением, или динго, которые приходят сюда на водопой, сожрут мулов, или разразится одна из тех страшных песчаных бурь, о которых с таким ужасом рассказывал Дикон! Допустим... допустим сотню всевозможных случайностей! Сладкие воспоминания об его квартире, где годами ничто не менялось, о финансовом отделе «Таймса», о маленьком Уотноте и о других устойчивых вещах, вместе со страхом, с палящим солнцем и укусами муравьев, не давали ему уснуть.

Всякий раз, когда он открывал глаза, он видел, что Дикон, скрестив ноги, сидит, уставившись в пустоту, словно мусульманин, обративший все свои помыслы к Мекке. За двадцать пять лет, посвященных добыванию денег для промышленности в Британской империи, он никогда еще не знал такой мучительной тревоги. А ведь это лишь только начало — впереди будут часы еще более мучительные! Его все сильнее и сильнее подмывало сказать Дикону: «Мне очень жаль, но я себя плохо чувствую и вынужден подождать вас здесь». О, если б он только догадался перед отъездом опустить градусник в горячую воду, чтобы температура на нем поднялась до 106 градусов, и взял его с собой! Но увы! У него не было ни малейших признаков жара. Даже суставы перестали ныть, и, весь искусанный и обросший, он чувствовал себя на редкость здоровым и крепким. Нет! Основанием для его отказа должна послужить ненадежность этого предприятия. Он должен очень спокойно сказать: «Теперь, когда я увидел природу этой страны, я чувствую, что дальше идти бесполезно; вы никогда не сможете достать денег для эксплуатации такой забытой богом пустыни. Для этого потребовалась бы пылкая вера ранних христиан. А у вкладчиков нет ничего общего с ранними христианами». По правде говоря, он вовсе не был так уверен в этом — ему были известны случаи, ко-

гда люди верили в чудо, если им его надлежащим образом преподносили. Однако преподнести надлежащим образом подобную пустыню просто невозможно — ведь она еще суше, чем Аризона! Дважды он поднимался со своего ложа, облизывал пересохшие губы для отчаянного усилия, но вид этого неподвижного, желтолицего субъекта в темно-синей рубашке, сознание того, что этот одержимый мечтатель отмахнется от его слов, как от жужжания мухи, действовали на него угнетающе, и он снова ложился в ожидании более подходящего момента. Но он все равно это сделает — он твердо решил ни за что не пускаться в эту безумную авантюру...

В шесть часов они двинулись в путь. Они ехали обычным шагом, и у каждого к седлу был крепко приторочен сзади кожаный мех с водой. Когда солнце склонилось к закату, шаг перешел в характерный аллюр пустыни — бег вприпрыжку. День угасал в сиреневых и опаловых тонах; несколько минут пустыня переливалась ярким дрожащим блеском, затем все погрузилось во тьму, и только звезды освещали им путь. С первым дыханием ночной свежести Керситер странным образом вновь преисполнился оптимизма с какой-то даже лирической ноткой... «Только тот, кто видел красоту пустыни в часы заката, кто упивался прозрачным нектаром ночного воздуха, может представить себе этот... э-э-э... удивительный ландшафт...» Не годится, британской публике не нужно никаких иностранных слов! «...Это нечто совершенно своеобразное. Здесь не бывает болезней». Незачем добавлять: «А также людей...» — это само собой понятно тем, кто умеет читать между строк, ну, а тот, кто не умеет, — что ж, ведь от этого в большой степени зависит добывание денег. Он тронул лошадь каблуком. Через три часа от кустарника не осталось и следа, кругом снова простирался чистый песок. Керситер надеялся, что подковы их лошадей оставляют глубокие следы. Вдали от темных силуэтов вьючных мулов, от звона их колокольчиков, от таинственных криков чернокожего этот поход в беспредельность вызывал чувство гордости и в то же время страха. Он выдержал, он доведет дело до конца! Он представил себе, как маленький Уотнот широко открывает свои круглые глаза, слушая его рассказ об этой тьме, об этом одиночестве. Надо непременно .

рассказать ему о мерцании звезд, о призрачном цвете песка, о мертвом безмолвии! А этот человек, который прокладывает путь вперед с огромным кожаным мехом у седла,— нелепая фигура, напоминающая какой-то первобытный кувшин на двух движущихся ножках. Они с Диконом скачут сквозь звездную тьму, сквозь враждебную пустоту, словно духи воды, которые спешат на помощь своей родной стихии! Лошадь его опять резко нагнула голову. Притороченный сзади мех с водой начал колотить его по спине. Мысли сразу переменили направление — его внезапно охватил страх. Почему бы Дикону хоть изредка не заговорить, не нарушить это ужасное безмолвие, это ощущение, будто душа отделяется от тела и бродит в пустоте, утратив всякую связь с реальностью! Но, может быть, это и есть реальность, а все, что он знал до сих пор, было нереально? Такая жуткая мысль еще ни разу не приходила ему в голову. Остаться наедине с первозданным источником денег — с еще не возделанной землей, превратиться в одинокого кочевника вроде этих чернокожих или даже вроде динго! Мысли его мучительно путались. Как бесконечно далеко от этой не тронутой человеком пустыни до Лондона! Вода! Месопотамия — в давние времена пустынная полоса между двух рек; позже орошенная и возделанная земля, и на ней самые могучие, самые многолюдные города древности; ныне опять безводная и невозделанная пустыня! Вода! Не удивительно, что мираж является в образе воды, воды всюду и везде, но ни капли нельзя выпить! Хитрая штука эта вода — лучше всего иметь с ней дело в связи с капиталом. Он вспомнил два-три случая, когда он разводнял акционерный капитал, причем с определенной выгодой.

Двуногий кувшин впереди внезапно остановился — Дикон натянул поводья.

— Привал на десять минут. Советую вам размять ноги,— сказал он.— Не отпускайте лошадь! Луна уже всходит.

Керситер оглянулся. Полная луна, словно коварная сияющая физиономия, глядела на него из-за возвышения на краю равнины. «Я выбелю ваши кости»,— казалось, говорила она. Боже! Что за дикая мысль! Он перевел дух.

— Надеюсь, вы знаете дорогу,— сказал он.— Но убей меня бог, если я понимаю, каким образом вам это удастся.

Дикон засмеялся.

— Прямо на юго—юго-восток — по звездам!

«По звездам! — подумал Керситер.— У него только одна-единственная звезда — это благословенная вода. Надеюсь, что она не погаснет».

— Вы готовы? — спросил Дикон.— Едем дальше.

Его фигура, уже не напоминавшая больше кувшин на двух ножках, скакала вперед в ровном свете луны, и Керситер, следуя за ним, видел, как его собственная тень скользила перед ним по темному песку, словно дух его вел за собой тело. Куда? К воде?

IV

— Теперь, кажется, уже близко; надо дожждаться восхода. Дайте мне вашу лошадь.

Смертельно усталый, Керситер отдал поводья и лег на песок — мягкий, как перина, более мягкий, чем когда-либо прежде. Через две минуты он уже спал. Ему приснился удивительный сон: посередине Фенчерч-стрит потоком течет вода... Когда он проснулся, солнце было уже высоко. Обе лошади были привязаны к одной из стальных стоек, забитых глубоко в землю между сваленными как попало и присыпанными песком седлами. На земле валялся расплющенный пустой мех из-под воды — очевидно, из него поили лошадей. Второй мех — полный и раздутый — лежал на таком расстоянии, чтобы привязанные лошади не могли его достать. Керситер встал, истомленный жарой и совершенно измученный. От Дикона остались только следы, уходящие к западу, — судя по солнцу, которое взошло часа два назад. Керситер заметил, что песок был совсем не похож на тот, который он видел до сих пор, — он был более рыхлый, желтый, плотный и мягкий — почти как морской, и в нем глубоко увязали ноги. Он остановился и попытался издать крик: «Кууии!» Этот звук всегда давался ему с трудом, а теперь у него еще пересохло в горле. Он пошел к меху с водой и осторожно отвинтил пробку. Вода была тепловатая, но ему сразу стало легче, и он почувствовал го-

лод. Он съел немного мяса, сухарей и закурил. Дикон, по-видимому, отправился на разведку; они, наверное, рядом с тем местом — иначе он не стал бы привязывать лошадей и не ушел бы пешком.

В этом месте равнина то повышалась, то понижалась, и на расстоянии мили человек уже скрывался из виду; впрочем, оставляя такие глубокие следы, заблудиться он не мог. Эта мысль успокоила одинокого горожанина, затерянного среди пустыни. Когда Дикон найдет расселину, он по своему следу вернется назад и захватит его с собой. Прошло два часа в медленной попытке одиночества и палящего зноя. А вдруг Дикон не может найти то место? А что если он растянул сухожилие или с ним случился солнечный удар? Через три часа его вдруг осенила страшная мысль, он упал на колени и принялся рыть песок. Только на глубине двух футов он наконец встретил сопротивление. Боже мой! Весь этот песок нанесло сюда недавно; это дюна. Здесь, наверное, прошла одна из этих ужасающих песчаных бурь, которые иногда, как говорил Дикон, засыпают все вокруг на протяжении многих миль, до тех пор, пока следующий ураган не унесет эти дюны дальше. Но если Дикон не мог найти расселину, почему он не вернулся? Два разведчика лучше, чем один. Он посмотрел на лошадей. Осмелится ли он бросить их и пойти за Диконом? Что менее опасно — остаться возле лошадей и мехом с водой или пойти по этим человеческим следам? А вдруг, пока он будет искать Дикона, лошади забеспокоятся, вырвут стойку и уйдут, волоча ее за собой вместе с обоими седлами! Он подождал еще час, все больше впадая в уныние. Было уже за полдень. Лошади легли на землю. Он выпил еще глоток, покрепче затянул пояс и пошел по следам Дикона. Они образовывали кривую наподобие буквы S, словно тот рыскал во всех направлениях. Он шел по следам уже с полчаса, как вдруг местность начала понижаться, и он увидел на песке какой-то темный предмет. Пройдя еще сотню ярдов, он разглядел Дикона, который сидел на земле в своей широкополой фетровой шляпе. Керситер так громко заорал: «Кууии!» — что сам удивился, крикнул еще раз и побежал вперед. Дикон не подавал признаков жизни. Он неподвижно сидел к нему спиной и, казалось, пристально вглядывался в песчаный

склон. Может быть, он оглох или сошел с ума? Керситер с досадой подошел поближе.

— Дикон! — позвал он.

Дикон сидел, опершись о колени; в руке у него была маленькая черная трубка, из уголка искривленных улыбкою губ вытекала тоненькая струйка желтой слюны, остановившиеся глаза подернулись пленкой. Керситер нагнулся, потянул его за темно-синий рукав и остановился, изумленно глядя на застывшее в экстазе лицо. Дикон поднял руку и стал тихонько описывать ею полукруги, словно указывая на простирающуюся перед ним Обетованную землю. От него исходил резкий травянистый запах.

«Боже мой,— подумал Керситер,— это опиум!»

Он был так потрясен, что несколько минут стоял и неподвижно смотрел в одну точку. Потом, пораженный ужасом, сделал отчаянную попытку вывести Дикона из состояния экстаза. Безнадежно! Этот субъект должен очнуться сам. Вынув у него из рук маленькую трубку, Керситер уселся и стал ждать. Он не имел ни малейшего понятия об опиуме. Сколько времени Дикон просидит так, погруженный в свои грезы? И каков он будет, когда очнется? Вначале Керситер не чувствовал ничего, кроме отвращения. Это было похоже на то, как если бы во время шторма капитан корабля напился до потери сознания или командир полка во время боя сидел, развалясь, на кушетке и любезничал с дамой. Этот субъект пребывал в раю, в то время как он испытывал муки ада! И все же в этом болезненном экстазе было что-то такое, что медленно, очень медленно брало Керситера за сердце. Без сомнения, этот субъект видел воплощение своей мечты; перед ним сиял мираж — зеленые поля, журчащие ручейки, деревья, трава, цветы и фрукты — все, что приносит с собой вода. Он метался по этой огромной дюне в поисках расселины, ведущей к его подземной реке, и оставленной возле нее веревки, как заблудившаяся собака ищет своего хозяина, и наконец, убедившись, что песок надежно хранит свою тайну, что пустыня взяла над ним верх, обессиленный зноем, рухнул на землю и в бесконечном отчаянии попытался найти забвение в сладких грезах опиума. На короткие мгновения перед его взором возникло в дыму все, что он потерял,

все, на создание чего потребовались бы годы тяжких трудов, забот и тревог, даже если бы в этой пустыне появилась вода; за какие-нибудь четверть часа он создал себе из песка райские кущи, как это сделал до него господь бог — ласкающие взор зеленые луга, хлеб, вино и елей (или на худой конец помидоры и люцерну) для искупительной жертвы. Он заставил пустыню расцвести, подобно розе, всего лишь только поднеся руку ко рту и вдохнув дымок от горящего черного шарика. Кто мог осудить человека, так горько разочарованного в своих надеждах, несчастного, который прожил двадцать лет на краю нетронутой пустыни, мечтая извлечь из нее хоть что-нибудь? А потом у Керситера мелькнуло сомнение, мимолетное сомнение: что, если этот субъект никогда и не наткнулся на свою расселину, не привозил с собой веревку, не опускал ее ни в какую полноводную подземную реку? Быть может, все это тоже видение, настолько яркое и захватывающее, что оно стерло всякое представление о реальности? Пристально вглядываясь в исступленное желтое лицо, Керситер подумал: «Я никогда не узнаю наверное, никогда не узнаю, одурачил ли меня этот человек, который сам не знал, что он кого-то дурачит». Мысль эта ранила слишком больно. Достаточно уже того, что его одурачила песчаная буря, что он совершенно зря совершил это тяжелое, опасное путешествие, о котором никогда не сможет даже рассказать из страха прослыть идиотом!

Он вспомнил выражение на лице Маркема Мэйса с его слишком мелкими, хотя и наполеоновскими чертами. И он сидел почти так же неподвижно, как Дикон, ожидая, когда исчезнет выражение экстаза с этого желтого лица, когда сон, как то суждено всем снам, сменится равнодушной холодной действительностью. Он ждал час за часом, а солнце над их головами клонилось к закату. Часа в четыре Дикон свалился навзничь и заснул мертвым сном. Керситер не стал его будить. Его терзали страх и жажда. Интересно бы узнать, лошади еще там, где он их оставил, или сорвались с привязи и ушли к мулам и к воде? Он должен как-то притащить этого субъекта обратно, пока ночная тьма не скрыла их следы на песке. Когда Дикон проспал два часа, Керситер приступил к делу. Полчаса ушло на то, чтобы поставить его на ноги.

Они двинулись в путь рука об руку, и в течение всего часа, что они ковыляли по глубокому песку рядом со своими следами, Керситер молчал, а Дикон произнес всего лишь одно слово:

— Вода.

Керситер никогда еще не испытывал такого глубокого облегчения, какое он испытал при виде лошадей, спокойно лежащих на том месте, где он их оставил. Теперь, когда он опять ощутил связь с цивилизацией, хотя и весьма слабую, его вновь охватили гнев и отвращение. Он выскажет этому субъекту все, что он о нем думает.

Он этого не сделал. Дикон выглядел таким больным и несчастным, что у него не хватило духу.

Они выехали в восемь часов. Керситер ехал впереди, отпустив поводья: лошадь найдет дорогу сама. Дикон плелся следом за ним, понутив голову, как побитый пес. Керситеру вдруг захотелось ободрить его. Как вел бы себя кто-нибудь другой на месте Дикона? Ничуть не лучше, если не хуже. Ночной воздух ласкал его усталое тело; в нем вновь пробудились душевные силы, но теперь он уж больше не растрачивал их на обращения к публике. Мысли его снова и снова возвращались к питью, к ваннам, к морю и к людям, которые не предаются мечтам, а живут трезвой жизнью, делая деньги там, где земля уже укрощена. Но когда его ноздрей коснулся наконец запах дыма от костра, разведенного чернокожим, когда он обвел глазами бледнеющее небо и пустыню, сливавшуюся вдали с ярким заревом заката, на него нахлынула какая-то горькая радость, словно он расставался с чем-то драгоценным, чего ему уж больше никогда не суждено увидеть, — с землей, на которой нет человека, с самым захватывающим, иссушающим душу приключением своей жизни...

V

Три месяца спустя, облокотившись о поручни парохода «Ориноко», Керситер смотрел, как тает на горизонте Везувий. Он не раздобыл ни гроша. «Рангунский Т. И. С.» не привлек к себе симпатий Мельбурна, Сиднея, Аделаиды, Брисбейна и Перта, и в свете

средиземноморского заката ничто не брезжило ему впереди.

— Да, сэр,— произнес голос у него за спиной,— как я говорил вам вчера, эта баскская область насквозь провоняла медью. Если б я мог достать денег, чтобы выкачать воду из одной шахты меньше, чем в ста милях от Бильбао, я бы составил себе состояние. Там залегает руда, содержащая свыше семнадцати процентов меди, и ее очень легко добывать!

— Вот как! — сказал Керситер.— А каким образом ее затопило?

Они сошли на берег в Гибралтаре.

РАССКАЗ УЧИТЕЛЯ

I

Всем нам, я думаю, помнится, как прекрасно было лето в том году, когда началась война. Я был тогда школьным учителем в деревушке на Темзе. В ту пору мне минуло уже пятьдесят, одна рука была у меня парализована и зрение никуда не годилось — словом, я, конечно, был негоден к военной службе, и все это, как нередко бывает у людей чувствительных, до болезненности обострило мою восприимчивость. Стояли ясные, безоблачные дни; в полях, золотившихся под солнечными лучами, только начиналась уборка хлеба, яблоки наливались соком, тихими летними ночами лунный свет мешался с причудливыми тенями. И среди всего этого вдруг возникает ужас, сознательно подготавливается план опустошения всей Европы, подписывается приговор, обрекающий на смерть миллионы молодых людей. Лето, полное очарования, и бок о бок с ним — убийство, уничтожение в таком масштабе, какой трудно себе и вообразить, — сколько в этом зловещей иронии!

В конце августа того лета, в один из вечеров, когда до нас стали доходить известия о событиях в Монсе, я вышел из своего дома, стоявшего на краю деревни, и пошел по направлению к гряде меловых холмов. За всю жизнь не припомню ничего восхитительней того вечера. Все затихло и окрасилось теплыми, трепетными тонами, лиловатыми, как цветущий черный виноград. Россыпь

звезд уступала место быстро восходившей луне, и тени от скирд убранной пшеницы стали таять. Время приближалось к половине десятого (часы тогда еще не перевели на час вперед). У заброшенного песчаного карьера, за буковыми деревьями стояли молча двое бывших моих учеников, мальчик и девочка. Они обернулись, когда я проходил мимо, и поздоровались. Взойдя на вершину холма, я увидел расстилавшиеся по обеим сторонам неогороженные поля со свежескошенными, чуть позолоченными лунным светом скирдами. Передо мною высилась серо-голубая меловая гряда, а позади в посветлевшем небе отчетливо вырисовывались темные силуэты буков.

Луна стала почти совсем золотая и, казалось, теплая на ощупь; от нее расходились потоки света по всему небу, озаряя поля, леса, долины, деревенские домики и реку. Но картины жестокой кровавой бойни неотступно стояли у меня перед глазами, превращая в мираж окружающую действительность. Пытаясь избавиться от этих мрачных видений, я вернулся мыслями к недавней встрече и подумал, что Бетти Руф и Джим Бекетт чересчур молоды, чтобы быть влюбленной парой,—если это в самом деле так, ибо ничем мое предположение не подтверждалось. Каждому из них, вероятно, нет еще и шестнадцати: ведь они только в прошлом году окончили школу. Бетти Руф верховодила всеми в классе. Эта интересная девочка с живым, очень независимым характером, черноглазая, с правильными чертами лица и гордо посаженной головой, была дочерью деревенской прачки, и не раз у меня мелькала мысль, что Бетти, пожалуй, слишком хороша для такой профессии, но девочке уже приходилось помогать матери, и я понимал, что ей не миновать этой работы, пока она не выйдет замуж. Джим Бекетт работал на ферме у Карвера. Старый карьер, где я их повстречал, находился как раз на полпути между фермой и домом Бетти. Славный паренек был этот Джим Бекетт, веснушчатый, рыжеватый, с прямодушным взглядом голубых глаз, коротким носом и небольшой по сравнению с широкими плечами головой. Он был рослый, пожалуй, даже чересчур рослый для своих лет и очень порывистый, несмотря на осторожную медлительность движений, свойственную всем деревен-

ским парням. Любопытно сочеталась в нем тонкая чувствительность с изрядным упрямством.

При воспоминании о том, что произошло в следующий миг, меня охватывает такое горькое сожаление, какого никогда в жизни я больше не испытывал. Я все еще стоял на холме, когда возвращавшийся на ферму Джим поравнялся со мной. Он протянул мне руку.

— Прощайте, сэр, на тот случай, если не придется больше свидеться.

— Что ты, Джим, куда это ты собрался?

— На военную службу, сэр.

— На военную службу? Но послушай, мой мальчик, тебе же остается еще по крайней мере года два до призывного возраста!

Он улыбнулся.

— В этом месяце мне исполнится шестнадцать, но, держу пари, я выгляжу на все восемнадцать. Мне говорили, что там не очень-то придираются к возрасту.

Я оглядел его с головы до ног. Да, он был прав, он мог сойти за восемнадцатилетнего, тем более при такой нужде в солдатах. И, охваченный, как и все в ту пору, патриотическими чувствами и волнением, я только сказал:

— Пожалуй, тебе не следовало бы это делать, Джим. Но я восхищаюсь твоим мужеством!

Он стоял молча, смущенный моими словами. Затем проговорил:

— Ну, прощайте, сэр. Завтра мне ехать.

Я крепко пожал ему руку. Он снова улыбнулся и, не оборачиваясь, побежал вниз, к ферме Карвера, а я остался снова один среди волшебного сияния этой ночи. Война! О господи, какое это страшное преступление! Из этого мирного края тишины и лунного сияния мальчики спешили навстречу гибели, на эту затеянную людьми бойню, как будто мало нам того, что каждый из нас обречен на смерть самой Природой! А мы, мы в то время лишь восторгались молодыми людьми, их готовностью умирать и убивать! Да... С той поры я проклиная все чувства, помешавшие мне тогда сообщить призывной комиссии о действительном возрасте этого мальчика.

По дороге домой, спускаясь с холма, я снова увидел Бетти. Она стояла на том же месте, у старого карьера.

— А что, Бетти, говорил тебе Джим о своем решении?

— Да, сэр, он сказал, что пойдет на военную службу.

— А что ты ему на это ответила?

— Я сказала, что он будет дураком, если это сделает. Но Джим такой упрямец!

Голос ее звучал ровно, но я видел, что она вся дрожит.

— А ведь это большое мужество с его стороны.

— Гм-м... Напрасно Джим вбил себе это в голову. Не думаю, чтобы ему особенно хотелось идти туда и... и расстаться со мной.

Я не мог сдержать улыбки. Она заметила это и хмуро добавила:

— Знаю, я еще слишком молода, и Джим тоже, ну и пусть. Все равно он мой жених.

Смущенная, а может быть, и удивленная своей неожиданной откровенностью, она покачала головой и вдруг, как пугливый жеребенок, бросилась к буковой рощице и убежала. А я постоял еще несколько минут, прислушиваясь к крику совы, потом побрел домой и погрузился в чтение первой «Полярной книги» Скотта.

II

В сентябре 1915 года, в один из первых дней школьных занятий, я стоял у стены в классе, вешая иллюстрированную сводку для моих грамотеев, и, как всегда, думал о войне, о том, как она затянулась. Косые солнечные лучи скользили по запыленным партам. На другой стороне улицы, у подстриженных лип, я увидел из окна солдата, стоявшего с девушкой. Неожиданно солдат перебежал дорогу, направляясь прямо к школе; через минуту в дверях появился Джим Бекетт в нелепо короткой гимнастерке защитного цвета, широкоплечий, загоревший так, что у него не видно было веснушек. Совсем взрослый мужчина.

— Как поживаете, сэр?

— А как ты, Джим?

— О, я прекрасно! Вот решил повидаться с вами. Мы только что получили приказ о выступлении. Завтра отправляемся во Францию. А сюда меня отпустили попрощаться.

У меня подкатил комок к горлу: так бывает, когда молодежь, которая росла у нас на глазах, впервые уходит из дому в широкий мир.

— С кем ты стоял сейчас? С Бетти?

— Да... Дело в том... Я должен вам кое-что рассказать, сэр. Мы на прошлой неделе поженились — в Н. Там мы пробыли все время моего отпуска, а сегодня я привез ее домой; вечером мне придется вернуться в свою часть.

Я смотрел на него во все глаза, а он торопливо продолжал:

— Она поехала в Н., и я тоже туда отправился на время отпуска. Видите ли, нам не хотелось венчаться здесь, чтобы не поднялась шумиха из-за того, что мы слишком молоды.

— Молоды!

Тон моего восклицания спугнул улыбку с его лица.

— Мне на той неделе минуло уже семнадцать, а ей будет семнадцать через месяц.

— Это правда, что вы поженились? Честное слово, Джим?

Он подошел к двери и свистнул. И тут же в комнату вошла Бетти в новом темно-синем костюме. Она держалась очень независимо, только покрасневшее круглое личико выдавало ее волнение.

— Покажи-ка учителю бумагу, Бетти, и кольцо тоже.

Бетти протянула мне свидетельство, из которого я узнал, что чиновник регистратуры оформил их брак в городе Н. В бумаге были точно обозначены их имена, но возраст был указан неверно.

Затем Бетти сняла с левой руки перчатку — на пальце сияло магическое обручальное колечко! Ничего не поделаешь. Безрассудный шаг совершен, что пользы теперь читать нравоучения!

— Очень хорошо, что ты рассказал мне об этом, Джим, — сказал я, немного помолчав. — Значит, я первый, с кем ты поделился своей новостью?

— Да, сэр. Видите ли, я должен ехать немедленно. А ее мать не захочет, чтобы про нашу свадьбу узнали в деревне, пока мы не станем постарше. Вот я и подумал, что надо сказать вам про нее на тот случай, если станут говорить, что мы женаты не вполне по закону.

— Как бы я им ни доказывал, нельзя изменить того факта, что вы неверно указали свой год рождения.

Джим снова улыбнулся.

— Ну это не беда! — сказал он. — Я получил справку от одного бывшего клерка нотариальной конторы, который теперь в нашем взводе. Значит, все-таки наш брак настоящий.

— Да, пожалуй.

— Что ж, сэр, оставляю ее здесь, пока не вернусь. — Джим вдруг сразу изменился, в лице у него появилось такое выражение, будто он вот-вот заплачет; оба стояли и так глядели друг на друга, словно были здесь совсем одни. Жилища столяра в доме по соседству со школой заиграла на рояле арию из оперы «Миньон»: «Ты знаешь край...» И с тех пор, как только услышу я эту мелодию, хотя звучит она нечасто в наши дни, когда к гармонии относятся с презрением, передо мною снова возникают образы Джима и Бетти, я вижу их, стоящих в широкой полосе солнечного света, полной пляшущих золотых пылинок. В этом воспоминании для меня сосредоточился весь Drang¹ (как говорят немцы) тех ужасных лет, когда брак, рождение ребенка, смерть — все, что составляет человеческую жизнь, весь ее ритм, ускорялось до предела, когда делалось все то, чего не следует делать просвещенному человечеству, и не делалась большая часть того, что следовало делать.

— Который час, сэр? — вдруг спросил Джим.

— Пять часов.

— Господи, мне надо бежать. На вокзал. Мой вещевой мешок там. Можно ей остаться здесь, сэр?

Я кивнул головой и вышел в другую комнату. Когда я вернулся, Бетти сидела, уронив голову на руки, за той самой залитой чернилами партой, где она всегда сидела в школьные годы. Я видел только ее затылок с темными,

¹ Напор, натиск (нем.).

коротко остриженными волосами и вздрагивающие детские плечи. Джим ушел. Ничего не поделаешь! Тогда это было самым обычным явлением в Европе. Я снова вышел, чтобы дать Бетти время выплакаться, а когда вернулся, ее уже не было.

III

Прошла вторая зима, еще более кровавая и хаотичная, чем первая; теперь мало кто надеялся на скорое окончание войны. Три или четыре раза Бетти показывала мне письма, которые получала от Джима,—простые, скучные фразы, лишь иногда неловко и приглушенно прорывалось в них живое чувство, и каждое из писем неизменно заканчивалось словами: «Всегда любящий тебя муж Джим». В деревне их брак был признан. В те времена бракосочетание юнцов, не достигших совершеннолетия, было явлением довольно частым. В апреле стало уже ясным, что союз Бетти с Джимом «бог благословил», как это принято говорить: Бетти ждала ребенка.

Как-то в мае, ранним утром, я шел мимо домика, в котором жила Бетти со своей матерью. Миссис Руф стояла в своем крохотном огороде; я остановился и спросил, как здоровье Бетти.

— Ей скоро уж рожать. Я написала об этом Джиму Бекетту. Может быть, ему удастся получить отпуск.

— Мне кажется, что вы неправильно поступили, миссис Руф. Лучше бы написать ему только после того, как все будет позади.

— Может, вы и правы, сэр, но Бетти ужасно беспокоилась из-за того, что ему ничего не известно. Больно уж она молода, чтобы обзаводиться ребенком. Мой первенец появился на свет, когда мне шел уже двадцать второй год.

— В наши дни все идет гораздо быстрее, миссис Руф.

— Не сказала бы этого про свою стирку. А Бетти теперь мне уж не помощница. Мало радости — обзаводиться детьми в такое время. А что, если его убьют, пенсию-то она все-таки должна получать? Как вы полагаете, сэр?

Пенсия? Если начнут разбираться: поженились до совершеннолетия, парень еще не достиг призывного возраста... Я и сам не знал, что из этого получится.

— Ну, разумеется, миссис Руф. Но не будем думать, что его убьют. Джим прекрасный парень.

Измощенное лицо миссис Руф помрачнело.

— Надо быть просто дураком, чтобы идти на военную службу до того, как настанет твой черед. Он бы мог дожидаться своего призывного года, успел бы еще навоеваться. А потом надумал жениться на моей девочке. У этих юнцов и впрямь дурные головы, скажу я вам.

Однажды вечером, через месяц после разговора с миссис Руф, сидел я у себя в комнате и составлял списки на выдачу пенсий в нашей деревне — такая работа выпала на мою долю — и вдруг кто-то постучал в дверь. И как бы вы думали, кто стоял за дверью? Джим Бекетт!

— Вот не ожидал! Джим! Получил отпуск?

— Ах, мне надо повидать Бетти. Я еще туда не ходил, не посмел. Ну, как она? Скажите, сэр.

Бледный, покрытый пылью, словно после очень трудного странствования, мундир весь испачкан; отросшие рыжеватые волосы стоят торчком — несчастный паренек, вид у него был самый жалкий!

— Бетти здорова, Джим. Мать полагает, что время родов уже подходит.

— Я ночи не спал, все думал о ней, она ведь сама еще ребенок.

— А ты известил ее о своем приезде?

— Нет, я ничего не писал.

— Тогда будь осторожней. Волнение может повредить ей. У тебя есть где переночевать?

— Нет, сэр.

— Ну что же, можешь остаться здесь, если хочешь. Им все равно негде тебя поместить.

Он отступил на шаг.

— Благодарю вас, сэр, мне не хотелось бы причинять вам беспокойство.

— Никакого беспокойства, буду очень рад тебе, Джим. Расскажешь о своих приключениях.

Он покачал головой.

— Мне не хочется о них рассказывать,— хмуро сказал он.— Так вы думаете, что мне нельзя повидать ее сегодня вечером, сэр? Одному богу известно, какой путь я проделал ради этого!

— Что ж, попробуйся. Только сначала поговори с ее матерью.

— Хорошо, сэр.

Он провел рукой по лбу. Лицо его было по-прежнему юным, но во взгляде появилось что-то новое: такое выражение бывает только у тех, кому уже пришлось смотреть в глаза смерти.

Он ушел, и в тот вечер я его больше не видел. Наверное, им удалось поместить и Джима в их крошечном домике. Он подросел как раз вовремя: через два дня у Бетти родился сын. В тот же вечер, как только стемнело, Джим явился ко мне чрезвычайно взволнованный.

— Она молодчина,— сказал он,— но я, если бы знал, никогда бы так не поступил, сэр, никогда бы на это не пошел. Иногда и сам не понимаешь, что делаешь, разве когда уже слишком поздно.

Странно мне было слышать эти слова из уст молодого отца, и лишь позднее все стало понятным!

Бетти быстро поправлялась, через три недели она была уже на ногах.

Отпуск Джиму был дан, видно, очень уж продолжительный. Он все еще не уезжал, но разговаривать с ним мне почти не приходилось; правда, он, как всегда, относился ко мне дружелюбно, но мое присутствие его как будто стесняло, а о войне он не говорил ни слова.

Как-то вечером я, проходя, увидел его и Бетти, они стояли у чьего-то забора над самой рекой. Вечер выдался удивительно теплый. Это было в начале июля, когда битва на Сомме становилась все ожесточенней. Там был тогда сущий ад; а тут полная тишина, спокойно несла свои воды река, не шелестели ивы и осины, медленно гасло зарево заката, и эти два юных существа стояли обнявшись, головы их клонились одна к другой, ее темная, коротко стриженная, и золотистая голова Джима— волосы у него изрядно отросли за это время. Я прошел очень тихо, стараясь их не потревожить. Может быть, это последняя его ночь перед тем, как он вернется опять в это пекло!

Я не хотел соваться в чужие дела, но сомнения стали тревожить меня еще задолго до этой страшной ночи. Время было позднее, я уже приготовился ко сну, как вдруг кто-то забарабанил ко мне в окно. У моего дома в полной растерянности стояла Бетти.

— Ох, сэр, идемте скорей! Арестовали Джима!

По дороге она мне рассказала:

— Понимаете, сэр, я опасалась, не вышло ли ошибки у Джима с отпуском: очень уж долго он здесь задержался. Я боялась, не нажить бы Джиму из-за этого неприятностей. Вот я и спросила у Билла Пейтмена (Билл Пейтмен был полицейский). А теперь они пришли и арестовали Джима за дезертирство. Ах, что я натворила, что я натворила!..

Джим стоял между двумя конвоирами перед домиком Руфов. Бетти упала к нему на грудь. Из дома доносился голос миссис Руф, спорившей с капралом, и плач ребенка. Все это было так ужасно и среди сонного покоя улицы, среди аромата свежескошенной травы, казалось еще ужаснее.

Я заговорил с Джимом. Он отвечал мне, не выпуская Бетти из объятий:

— Я просил отпуск, но мне отказали. Не мог я не приехать! Я не вынес бы неизвестности, понимаете, каково ей...

— Где теперь твой полк?

— На передовой.

— О господи!

В этот миг из дома вышел полицейский, и я отвел его в сторону.

— Он учился у меня в школе, капрал,— сказал я.— Бедный парнишка, ему только исполнилось шестнадцать лет, когда он пошел на войну. Понимаете, он и сейчас моложе призывного возраста, а тут еще у него жена, совсем девочка, и ребенок только что родился!

Полицейский кивнул головой, его изрытое морщинами, усатое лицо честного служаки нервно подергивалось.

— Знаю, сэр,— пробормотал он.— Знаю, это жесто-

ко, но я обязан задержать его. Он должен отправиться обратно во Францию.

— Что это означает?

Он развел руками и уронил их, и это был очень выразительный и очень страшный жест.

— Дезертирство перед лицом противника,— хрипло прошептал он.— Дело плохо. Может, вы уведете отсюда его жену, сэр?

Но Джим сам разнял руки Бетти, склонился к ней и поцеловал ее волосы, лицо, а потом со стоном почти толкнул ее в мои объятия и решительно двинулся вперед. По обе его стороны шагали конвоиры. А я остался на этой темной, пахнущей сеном улице с вырывавшейся из моих рук убитой горем девочкой.

— О господи! Боже мой! Боже мой! — без конца повторяла Бетти.

Но что можно было сказать, что сделать?

IV

Весь остаток ночи, после того, как миссис Руф увела Бетти в дом, я сидел и писал. Излагал известные мне факты о Джиме Бекетте. Одну копию этого письма я направил в штаб его полка, а другую — капеллану этого полка во Франции. Через два дня я послал для верности новые копии вместе с копиями метрики, в которой указывался год рождения Джима. Это было все, что я мог сделать. Затем началось томительное ожидание, длившееся две недели. Бедняжка Бетти ходила как потерянная. Мысль о том, что беспокоясь о нем, она сама предала Джима в руки властей, сводила ее с ума. Вероятно, не будь ребенка, она окончательно лишилась бы рассудка или покончила с собой. А на Сомме все это время продолжались кровопролитные бои, и сотни тысяч женщин Англии, Франции, Германии жили в вечном страхе за своих мужчин. Но, пожалуй, никому из них не было так тяжело, как этой девочке. Ее несчастная мать то и дело приходила ко мне в школу узнать, нет ли известий.

— Уж лучше бы бедная моя доченька поскорее узнала правду, пусть даже самую худшую. Эта тревога ее совсем изведет.

Известий никаких не было, из штаба тоже ничего не отвечали. Судьба Джима решалась во Франции. Только тогда постиг я всю глубину ужаса, царившего повсюду. Эта маленькая жестокая трагедия была лишь ничтожной соломинкой в бушевавшем над миром урагане.

Но пришел день, когда я получил наконец известие — письмо от капеллана. Догадавшись, что это за письмо, я сунул его в карман и пошел к реке, боясь его читать, пока не останусь один. Я присел, скорчившись, у стога сена и дрожащими пальцами извлек письмо из конверта. «Уважаемый сэр!

Юноша Джим Бекетт сегодня на заре расстрелян. Мне горестно сообщать об этом вам и бедной его жене. Война — поистине жестокая вещь». Это я и сам знал. Бедный Джим! Бедная Бетти! Бедная, бедная Бетти! Я читал дальше. «Я сделал все, что мог; материалы, присланные вами, передал в военный трибунал, а также обратил внимание судей на его возраст. Но все отпуска отменены. На его просьбу ему ответили решительным отказом. Полк находился на передовой линии фронта, шли бои, и положение в этом секторе было чрезвычайно напряженным. При таких обстоятельствах личные мотивы в расчеты не принимаются — это непреложный закон. Может быть, так и должно быть, я не знаю. Но для меня все это очень мучительно, и судьи были сами чрезвычайно взволнованы. Бедный мальчик совсем растерялся. Он ничего не хотел говорить и как будто не понимал, что происходит; мне сказали, что после прочтения приговора он только повторял: «Моя бедная жена! Моя бедная жена!» — и больше ни слова. Он держался достойно до конца».

Держался достойно до конца! Он все еще стоит у меня перед глазами, бедный мальчик, поступавший всегда по первому побуждению сердца. Дезертирство, но уж никак не трусость, бог свидетель! Никто из тех, кому привелось хоть раз заглянуть в ясные голубые глаза Джима, никогда не поверил бы, что он мог быть трусом. Но глаза ему, наверное, завязали. Что ж! Пулей больше, пулей меньше, какое это имеет значение на всеобщей кровавой бойне? Подобно тому, как дождевая капля скользит по ивовому листу в реку и уносит его в

море, так и этот мальчик вместе с миллионами других канул в вечность. Какая все же ирония судьбы, что пал от пули своих тот, кто пошел за них воевать на два года раньше, чем его призвали; что расстреляли мальчика, которого даже по закону не имели права послать на бойню еще целый месяц! Ирония судьбы, может быть, и в том, что он оставил на земле сына — как завещание этому беспощадному миру!

Но из моего правдивого рассказа не извлечешь никакой морали. Может быть, заключается она только в том, что ритму жизни и смерти нет никакого дела ни до кого из нас!

УЛЫБКА

Перед концом рабочего дня судья Белливер спокойно сидел в кресле у себя в кабинете и теребил большим и указательным пальцами свои все еще темные брови. Он имел обыкновение просиживать здесь минут десять, обдумывая слушавшееся дело, а потом выбрасывал его из головы и до послеобеденного времени больше к нему не возвращался. Другая его рука, худая, заросшая темными волосами, без всякой видимой надобности разглаживала на коленях серые брюки. На его выразительном, но некрасивом лице шестидесятипятилетнего мужчины сейчас, как и в течение последних шести часов, все еще нельзя было прочесть никаких человеческих чувств. Вследствие большого скопления бракоразводных дел он всю неделю расторгал браки — занятие хоть и не совсем по его части, но для разнообразия даже приятно. Однако сегодня его все время что-то раздражало, словно он никак не мог вытащить изо рта застрявший там волос. Он только что вынес *decree nisi*¹ по делу, в котором адвокат ходатайствовал, чтобы ответчице, несмотря на ее вину, было разрешено оставить у себя рожденного в браке ребенка. В своем заключении судья Белливер подчеркнул, что разговоры о соблазне и возложение вины на соответчика не имеют никаких оснований: ответчица—

¹ *Decree nisi* — постановление о разводе, вступающее в силу через шесть месяцев, если до этого срока оно не будет отменено.

замужняя женщина, которая нарушила свой брачный обет, и потому он без колебаний следует установленному порядку, вверяя ребенка попечению невинной стороны.

Он не сомневался в справедливости своего заключения, и все же ему было не по себе, потому что он никак не мог определить, откуда исходило смутное чувство досады. Перед его умственным взором вновь прошли фигуры разводящихся: истец — холодный, безупречно одетый; ответчица — стройная, хорошенькая блондинка лет двадцати шести, сидевшая возле высокой, одетой в черное, полной, цветущей женщины, — очевидно, это была ее мать.

Судья сердито встал, вынул из ящика щетку и стал приглаживать свои седые волосы.

А, вот оно что! Наконец-то он нащупал мешавший ему волос. Когда он выносил приговор, кто-то улыбался, как бы выражая этим свое презрение к суду. Но кто же это был? И где? На галерее? Среди членов суда? На скамье адвокатуры? Нет! Ага, вспомнил! Улыбалась та женщина с цветущим лицом, мать ответчицы. Едва ли подходящий момент для того, чтобы мать... В его воображении снова появилась улыбка на полных губах, в голубых с поволокою глазах; в улыбке этой была какая-то непонятная напряженная мысль, что-то похожее на угрожающую насмешку... В общем, дьявольская наглость! Если бы он увидел ее еще раз, он велел бы очистить зал суда от... от... гм!

Судья Белливер вымыл лицо и руки, словно стирая с них какую-то грязь. Затем взял свой цилиндр, сказал несколько слов служителю и покинул здание суда. Погода была хорошая, и, сделав знак шоферу, он отослал свою машину.

Когда он выходил с Линкольнз-Инн-Филдз на Лонг-Эйкр, мимо него очень медленно проехал закрытый автомобиль. Судья Белливер поднял голову. В окне автомобиля он увидел голову дамы в большой черной шляпе. Автомобиль двигался так медленно, что ее цветущее

лицо и голубые с поволокою глаза целых полминуты были обращены к нему, а на лице застыла та самая улыбка. Казалось, будто эта женщина с издевкой меряет его глазами сверху донизу, изучает от подметок до верхушки цилиндра; встретившись с его сердитыми глазами, вонзается, впивается в них с какой-то дьявольской жестокостью, раздражая и ошарашивая его до такой степени, что он не может отвести от нее взгляда. Говорят, взгляды мужчин иной раз срывают с женщин одежду; улыбка этой женщины срывала с судьи Белливера не то чтобы одежду — она лишала его уверенности в себе, чувства собственного достоинства, чуть ли не самообладания. Ему было стыдно остановиться, повернуть назад или перейти через дорогу. Он просто шел вперед, мучительно покраснев, и все время видел, что женщина чрезвычайно довольна достигнутым результатом. Потом автомобиль вдруг набрал скорость, и представитель правосудия, оставшись один, произнес неприличное слово.

Что все это значит? Он ломал себе голову, пытаясь вспомнить фамилию этой женщины, — она упоминалась на суде. Что-то вроде Мак... Мак... Нет, фамилия ему совершенно незнакома. Да и лицо ее — нет... разве только... нет, оно ему тоже совершенно незнакомо!

Он произнес нецензурное слово и, собрав всю выработанную в нем жизнью силу воли, стал думать о другом. Но отвлекся только до некоторой степени.

На следующее утро, прежде чем занять свое место в зале суда, он просмотрел стенографический отчет об этом процессе, но фамилии участников ничего ему не говорили. Время близилось к завтраку, и он выносил второй *degree nisi*, когда взгляд его, блуждавший по залу, внезапно остановился на большой черной шляпе в первом ряду галереи. Под нею — да, да! — лицо той самой женщины и ее улыбка! Какое нахальство! О господи! Надо бы приказать удалить ее из зала! Удалить из зала? Господин судья опустил глаза, в сердцах сломал пе-

ро о край стола и, с трудом дочитав свое заключение, объявил перерыв.

Он сидел за завтраком и от ярости не мог есть. Сейчас, на расстоянии, эта улыбка, словно наделенная волшебными чарами, казалась еще более раздражающей, непонятной, чертовски издевательской. Такого неуважения к суду он еще никогда не встречал — однако что тут делать? Пока он сидит перед публикой, эта женщина может оскорблять его своим дерзким взглядом, сколько ей вздумается. Что за дикость! И все же за этим что-то кроется, какой-то адский смысл, которого он не в силах постичь. Быть может, в его вчерашнем заключении содержалась какая-нибудь глупость? Он снова просмотрел отчет. Нет! Ничего такого, чего он не мог бы повторить сию же минуту; он одобряет каждое слово этого заключения! Ну, что ж, если нельзя обвинить эту женщину в неуважении к суду, придется не обращать на нее внимания.

Он набросился на свою рисовую кашу, которая к этому времени почти совсем остыла, выпил стакан кларета, надел парик и снова вошел в зал суда.

После того как юрист, изложив новое дело, сел на место, в просвете, образовавшемся там, где только что стояла его облаченная в мантию фигура, судья Белливер увидел ту самую женщину в большой черной шляпе. Она улыбалась ему прямо в лицо с той же дьявольской многозначительностью, с той же назойливо подчеркнутой издевкой. Взгляд его, сначала свирепый, стал затем мрачно-неподвижен. Откинувшись назад, судья вцепился обеими руками в подлокотники кресла. Он уже готов был произнести: «Если некая особа в зале суда не в состоянии вести себя с надлежащим уважением к правосудию, я прикажу удалить ее из зала».

Уф! Он был на волосок от катастрофы! В конце концов все дело в силе воли! Неужели какая-то женщина возьмет над ним верх? Она решила донять его такими пустяками? Что ж, посмотрим! И он смотрел. Ибо всякий

раз, когда ему по ходу дела приходилось поднимать глаза, он видел перед собой лицо этой женщины и ее улыбку.

Даже после гриппа ему не стоило такого напряжения следить за ходом процесса. Наконец, объявив перерыв, он подозвал судебного пристава. Решил указать ему эту женщину и распорядиться, чтобы он не пускал ее больше в зал.

— Что прикажете, милорд?

— Сегодня вентиляторы работали недостаточно хорошо. Будьте добры, займитесь ими.

— Слушаю, милорд.

После чего милорд встал, и как только он встал, женщина тоже встала и улыбнулась.

В тот день он ехал домой, откинувшись на спинку сиденья и закрыв глаза. Он не был одарен чрезмерно богатым воображением, и у него хватало благоразумия понять, что он ведет себя глупо. Эта женщина мстит ему за приговор относительно ребенка ее дочери; однако, если у судьи не хватает мужества игнорировать подобные мелкие уколы, ему не место в судейском кресле! Да и вообще, улыбается тот, кто улыбается последним! Однако он тщетно ломал голову в поисках способа улыбнуться последним.

На следующее утро он заставил себя прежде всего тщательно осмотреть каждый уголок зала. Этой женщины нет! Она не явилась. На следующий день было воскресенье. К утру понедельника это происшествие почти совсем стерлось из памяти судьи Белливера, оставив лишь неприятное ощущение, какое бывает после дурного сна. Кроме того, он снова вернулся к своим прежним обязанностям в суде Королёвской Скамьи, и уж, конечно, ни одна женщина не станет слушать разбор скучнейших дел ради одного только удовольствия досадить ему.

Однако первое, что он увидел, войдя в зал, была улыбка этой женщины, и это сильно его встревожило. Мысль о том, что он снова увидит ее, как только взгляд

его начнет блуждать, лишила его безмятежного спокойствия, столь необходимого для разбора дел в суде Королевской Скамьи.

На другой день повторилось то же самое, на третий — то же.

Вечером третьего дня, за обедом в своем клубе, он, стараясь заглушить досаду, обдумывал, как ему избавиться от этой доуки. До пасхальных каникул оставалось всего две недели, но если в течение двух недель ежедневно испытывать такое раздражение, можно просто заболеть. Он уж больше не думал о том, чтобы удалить эту женщину из зала или обвинить в неуважении к суду — это слишком напоминало бы Короля Червей из «Алисы в стране чудес». К тому же, а вдруг она, подобно Чеширскому коту, исчезнет, а улыбка останется? Ведь ему действовал на нервы не столько вид этой женщины, сколько ее улыбка, смысла которой он никак не мог разгадать. Что же в таком случае остается делать? Пойти к этой женщине, встретиться с нею лицом к лицу? Невозможно! Это несовместимо с его саном.

Написать ей? Тоже не подобает.

Заболеть и устроить себе передышку? Это значило бы позволить ей торжествовать победу!

Попросить кого-либо из друзей вмешаться? Нет. Он не мог признаться в своей слабости даже другу.

Надеть темные очки? Тогда перед ним будут расплываться лица адвокатов и свидетелей, улыбка же ее ничуть не потускнеет. Она уже настолько впилась ему в мозг, что избавиться от нее таким путем было бы просто невозможно. И, кроме того, женщина увидит очки и тотчас поймет, в чем дело!

Остается только смеяться — над нею и над самим собой! Да, разумеется, если б знать, что это всего лишь мстительная шутка. Но как смеяться над тем, чего не понимаешь?

«Суд безмолвных, тайных дум»¹ ни к чему не при-

¹ Шекспир, Сонет XXX (пер. С. Маршака),

вел. Белливер был бессилен, против этой напасти не было никакого средства, никакого лекарства. Оставалось только терпеть и предоставить все дело времени — ведь должна же эта женщина когда-нибудь устать! И он с глубоким вздохом отправился обедать.

Эта женщина не пропустила ни одного из последующих десяти дней. Она просиживала по два-три часа на всех утренних и вечерних заседаниях, улыбаясь всякий раз, как он давал ей повод, а это случалось нередко, ибо если у наездника завелось слабое место, он все время падает именно на него.

Судья уже почти не помнил, с чего началась вся эта история; она казалась нереальной и мучительной, как назойливо повторяющийся кошмар. К тому времени, когда заседания прервались на пасхальные каникулы, лицо у него пожелтело, взгляд стал беспокойным и страдальческим, темные брови перестали топорщиться. А женщина выглядела такой же свежей и цветущей, выражение ее лица оставалось таким же многозначительным и насмешливым, как в тот день, когда он увидел ее впервые. Она словно жирела, питаясь его кровью.

Господин судья Белливер никогда еще не испытывал такого огромного облегчения, как в ту минуту, когда он сел в поезд, чтобы ехать на курорт. Брайтонский воздух подействует на него живительно, устранил эту глупую нервозность! Добравшись до Кройдона, он уже почувствовал себя лучше; возле Трех Мостов к нему возвратилось присутствие духа — он снова стал мужчиной. Он подъехал к гостинице с тем чувством бодрости, какое испытывает выздоравливающий, впервые после тяжелой болезни выходя на улицу. В холле он увидел двух дам. Когда он шел мимо, одна из них оглянулась на него и улыбнулась. На мгновение ему чуть не стало дурно, но он подумал: «Ха, да ведь здесь я не судья!», — направился к конторке и вписал свою фамилию в книгу для приезжих. Здесь она уже не привилегированная гарпия, а он не беспомощный козел отпущения; здесь он человек, и она это узнает!

Перед обедом он твердо решил заманить ее в какое-нибудь укромное местечко и там отчитать как следует.

«Сударыня,— скажет он ей,— ваше лицо мне знакомо. Вы были столь любезны, что в течение последних трех недель дарили меня улыбками». Черт возьми, он сдерет с нее кожу своим острым языком!

В столовой он внимательно осмотрел каждый столик, изучил каждое лицо. Женщины нигде не было. Быть может, она почувствовала себя неловко и уже раскаивается в том, что так неосторожно последовала за ним сюда.

После обеда он неустанно продолжал свои поиски, но нигде не мог ее найти и в конце концов вышел в холл, укрылся от сквозняка за ширмой и, развалившись в кресле, сидел, лениво попыхивая сигарой. Опустошенный и измученный приступами бешеного возмущения, он задремал.

Разбудили его чьи-то голоса. Рядом в холле разговаривали две женщины.

— И ведь он понятия не имеет, кто я такая,— вот что замечательно! Да, милочка, тут я насладилась вволю! С той минуты, как он сказал, что Кэтлин не отдадут ребенка и стал над ней глумиться, не приняв во внимание, что Чарлз ее преследовал, я решила с ним рассчитаться. И чтобы так вел себя он, именно он! Да знаете ли, двадцать семь лет назад, когда я была замужем за моим первым мужем — мне было тогда двадцать три, и я была стройна и хороша, как ангел,— да, да, милочка, хоть вы, быть может, и не поверите этому — а он, Белливер, был тогда адвокатом и настоящим денди, он настойчиво ухаживал за мной и даже хотел, чтобы я бросила мужа и ушла к нему. И я бы это сделала, милочка, если бы не Кэтлин, которая вот-вот должна была родиться! А он уже не помнит, что когда-то был живым человеком! А теперь чем стал, о господи! Что за лицемер! Настоящий лицемер в парике! Ой, что это?

Ширма зашаталась — это судья Белливер встал и поспешно оттолкнул кресло. Схватив одной рукой валив-

шуюся набок ширму, он другой вцепился в лацкан своего смокинга, словно пытаюсь скрыть чувства, бушевавшие в его груди. Его губы, сжатые так, что от них отлила вся кровь, дрожали; ввалившиеся глаза были устремлены на женщину, которая произнесла эти слова. И под его взглядом она улыбнулась.

Он слегка поклонился, выпустил из рук ширму и не-твердыми шагами пошел прочь. Проходя мимо зеркала, он увидел, как улыбка постепенно сходит с ее лица, уступая место раскаянию, даже состраданию.

КАЗНЬ

Я не мог бы описать улицу, на которой очутился в тот вечер, она была не похожа ни на одну из виденных мною в жизни,— длинная и узкая, как будто самая обыкновенная и в то же время такая нереальная, что по временам казалось — если двинуться прямо на серые дома, стоявшие по обе ее стороны, то можно пройти сквозь них. Я шел уже, должно быть, очень долго, но не встретил ни одной живой души. Наконец, когда стало смеркаться, откуда-то бесшумно появился юноша — он, вероятно, вышел из какого-нибудь дома, а между тем я не видел, чтобы открылась хоть одна дверь. Ни наружности, ни одежды его я не берусь описать. Он, как и эта улица и дома, казался нереальным, был похож на тень. Я подумал: «Вот человек, которого доконал голод». Выражение его мрачного лица взволновало меня: такое выражение бывает на лице умирающего с голоду человека, перед которым поставили еду и тотчас унесли ее.

Теперь изо всех домов на этой улице таким же таинственным образом стали появляться молодые люди с тем же голодным выражением неясно видных в темноте лиц. Мне показалось, что, когда я проходил мимо, они всматривались в меня так пристально, словно искали кого-то. И наконец, обратившись к одному из них, я спросил: — Чего вам надо? Кого ищете?

Он не ответил. Было уже так темно, что я не мог видеть его лица да и лиц остальных,— и все же я чувствовал, что за мной наблюдают с жадным вниманием. А я все шел и шел, не встречая ни единого поворота, и, каза-

лось, обречен был вечно идти по этой бесконечной улице. Наконец в отчаянии я вдвое ускорил шаг и повернул обратно. Должно быть, следом за мной прошел фонарик: теперь все фонари на улице были зажжены и разливали слабо мерцающий зеленоватый свет, как будто здесь висели в темноте куски какого-то фосфоресцирующего минерала. Похожие на призраки юноши с голодными глазами все исчезли, и я уже спрашивал себя, куда они могли деваться, как вдруг увидел впереди колыхавшееся во всю ширину улицы серое облако, освещенное дрожащим, как болотный огонек, светом фонаря. Оттуда доносился глухой шум, похожий на шарканье ног по опавшим сухим листьям, тихие вздохи, в которых слышалось глубокое удовлетворение. Я осторожно подошел поближе — и вблизи это облако оказалось толпой людей, которые медленно и неустанно двигались вокруг фонаря, словно в каком-то танце. Вдруг я в ужасе застыл на месте. Все эти танцующие были скелеты, и между каждыми двумя скелетами плясала молодая девушка в белом, так что весь круг состоял из скелетов и серо-белых девушек. На меня никто не обратил внимания, и я подкрался совсем близко. Да, эти скелеты были те самые молодые люди, которых я видел, проходя по улице, но теперь жуткое голодное выражение на их лицах сменилось подобием улыбки. Девушки, плясавшие среди них, трогали сердце бледной своей красотой, глаза их не отрывались от скелетов, державших их руки в своих, и словно молили этих мертвецов вернуться к жизни. Все были так увлечены своей мистической пляской, что не замечали меня. И вот я увидел, вокруг чего они пляшут. Над их головами, под зеленым огнем фонаря, болтался какой-то темный предмет. Он качался взад и вперед, как мясо, которое поджаривают над костром. Это был труп пожилого, хорошо одетого человека. Свет фонаря скользил по седым волосам и падал на распухшее лицо, когда оно оказывалось прямо под ним. Повешенный медленно качался слева направо, а танцующие так же медленно кружились справа налево, чтобы все время видеть его лицо, — должно быть, это зрелище их тешило. Что это могло означать? Что делали здесь эти печальные тени, скользя вокруг отвратительного предмета, качавшегося в воздухе? Что за странный и жуткий ритуал довелось

мне увидеть в призрачном зеленом свете уличного фонаря? Я не мог оторвать глаз от скелетов с голодными лицами и бледных девушек, но еще больше приковывало к себе мой взгляд страшное лицо там, наверху, еще не утратившее надменного выражения. Как оно и притягивало и пугало, это лицо с мертвыми, остекленевшими глазами и дряблыми щеками! Оно все вращалось и вращалось, словно на невидимом вертеле под шарканье ног по сухим листьям и глухое бормотание, похожее на вздохи. За что мстили эти тени повешенному, от всей фигуры которого и сейчас еще веяло холодом жестокой силы и власти? Кого они поймали и вздернули здесь, чтобы он, как мертвая ворона, качался на ветру? Какое страшное преступление против мертвых юношей и бледных девушек искупал здесь этот пожилой человек?

Я содрогнулся, вспомнив, как всматривались в меня эти молодые люди, когда я проходил мимо них. И меня вдруг осенило: да ведь здесь казнили *мое поколение*. Вот оно висит, вздернутое юношами, которых послало на смерть, и девушками, которых сгубило, лишив счастья.

И, охваченный ужасом, я бросился бежать сквозь эту толпу, созданную моим воображением, а она колыхалась и шумела слева и справа от меня.

1918—1925 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Из сборника «ОБОРВАНЕЦ»

Два взгляда. Перевод Г. Злобина	5
Поражение. Перевод Г. Злобина	10
Во всем нужно видеть хорошую сторону. Перевод Б. Носика	25
Бересклет. Перевод М. Кан	46
Собака околела. Перевод В. Рогова	58
Митинг сторонников мира. Перевод Ю. Жуковой	72
Странности жизни. Перевод М. Абкиной	79
Манна. Перевод Г. Журавлева	90
Safard. Перевод Г. Злобина	100
Надежды. Перевод Г. Злобина	107
Мать всех камней. Перевод Ю. Жуковой	115

Из сборника «МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ»

Санта-Лючия. Перевод Г. Злобина	121
Рванный башмак. Перевод Г. Журавлева	135
Совесть. Перевод Г. Журавлева	141
Акмэ. Перевод Г. Злобина	150
Бывший № 299. Перевод Н. Шебеко	158
У него была лошадь. Перевод Н. Шебеко	180
Лес. Перевод М. Лорие	208
Распря. Перевод В. Хинкиса	218
Шантаж. Перевод Н. Шерешевской	253

Гедонист. Перевод Г. Элобина	266
Добродетель. Перевод Г. Любимовой	275
Давняя история. Перевод Б. Гиленсона	285
Человек с выдержкой. Перевод М. Кан	290
Удар молнии. Перевод Н. Дынник	306
Salta pro nobis. Перевод М. Кан , , , ...	320

Из сборника
«ФОРСАЙТЫ, ПЕНДАЙСЫ И ДРУГИЕ»

Вода. Перевод М. Беккер	327
Рассказ учителя. Перевод Л. Мирцевой	357
Улыбка. Перевод М. Беккер	370
Казнь. Перевод М. Абкиной , ...	379

Джон ГОЛСУОРСИ
Собрание сочинений в 16 томах.
Том XIII.

Иллюстрации художника
Л. Х а й л о в а.

Оформление художника
А. В а с и н а.

Технический редактор
А. Ш а г а р и н а.

Подп. к печ. 21/VI 1962 г. Тираж 375 000 экз.
Изд. № 1054. Зак. 1316. Форм. бум. 84×108^{1/32},
Бум. л. 6. Печ. л. 19,68 + 4 вкл. (0,41 печ. л.),
Уч-изд. л. 19,44. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина
Москва, А-47, улица «Правды», 24.